



Борис Крячко

БИТЫЕ СОБАКИ

Борис Крячко

БИТЫЕ СОБАКИ

Повесть и рассказы



**Таллинн
«Ээсти раамат» 1989**

Оформление: В. Кулларанд

Крячко Б.

К 85 Битые собаки: Повесть и рассказы. — Таллинн: Ээсти раамат, 1989. — 224 с.

ISBN 5—450—00700—0

«Битые собаки» — первая книга Бориса Юлиановича Крячко (род. 1930). Героев своей прозы автор увидел в самых разных уголках нашей страны, это люди как обычных, так и весьма экзотических профессий. Создавая свою художественную реальность, Б. Крячко идет по стопам таких писателей, как И. Горбунов, М. Зоценко. Идущий им во след должен не только владеть языком улицы, но и обладать незаурядным чувством юмора, без которого, как правило, не обходятся сочинения, созданные в сказовой манере. Все это вполне присуще таллиннскому прозаику Б. Крячко.

К 4702010200—151 229—89
901 (15) — 89

84.3P

ISBN 5—450—00700—0

© Издательство «Ээсти раамат», 1989

Хива. Мавзолей Алладина

Сезам, откройся!

Речь вовсе не о том Алладине, о котором Шахеризада когда-то рассказывала Шахрияру в одну из ночей; рассказ пойдет совсем о другом человеке. Настоящее его имя — Сейид Аллауддин. Но люди уже давно стали многоречивы по пустякам и сдержаны в сути — имя от этого сделалось короче. Поскольку же все на свете имеет значение, да будет известно, что смысл его имени таков: родственник пророка, верующий в Аллаха.

Сейидами на Востоке называли потомков Мухаммеда и его родственников. Из детей у него, правда, была одна-единственная дочь Фатима, зато родственников обнаружилось великое множество, и даже те, что доводились Мухаммеду десятой водой на киселе, называли себя так же, сейидами, весьма гордясь родством.

Эти люди пользовались многими преимуществами, тем более, что статус их бранный, но приятного существования утверждался «Несомненной Книгой» — Кораном: «Один раз в столетие Аллах будет посылать мусульманам человека из своего дома». Понятно, что вскоре сейидов набралось хоть пруд пруди и разобраться в них толком решительно нельзя. Только в Багдаде по смерти Мухаммеда проживало более четырех тысяч «родственников», черпавших средства из государственной казны. Расхожая пословица того времени «Сейиды не нуждаются в благоразумии» удостоверяет, что в авантюристах, узурпаторах, самозванцах и казнокрадах человечество никогда не испытывало недостатка.

Дело обернулось так забавно, что в исламском мире не осталось потом ни одного монарха, который не включил бы сейидство в царственную титулатуру. Исторической правды в этом, конечно, нет ни на грош, хотя аналогий достаточно и на Западе.

Задача не считалась особенно трудной. Если теоретически родословную всего человечества можно свести к Адаму и Еве, то при разработке какого-нибудь отдельного генеалогического дерева обойти стороной, скажем, Александра Филипповича Македонского, было бы просто неприлично. Когда Ивану Васильевичу Грозному не хватило для авторитетности одного Рюрика, придворные геральдисты очень быстро обнаружили, что рус-

ский царь берет начало от римского кесаря Августа, ведь Москва — третий Рим, а четвертому не бывать. Да, да, да, от того самого Августа, который всем надоел своим хвастовством, что он-де произошел на свет «не так, как прочие люди», а через разрез в животе матери, известном по сей день как кесарево сечение. Грузинские князья Багратионы вели родословие от ветхозаветного царя Давида, но от него же происходила и Пречистая Богоматерь, что делало семью Багратионы родственниками самого Спасителя, — ну-ка, возьми их голыми руками с такой родословной! А в недавнем прошлом итальянские историографы вынуждены были всерьез исследовать какими качествами Муссолини превосходит Юлия Цезаря и не является ли, чего доброго, фашистский дуче прямым потомком древнеримского диктатора по внебрачной, разумеется, линии. Изыскания блестяще подтвердили смелые догадки арийских геральдистов и теперь остается лишь констатировать с удивлением, достойным первооткрытия, что Иван IV и Бенито Муссолини родственники, поскольку Юлий Цезарь и Октавиан Август — выходцы из одного и того же дома Юлиев. Так что не следует винить музу Клио в приписываемом ей своенравии, коль скоро история с давних пор представляла собой не действительную хронику событий, а произвол власть имущих лиц, доходящий иной раз до подлога.

На Востоке же, где мало-мальски выдающаяся личность своим происхождением уходила в путаницу полигамических браков и многочисленных гаремов, было гораздо сложнее сказать о предках отдельного лица с определенностью. Вполне понятно, что дальнейшая неразбериха усугубилась еще пуще, едва слово «сейид» стало популярным мужским именем. И не только на Востоке.

Столетием после Мухаммеда арабы захватили Испанию и удерживались на Пиренеях вплоть до реконквисты. Тогда же галлам представилась возможность воочию оценить экстерьер и стати чистокровных аравийских скакунов, под копытами которых разлетелся прах лугов Роны, виноградников Шампани и нив Гаскони. «Родственники пророка» верхом добрались до Пуатье, где их насилу остановил Карл Мартелл. Память о событии французы сохранили надолго. Много лет спустя Корнель утвердил и обессмертил арабский термин героической драмой «Сид».

Наш экскурс проделан для того, чтобы читатель, не обинуясь, оставил в покое сейидство Аллауддина Хивинского, придав данному арабизму значение собственного имени и только. Что касается самого Сейида Аллауддина, то он дожил до глубокой старости и скончался 18 марта 1303 года девяноста с лишним лет от роду. Он помнил и последнего хорезмшаха, и приход монголов, и прочие события, а будучи интересной личностью, многое мог бы рассказать, не приключись с ним кончина, о чем уже упомянуто.

Похоронили его в заранее подготовленном месте и соорудили мавзолей. Здание поставили прочно и увенчали куполом сферического ордера. С тех пор прошло почти семьсот лет. Горожане успели за это время нарастить метровый слой почвы, поэтому основание мавзолея не совпадает с уровнем городской поверхности, и постройка напоминает на четверть вбитый гвоздь. Рядом несколько разновременных захоронений имамов, правивших службы, когда мавзолей был местом культовых отправлений.

Все находится на виду и особых эмоций не вызывает. Внешне памятник похож на обыкновенную раковину, когда на нее скучно и устало глядит человек, не догадываясь, что в этой раковине заключена жемчужина, достойная порфиры. Ничто не наводит на мысль о доселе невиданном, и волнение не побуждает затаить дыхание, и видения не вспыхивают перед взором, пока створки раковины закрыты. Будь не так, в мавзолей входили бы с нетерпеливым ожиданием и замечали бы, наверное, что деревянная дверь взрезана слоисто и зернисто, а узор до того хорош, что немеют губы и судорожно бьется мысль, ища разрешение в формуле: Искусством называется непосредственное созерцание истины; Искусством называется мышление образами; Искусством называется переход человека от состояния бытовой летаргии к духовному пробуждению и торжеству разума. Сезам, откройся, ведь людям нужны выводы, а не предпосылки!

Внутри мавзолея слева — гробница с двумя надгробиями. Одно из них принадлежит Сейиду Аллауддину и покоит его останки, другое — мастеру, который все это сделал. Мастера звали Мири Кюляль, имя его означает «Великий Гончар». Родом он из Бухары, похоронен тоже там, а в Хиве его место пусто. Это заметно еще и потому, что люди совершали намаз с той стороны саркофага, где есть содержимое: прикасаясь пальцами к одному из рифленых пилонов гробницы, они за много столетий истерли цветной орнамент, и теперь он едва различим. Другой пилон отмечает вакуум и хранит изначальную свежесть.

Летом солнечный луч проходит сквозь отверстие в куполе и разбивается о надгробия. Тогда гробница вспыхивает фосфорическим сиянием, и в хрустальном спектре сильного светлого дня интерьер преобразуется. Надгробия считаются редкостными по двум причинам: простая глина доведена в них до зримого качества фарфора, а майоликовый орнамент, которым они покрыты, не плоский, каким его обычно делали, а выпуклый, рельефный, объемный.

Сейид Аллауддин

Рассказывают, что он был человеком правильной жизни, умеренных привычек и правосудных решений. Слава о его подвижничестве разошлась далеко за пределы Хорезма. Многие обращались к нему по делу, и не было случая, чтобы он ошибался в советах или говорил пустые слова, а ведь дать правильный совет порой труднее, чем нищему совершить благодеяние. К концу жизни он стал немощен и редко покидал жилище. Молва же о нем не убавилась, а возросла, так как люди разнесли ее по свету, а в Хорезм многие приходили издалека.

Случилось так, что бухарец Мири Кюляль, будучи наслышан о подвижнической славе Сейида Аллауддина, пожелал его увидеть. Этот Мири Кюляль был из гончаров и керамистов. В своем ремесле он достиг такого совершенства, что в мире вовсе не осталось мастеров, равных ему, а самые лучшие из них годились только затем, чтобы лить воду ему на руки из своих кувшинов. Мири Кюлялю приходилось бывать в других краях, и слух о нем опережал его на десять полных дней пути.

Когда Мири Кюляль прибыл из Бухары в Хиву и вошел в жилище Сейида Аллауддина, хозяин встретил его и приветствовал, ибо знал о приезде гостя прежде, чем тот отправился в путь.

Сказал Мири Кюляль: «Хочу сделать надгробие, достойное тебя. Когда ты уйдешь, имя останется, а это самое прочное из того, что бывает».

Сказал Сейид Аллауддин: «Хорошо. Делай два надгробия рядом. И чтобы они были не лучше, и не хуже, потому что одно из них — твое».

Спросил тогда: «А мне зачем? Я еще молод».

Ответил: «Когда люди придут ко мне с уважением и с памятью, я хочу, чтобы ты взял свою половину».

На другой день Мири Кюляль кликнул мастеров, и они, поясавшись поясом услужения, отложили свои дела и пришли, и никто не остался дома, потому что каждому хотелось поучиться. Сперва поставили гробницу и украсили ее росписью синего, зеленого и белого цвета, будто небо сочеталось браком с весной, а солнечный день при этом свидетельствовал. После того, как гробницу завершили, Мири Кюляль сделал два надгробия, каких не было у царей, каких никто не видел и не полагал, что это возможно. А было это оттого, что вначале мастер пустил по алебастру выпуклый узор небывалой красоты, вследствие чего бутон цветка стал бутоном цветка прежде, чем окрасился, а запах шафрана и миндаля появился раньше шафрана и миндаля.

А однажды пришел сюда слепой и возложил руки на плиту, и сказал, что это ему нравится, а мастеру воздал хвалу. «Пустое

ты несешь, — возразили ему. — Как может нравиться то, чего не видишь?»

«Вы забыли, — слепой ответил, — что в темноте руки видят лучше глаз».

Рисунок еще не был полит цветной эмалью, а Сейид Аллауддин сказал, что подождет отправляться к милости Аллаха до тех пор, пока не увидит работу законченной.

Потом пришло время и привели породистого быка, а мастер совершил заклятие, взял у быка кровь и приготовил краски. По причине сложности и тонкости работа подвигалась медленно, а еще и оттого, что в таком деле нельзя спешить, и Мири Кюляль истратил на изготовление надгробий несколько лет. Но всякая вещь имеет своим пределом конец. Окончив работу, мастер вернулся в Бухару, а Сейид Аллауддин встретил свой час и его погребли там, где это надлежало сделать. Место по соседству так и осталось незанятым.

Тогда же возвели мавзолей из кирпича, и туда стали ходить жители, а если были приезжие, тоже шли и смотрели. Спрашивали: «Чья могила?» Им говорили: «Сейида Аллауддина». Снова спрашивали: «Кто сделал?» Говорили: «Мири Кюляль сделал». Опять спрашивали: «Как он сумел так сделать?» На это ничего не отвечали, потому что никто не знал, как сказать правильно.

С того дня, когда линии рисунка приобрели свой цвет, место стало благоуханным и волшебным. Хотя сущность этого волшебства можно постигнуть не иначе, как с трудом, каждый из проходящих и уходящих получал здесь все, в чем нуждался: робкий — мужество, слабый — силу, обиженный — утешение, косноязыкий — красноречие. Только глупцы не получали разума и оставались глупцами, ибо такие люди не имеют обыкновения сознаваться в этом недостатке. Сейчас тоже так.

Мири Кюляль

Вернувшись из Хорезма домой, он продолжал подвизаться на поприще искусства и ремесла, а большие и малые гончары брали свет от сияния его мастерской. Ввиду непревзойденности, у него не было соперников, и лучшие мастера считали высокой честью доводиться ему подмастерьями. Красота и изящество посуды Мири Кюляля были таковы, что вошли в поговорку.

Ему было за шестьдесят лет, когда он впервые решил приступить к послушничеству бедного сироту. Юношу звали Бохауддин Накшбенди, он тоже был бухарец и стал впоследствии знаменитым суфием, так как смолоду задался целью посвятить жизнь поискам добродетели и мудрости. Поскольку человека

для подражания достойнее Мири Кюляля не нашлось, Бохауддин стал его приверженцем, а старый гончар сделался наставником, пиром.

Послушание и почет, оказываемые учеником учителю, были велики. Прошло несколько лет, а Мири Кюляль не мог найти повода для упрека единственному своему послушнику. Они вместе жили, и зимой в их жилище было холодно, так что вода замерзала. Бохауддин с вечера наполнял кувшин водой, ставил на ложе и рядом спал. От живого тепла вода за ночь согревалась настолько, что была ни холодной, ни слишком теплой. Потутру Мири Кюляль совершал омовение этой водой и всегда говорил: «Какая приятная вода! Я совсем ее не чувствую, как будто ее нет. Где ты берешь такую воду, Бохауддин?»

«О, пир!» — отвечал Бохауддин и прикладывал ладонь к глазам, а это был знак безотчетной преданности молодого мюрида.

Как-то Мири Кюляль с Бохаудином обжигали посуду в большой печи, и мастер заметил, что дрова кончились, а посуда еще не готова. Сказал: «Бохауддин, не хватает топлива. Сделай, что надо», — и удалился. Случилось, что поблизости не оказалось ни дров, ни угля, ни сухой травы, а дело было последней срочности. Тогда Бохауддин прославил пира и вошел в печь. Там он сгорел, и этого хватило, чтобы блюда, пиалы и вазы прокалились как следует.

Мири Кюляль пришел, увидел, что пора разгружать печь, позвал: «Бохауддин!» На зов не последовало ответа, это было неслыханно и случилось впервые. Еще позвал громко: «Бохауддин!» Опять никто не ответил. Гончар потерял терпение, крикнул: «Бохауддин!!» Из печи вышел мюрид, приблизился, сказал: «Здесь, пир!»

Сказал Мири Кюляль: «Сын праха, таково твое послушание! Мы испытывали нужду, звали, а ты заставил нас дожидаться. Почему не пришел сразу?»

Отвечал Бохауддин: «Не мог. Когда вы позвали меня первый раз, я был на пути к Аллаху».

Сказал: «Мы тебя звали многократно».

Отвечал: «Когда вы позвали меня еще раз, я тоже не мог прийти, так как поклонялся Аллаху. Но едва вы произнесли мое имя третий раз, я тотчас вернулся».

Мири Кюляль помер, и его похоронили неподалеку от Бухары в кишлаке, где он жил. Кишлак тот и теперь есть. Поскольку Мири Кюляля никто не мог превзойти в искусстве и в мастерстве, после смерти он сделался пиром, или духовным наставником всего ремесленного цеха гончаров, горшечников и керамистов, а его слова, сказанные им при жизни, вошли в цеховой устав — «рисоля».

Место захоронения мастера не вывершили в холм, не положили сверху надгробие, не поставили там мавзолей. Могила Мири Кюляля означена грудой черепков роскошной битой по-

суды. У мастеров был заведен такой обычай: если у кого-нибудь получалось блюдо чрезвычайной красоты и крайнего благородства и ему говорили, что он превзошел себя и приблизился к Мири Кюлялю, то мастер это блюдо брал, шел к могиле Великого Гончара и там приносил жертву, разбивал. С годами таких черепков набралось много, они очень красивы, и в солнечный день могила Мири Кюляля озаряется как розовый куст, и это самое удивительное из того, что сказано.

Конечно, это все-таки сказка. Однако же в ней не сплошной вымысел, а есть и большая быль, только она перемешалась с небылицей и уже не разобрать, где что. Да и кому придет охота этим заниматься? Сказка на то и сказка, чтобы правду не разлучать с выдумкой. В конце концов, люди сами поймут, что было и чего не было, хотя и могло быть, только очень уж все рискованно и невероятно, в жизни так не бывает, а ежели случается, то лишь в тех обстоятельствах, когда акробат мысли идет по канату фантазии. Словом, к сказке претензий не выставляют, и у каждого человека она своя.

Лампа Алладина

Купец приобрел ее в городе Истанбуле триста с лишним лет тому назад и привез в Хиву. Целых два года он провел в дороге и в чужих краях, но удача постоянно ему сопутствовала, и он не претерпел ни разбоя, ни обмана, ни ущерба, а товары свои распродал с выгодой и на один дирхем нажил двадцать прибыли. Воротившись домой, он нашел семью в благополучии и довольстве, обрадовался, а радость делает человека щедрым.

Он подумал: «Не худо бы взять эту лампу, отнести в мазар Сейида Аллауддина, возжечь и там оставить». А лампа была медная, искусной работы, с большим светильником, куда входило много масла. Свет от нее далеко гнал тьму, приближал отдаленное, а невидимое делал видимым.

Так он и поступил. Когда же он принес лампу и ее подвесили, сразу все заметили, что делал ее христианский мастер и оставил в верхней части символ своей веры в виде креста. С купцом обошлись без почтения, так что он один лежал, а все другие стояли, и одежда на нем была порвана, а лампа изломана и разбита.

Пришел имам мазара, осведомился о причинах собрания и шума, спросил: «Что за человек лежит и плачет, и отчего одежда на нем порвана?» Ответили: «Это человек такой-то. Раньше он был мусульманин, как и все мы, но съездил в Истанбул и стал собака. И привез оттуда эту лампу, которая есть скверна. И принес ее сюда, чтобы превратить святилище в будхану и сделать из него капище иноверцев. За это его наказали».

Спросил имам у потерпевшего: «Правда ли то, что говорят люди?» А купец сказал, что — неправда и что он сюда свет нес, а эта лампа из всех ламп подлинный светоч и тем особенна. И еще сказал: «Если все эти люди, которые со мной плохо обошлись, сами — хорошие мусульмане, тогда почему же никто из них раньше меня не подумал о том, что свет лучше мрака, и почему никто из них прежде меня не принес сюда никакого светильника?»

Имам размыслил и рассудил купца так: «Каждый, кто к нему приложился, пусть сейчас же возместит ущерб. Он сюда свет нес. И его душа светлее ваших. И его помыслы выше ваших», — и позволил купцу с миром уйти домой. А лампу было приказано поднять и укрепить под куполом, не выправляя ее и не чиня, чтобы она была на виду у всякого, кто войдет, и чтобы туда больше никто не входил с неверием или с сомнениями.

Людей же собралось много и в помещении, и во дворе, и на каждом лице было написано недоумение. Однако имам был грамотным человеком и умел читать между бровями и в сердцах. Он рассказал тогда притчу, суть которой в следующем:

Один мальчик из нуждающихся в пристрае заблудился в городе, попал в непогоду, вымок, продрог и плакал. Незнакомый старик принял его в дом, утешил, накормил, уложил спать, а одежду просушил у очага. Когда погода улучшилась, хозяин разбудил гостя, сказал: «Встань, оденься, поешь, ступай домой. Во дворе тепло, одежда твоя просохла. И поспеши, потому что родители твои тебя, верно, ищут, беспокоятся».

Мальчик поблагодарил старика: «Отец, как ты меня обсушил, так и тебя пусть Аллах высушит». Старик посмеялся, ответил: «Спасибо, сынок. Ты хорошо думал — плохо сказал. Не беда. Главное в том, что ты хорошо думал».

Старик прав, потому что подумать легче, чем сказать, понять скорее, чем научить, а пожелать проще, чем достигнуть. Это затруднительно и не всякий может.

А лампа так и висит. Она уже тогда никуда не годилась, а теперь и подавно: старинная разбитая лампа, покрытая от давности тусклой зеленоватой патиной. Но люди, как и прежде, глядят на нее снизу вверх с тем выражением, с каким дети смотрят на взрослого умного доброго человека.

Письмена

Писать на стенах никогда не поощрялось. Но на Востоке очень долго не было книгопечатания, а поэты были. И вот когда-то аудитория уличного перекрестка слишком взволнованно восприняла поэта и его стихи, и так продолжалось до тех пор, пока один из стариков не предложил: «Пусть пойдет и на-

пишет в мазаре Сейида Аллауддина». Тогда поэт пошел туда и написал:

Во многих краях побывал,
Много городов видел,
Со многими людьми встречался, беседовал.
И в каждом краю
Есть нечто замечательное, свое.
Но что же поделывать,
Если родная земля только одна?
Поэтому говорю: вернувшись домой,
Я вновь обрел Мекку
Душевного отдыха и покоя.

Стихи принадлежат к так называемой «патриотической лирике» — труднейшему жанру, в котором и поныне преуспели единицы из сонма. Тем значительней и лучше, что в них нет ни протокольно выраженных идей, ни злоупотребления терминологией. По времени, по мысли и чувству они тождественны словам Дантона, на которых можно было бы учиться читать по складам: «Нельзя унести родную землю на подметках своих башмаков».

В то же время из самой их глубины звучит предостережение от упрощенной трактовки высоких понятий. То и дело нам твердят, что Родина только вне и вокруг нас. Тысячу раз — нет. И тысяча имен, будь нужда, подтвердили бы, что это так, и каждое имя само по себе явилось бы достаточно убедительным аргументом в пользу данной функции. Родина еще заключена и в нас самих. Только из этих двух врозь направленных величин складывается параллелограмм сил, при котором человек патриотичен ровно настолько, чтобы оставаться человеком прежде всего.

Арабская вязь курчавит стихи, написанные тушью «аль-секко» и наискось, и они бегут вдоль стены мавзолея как легкая зыбь. На стены здания почти за семь веков легло много слоев алебастровой штукатурки. Местами она осыпается, образуя живописные географические проплешины, а иной раз обнажает кирпичную кладку. Тогда становятся видны какие-то непрочитанные сакраментальные заклинания и кабалистические знаки. Там что-то есть. Но мы не знаем, что там, и не спешим узнать, и это хорошо. На Востоке никто никогда никуда не спешит. Эта неспешность очень нравилась и древним грекам с их базилевсами, и римским цезарям, приживавшимся здесь.

Давняя привычка и тысячелетиями канонизованная неторопливость накладывают на памятник печать таинственности и создают впечатление прерванной повести. Но слова, которыми повесть прерывается, красивы и хороши.

Сезам, закройся!

Бухара. Минарет Калян

(1105—1127)

В год четыреста девяносто восьмой хиджры и в третий год своего счастливого царствования его величество тамгадж-хан Арслан Карахани, ревнитель веры и средоточие мудрости, щит ислама и прибежище справедливости — да продлится господство его и увеличится срок жизни его — велел построить в городе Бухаре большую соборную мечеть вместо прежней и украсить ее минаретом, лучше которого не было. А у великого тамгадж-хана, который был халифом своего времени, находились под высокой рукой многие города: и Несеф, и Балх, и Кеш, и Самарканд, и еще другие, но благородная Бухара была истинным украшением царства и потому государь заботился.

И созвал Арслан-хан свой диван, а там были люди достойные и знающие, и сказал им хан о своем желании, и было это одобрено, ибо правдиво сказал тот, кто сказал: «Могущественный правитель да строит красивые и прочные здания!» И посоветовался хан с мудрецами, которым были доступны речения звезд, и был назван благоприятный день для начала строительства, и повелел хан созвать к себе лучших зодчих государства, а повеление великого хана подчиняло мир, покоряло свет и всюду имело силу.

И пришли все мастера, кого называли, а были они славными строителями, украсившими многие города прекрасными зданиями — и мечетями, и минаретами, и дворцами, и каравансараями — и всех их Аллах всевышний, осведомленный обо всем тайном и скрытом, сподобил опытом и просветил знаниями, как они того заслуживали. И поручил им тамгадж-хан возведение различных построек, должествовавших стать драгоценными камнями в оправе первородного города.

И был в числе строителей один мастер, и был он низкоросл и тщедушен телом, и не стяжал еще известности и славы своему имени. И приказал ему великий хан возвести минарет величественный и небывалый, и все удивились, но никто не осмелился возразить. Так самое важное дело, о котором задумывались многие почтенные зодчие, было поручено человеку, ничем не прославившему себя.

И не заметили, что этот мастер отмечен знаком Аллаха, который есть самый великий зиждитель и совершенный строи-

тель. И не знали также, что избранный ханом для постройки минарета зодчий, был единственным во всем собрании, провидящим в ночи будущего истинный путь.

А мастер тот был человеком превосходного ума и наилучших достоинств, и потребовал он для постройки небывалого минарета неслыханных средств, и все снова удивились до предела и сочли его безумцем. Великий же хан усмотрел в этом прозорливость зодчего и промысл того, который везде, и согласился уменьшить доходы казны, пока минарет будет строиться.

В назначенный день и в указанном месте собрались простые строители и знающие мастера и стали готовить ложе для опоры минарета. И главный зодчий был здесь.

Когда сняли верхний слой почвы и прошли большой пласт песка и лёсса, и дошли до глины, то подумали: «Довольно». Но зодчий приказал углубиться дальше, и был он один прав, а все заблуждались, потому что только ему было известно. Снова прошли глину и начался песок, а работать было трудно, так как песок сыпался, но мастер распорядился рыть глубже. Наконец, строители достигли глины, которая была мокрой, и мастер — да удлинится его тень — нашел углубление достаточным.

И положили плашмя на глиняную основу кирпичи, которых было заготовлено много, означив опору минарета правильным кругом, и стали возводить. И связывали кирпичи чудесным раствором ганча, замешанным не на воде, а на верблюжьем молоке и на яйцах, и добавляли в раствор золу, чтобы опора минарета всегда возрождалась от влажности, потому что так приказал зодчий, и был приказ правильным, содержащим все условия правильности, и никто не нарушал. А еще зодчий приказал делать опору минарета с корнями и пустили вширь три больших корня, чтобы постройка была живой и прочной — да не перестанет она стоять на своих устоях до тех пор, пока Аллах великий не унаследует небеса и землю, и то, что на ней.

Место строительства приобрело веселый вид, потому что туда постоянно приходили любопытные и смотрели, как в ганч льют много молока и разбивают яйца, и как арбы с молоком в кожаных мешках и с яйцами в тростниковых корзинах во множестве приезжают сюда из всех селений Бухары полными, а уезжают пустыми. Такое дело было в диковину, и все удивлялись, а многие бранились и говорили, что строители изводят добро без пользы.

Да будет известно, что царство стоит на правде, но не бывает без воров, поэтому во всяком государстве есть мздоимцы, обремененные большой заботой о себе и живущие трудом неправедным. Эти стяжатели — поношение веры и сокрушение основ — гораздо были на всякое лихоимство в ущерб любому делу и нельзя было возразить им, так как были они высокими сановниками, облеченными доверием тамгадж-хана, и находились на виду у него.

Был день, когда векиль двора его величества хана прислал гонца к зодчему и приветствовал последнего наилучшими приветствиями, подобающими падишаху, а затем просил отвезти в дом попечителя государственной казны две арбы яиц. И была просьба исполнена и отправил зодчий две арбы с яйцами в указанный дом, а были то яйца протухшие и в дело не годились. От этого обуял векиля гнев, и затаил он на мастера обиду, спрятав змею мести в складках безмерного корыстолюбия.

И был другой день, когда главный евнух ханского гарема, носивший почетное звание старшего хранителя розового сада тамгадж-хана, тоже прислал гонца с изысканными приветствиями и соответствующей им просьбой о яйцах. И дал зодчий гонцу для главного евнуха два яйца, а мастера и строители неприлично смеялись. Прочих же сановных просителей мастер оскорбил прямым отказом и унизил их достоинство. И впал зодчий в немилость у векиля и у евнуха, и возросло число его недоброжелателей, ибо у праведника всегда бывают враги из сонма неправедных.

Плохо пришлось бы зодчему и скорби его усилились бы, но промыслом Аллаха милостивого, милосердного, тамгадж-хан узнал об остроумии и смелости строителя и развеселился, и пристыдил вельмож и оградил зодчего стеной своих похвал от стрел зависти приближенных, и много этим способствовал.

Все дни, кроме пятниц, к месту строительства везли на арбах яйца и молоко, но никто более не покушался и ничего не пропадало из-за того, что велик был страх перед гневом хана, а мастер находился у него в милости.

Прочно и ловко ладилась опора минарета. Рабочие делали замес ганча в тагоре, а подручные брали тагору и подавали ее подмастерью, а тот уже брал замес горстью и подавал мастеру; другие подручные подавали кирпичи, на которых пальцами были сделаны желобки, чтобы они связывались крепче, а мастера те кирпичи брали и скрепляли их ганчем.

Работать приходилось быстро, чтобы раствор не затвердел прежде времени, а главный зодчий успевал за всем присмотреть, и не было никого, кто превосходил бы его зоркостью и мудростью или оспаривал бы его советы. И были ему подвластны синусы и их тени, и мудрые числа Аль-Хорезми, и прочие науки, помогающие строить. Приказал мастер проложить опору минарета двумя слоями известняка, который смягчает земное содрогание и сберегает постройку, и было так сделано. Когда опору минарета вывели на уровень городской поверхности, то верх опоры увенчала дандона, и фундамент был готов.

Строительный период, приходившийся на лето, кончался, и теперь постройка должна была отдохнуть и дать осадку. Так издавна было заповедано знающими строителями, и был в том смысл, и здания были прочными и стояли вечно.

Сообщили тамгадж-хану о строительных расходах, а самым

дорогим было строительство минарета, и предался хан сомнениям и запахнул полу щедрости. И призвали мастера во дворец, и передали повеление великого хана продолжать строительство минарета без перерыва в работах — и осенью, и зимой, и весной — ибо так стоило дешевле.

И воспротивился зодчий всей силой своих познаний, и пытался осветить помещение чиновного медресы светильником прозрения, дарованным ему свыше. И истратил он все стрелы из колчана доказательств, но стрелы его упали за пределами понятий государственного совета, и он не преуспел. А зодчий был человеком прямого нрава и потому, бросивши поводья терпения, он ступил на стезю дерзости и сказал много всяких слов, но и это не помогло.

Покинув Арк, он в тот же день надел халат странствий и, оседлав коня благоразумия, выехал на ристалище бегства и помчался прочь из Бухары. И увез он с собой все полноценные монеты кошелька разума и жемчужины своих замыслов, так что нельзя стало продолжать строительство, и работы надолго прекратились.

А на следующий год возобновилось строительство, и возросли неоконченные постройки, и начаты были новые. Строили мечеть Магоки-Аттари и Намазгох, и мазар Чашма-Аюб, и соборную мечеть, и другие здания, только минарет не строился.

Лихоимцы, воры и завистники, перед которыми зодчий крепко закрыл дверь исполнения желаний, решили, что их время пришло и понесли на мастера в присутствии государя всяческую хулу. И не мог тамгадж-хан Арслан отличить правду от вымысла, и склонил ухо своего доверия к наветам, и гнев его возрос многократно.

А через некоторое время мухтасибы и миршабы городов и селений получили фирман его разгневанного величества хана о поимке зодчего и о предании его смерти посредством усечения главы. В указе перечислялись преступления этого сына греха и разорителя казны и упоминались различные провинности, которых не было, и приводились приметы, и повсюду в государстве на базарных площадях глашатаи возвестили о том народу и объявили награду тому, кто поможет. Но прошел год и прошло два года, а зодчего сыскать не могли.

На третий год к миршабу города Бухары среди дня приблизился некто в халате из тысячи заплат и назвался зодчим, и попросил воздаяния ханской милости. Немало подивились миршаб и стражники, бывшие с ним, потому что редко так случалось, чтобы злоумышленник по доброй воле пресекал корень своей жизни и отдавался в руки власть предержащим. И схватили злодея, и обрекли на смерть, но молва об удивительных событиях обладает крыльями птицы, и достигла молва ушей тамгадж-хана прежде, чем дело свершилось. Задумался Арслан-хан и пожелал еще раз взглянуть на преступника, и при-

вели к нему зодчего, и узнал великий хан, что это тот самый человек, и сказал: «Мы знаем, что душу твою скоро возьмет Азраил, но мы хотим также знать причину твоего бегства. Почему?»

И ответил зодчий хану: «Государь, я это сделал ради твоей славы. Как иначе мог я противиться твоему желанию строить минарет без перерыва в работах? Я знал, что возведу минарет, и простоит он сто лет и больше, а потом упадет. Срока этого мне хватило бы, чтобы прожить свои дни в довольстве и покое.

Но ты, государь, хотел, чтобы я построил минарет невиданный, а я хотел, чтобы он стоял много тысяч лет и чтобы люди, которые после нас придут к нему, вопрошали бы: «В чье счастливое царствование эта постройка возведена?» И ответствовали бы им: «В царствование великого достославного тамгадж-хана Арслана Карахани, удивлявшего мир своими поступками, — бесконечная ему хвала и благодарение». Нас тогда, государь, не будет, а минарет будет, и имя твое пребудет с ним. Твоей казне разорение, мне дохода никакого нет, но посуди сам, великий, кому же прибыль?»

И попала стрела в цель. И положил хан руку утешения на рану своего честолюбия, и захватила его сладкая боль величия и славы, ибо ни одна касыда и ни один придворный никогда не говорили ему столь правдивых и приятных слов. И растопилась железная подкова его сердца на огне рассудка, и отменил хан наказание, и опозорил недоброжелателей, а зодчего возвеличил словами и одарил халатом, и повелел вновь возглавить строительство минарета без постороннего вмешательства, но по усмотрению мастера, которому один всемогущий Аллах советчик.

А время строительства подошло и постройку возобновили. Многие известные мастера, превосходившие зодчего возрастом и опытом, согласились выполнять черные и трудные работы, лишь бы быть под рукой этого человека. У всех мастеров были имена, а главного зодчего звали Бако, но все называли его Усто, то есть Мастер, и это звучало как громкое имя, почтительно и благородно.

И Усто был строг и справедлив и заботился, чтобы все строители до последнего раба были сыты и дважды в день питались мясным, так как известно, что голодный человек нерадив в работе и высокие помыслы ему чужды.

А жилище его находилось рядом, и не было в доме роскоши, потому что мастер был скромн и не стремился к богатству, и не присутствовала там женщина, а был он одинок, так как сердце его и разум были заняты. Сам он довольствовался малым, а к месту строительства приходил раньше всех и уходил позже, и делал больше других. И каждый дивился его уму и повиновался с охотой.

Уже поставили десятигранный барабан и украсили его изыс-

канным узором, а от десятигранника повели ствол минарета. Изнутри же делали лестницу навстречу солнцу и клали стену, а снаружи ствола в подвешенных корзинах сидели самые опытные мастера и укладывали кирпичи по плану и расчету главного зодчего.

И вырос минарет год от года и на четверть, и на треть, и на половину, и больше, а строители суетились на нем и усиливали своей видимой с земли незначительностью величие сооружения. Ученые и простые люди дивились красоте его, потому что был он строен, как буква «алиф», и прекрасен, как луна в ночь своей полноты.

И родилось имя его прежде него самого, а причиной тому было всеобщее внимание и известность. Когда мимо минарета проезжал багдадец, то поднимал голову кверху и у него начинала болеть шея, и он говорил: «Калян». И степенный купец из Дамаска, и веселый ширазец, и хорезмиец говорили, глядя на минарет, то же слово. А бухарцы гордились и соглашались: «Калян, Калян». Не «Большой» и не «Высокий», а «Великий» — Калян! И площадь называли Пои Калян, что значит «Подножие Великого», и соборную мечеть тоже называли Калян.

Когда минарет был почти готов, кто-то взглянул постройку и она упала. И был в Бухаре плач и горе, оттого что многие строители погибли, но поистине не постигает око размышления предопределение всеведущего Аллаха, в длани которого находятся бразды управления событиями, и зодчий уцелел в трех локтях от минарета. И наступили для Усто черные дни, и стал он притчей во языцех, и горожане указывали на него перстом, как на источник тьмы грехов и виновника всех бед и печалей.

Но в хилом теле зодчего — да продлит Аллах благодатьдыхания его, освятит доказательства его и соделает местопребывание его выше высшей точки Фаркадов — жил дух великого бойца, не знающего покоя и довольства собой, и минарет был вновь возведен и предстал. А от начала его строительства прошло двадцать два года, и был он построен позже соборной мечети на семь лет.

Великий тамгадж-хан Арслан, отягощенный возрастом, государственными заботами и военными неурядицами и обремененный недугом паралича, раздробившим локоть его могучей десницы, выехал принять минарет, не имеющий подобия. И осмотрел хан постройку, а с ним вельможи, сановники, двор и семья, и минарет поразил их великолепием, а сахаром своей красоты прикрыл базар всех продавцов сладостей.

И велел хан поставить мастера пред свое лицо и сказал, страдая от одышки и медленно выговаривая слова: «Ты — действительно великий зодчий. Такие люди, как ты, рождаются один раз в тысячу лет. Повелеваем вырезать твое имя на фризе у фонаря, так как ты заслуживаешь».

И ответил зодчий, и скромность озарила его лицо и явила

благородство его сущности: «Государь, что значит мое имя? Это сотрясение воздуха и пустой звук. Что сделано, то сделано, а мое имя только помешает твоему имени, великий хан». Но были люди, которые проникли с поверхности его слов в глубину их смысла и разглядели подлинное величие мастера и его имя, осяянное тысячекрат больше имени тамгадж-хана.

Арслан-хан отпустил зодчего, достойно его вознаградив, и сказал приближенным: «Третий раз мы беседуем с этим человеком, и всегда он находит верные слова для выражения очень тонкой мысли».

И стал минарет сокровищем города и украшением лика земли, и слава о нем распространилась повсеместно, и стали люди мерить величественное и прекрасное в земной юдоли по бухарскому минарету. А слава о его строителе достигла возможных пределов и превзошла их, и многие султаны и падишахи воспылали завистью и пожелали держать этого зодчего близ своего сердца, и предложили ему богатство и почет, но он отказался принять.

И стоял тот минарет во славу господа миров и первой буквой имени его, начертанной на драгоценном пергаменте вечного синего неба, которому нет конца.

ГЛОССАРИЙ

Алиф — первая буква арабского алфавита; название заимствует от греческой буквы «альфа», передает звук «а» и пишется в виде вертикальной прямой.

Азраил — ангел смерти в исламе.

Арк — крепость в Бухаре, бывшая резиденцией местных ханов.

Векиль — министр двора.

Ганч — алебастр.

Дандона́ — ряд кирпичей, поставленных ребром.

Дива́н — совет министров.

Касы́да — хвалебная ода.

Кеш — ныне г. Шахрисабз.

Мазар — постройка культового значения на могиле мусульманского святого.

Меджли́с — совет, собрание.

Ми́рша́б — начальник стражи.

Мухтаси́б — блюститель нравственности.

Несе́ф — ныне г. Карши.

Таго́ра — большое глиняное блюдо, применявшееся в строительстве.

Те́нь синуса — тангенс.

Фарка́ды — две яркие звезды в созвездии Малой Медведицы.

Фирма́н — указ.

Хиджра́ — летоисчисление по мусульманскому календарю со времени переезда (хиджры) Мухаммеда из Мекки в Медину. 498 год хиджры соответствует 1105 г.

Числа аль-Хорезми — таблицы, которые составил в IX веке великий математик Муса Аль-Хорезми к своей книге «Хисаб аль-джебр» (алгебра).

Гибель конструктора

Андрон Степанович Мкртчян — его кто не знает? Знают либо все, либо почти все. А пусть бы и не знали, так на него лишь взглянуть и — никаких сомнений. Он весь тут как тут, как в анкете. Глаза у него ясные до глубины души; пол мужской; лысина зеркальная, сферическая; характер мягкий и покладистый; полнота возрастная и баритон с одышкой. И все в нем так впору, что для выразительности и слов других не остается, кроме имени-отчества с восклицательным знаком.

Встречаются такие люди, знаете ли. Помните, как с вами это было? Идет навстречу гражданин и не спешит; вы его впервые видите, а он вам улыбается; вы раздражены, — что-то у вас там не заладилось, не то в семье, не то на службе, а взглядом с ним встретились и сразу на сердце спокойней стало; от вас все отмахиваются и никто слушать не хочет, а у него вместо облика сплошная приветливость, и вы тотчас догадались, что он — тот самый и есть, кто вас выслушает, не торопясь и не перебивая; вокруг вас суeta суeta, внутри вас необитаемость одиночества при всеоюзном равнодушии, а он подходит и спрашивает: «У вас что-нибудь случилось?» Такой Андрон Степанович человек.

Служивцы, правда, за его спиной поговаривают, что он чудак, слабохарактерный, безвольный, скучный, неавторитетный и даже ничтожный, а он о них — какие они хорошие, какие добрые, умные, интересные, развитые; как ему крупно повезло работать в таком замечательном окружении, мыслями обмениваться, ходить на обед в одну столовую и т. д., причем тоже говорит вполголоса и обязательно кому-нибудь третьему, потому что сказать об этом в глаза напрямик у него смелости не хватает.

Первейшая особенность Андрона Степановича, конечно, улыбка, тем более, что сейчас это такой дефицит, хоть спрашивай, где достал, сколько переплатил и долго ли стоял в очереди. Действительно, стоит ему улыбнуться и — хоть в Швейцарию его выпускай: ни рекомендаций, ни характеристик, ни справок, ничего такого не надо, а вот вам, голубчик, многократная виза и езжайте себе на все четыре стороны, куда захочется. Послужной список его беспорочен да и сам он что добр, что принципиален, что морально устойчив и даже, если угодно, идеологически выдержан, так как женат всего однажды, живется ему лучше некуда, родственников за границей у него нет, а вся его жизнь

изо дня в день протекала в русле заводского конструкторского бюро и в заданном направлении, то есть, вперед.

Если проницательному читателю свойственно предугадывать что-либо заранее, то он не ошибется в предположении, что был Андрон Степанович не особенно умен и, порой, глуповат до однообразия, но ведь в человеке не это главное. Мало ли на свете неумных людей, которые, в противность Андрону Степановичу, живут и не подозревают, как просто восполнить этот недостаток обыкновенной сердечной отзывчивостью и добротой души. Нет, в данном случае должно сказать, что глупость Андрона Степановича в сочетании с душевностью тоже была Божиим даром, а не слабинкой, поэтому правильной будет назвать ее как-то помягче, — непониманием, что ли.

Но можно ли человеку без слабостей? Никак нельзя. и хорошо, что нельзя. Отрицательные черты непременно нужны, чтобы бороться с ними до конца дней, иначе какая же жизнь без борьбы? Вовсе это не жизнь, а одна тоска и прозябание. К счастью, у Андрона Степановича имелись пробелы. Первый недочет подметил демагог Саня Дудкин и настойчиво советовал поскорей от него избавиться, продав на сторону единственную фамильную гласную, которая, будто бы, все портила.

Второй изъян был посложнее; на него обратил внимание сам товарищ Электроникитин, сказав с усмешкой: «Что-то у тебя, Андрон Степанович, поговорка, брат, несовременная. «Кум королю, сват Вильгельму» — куда годится? Ты еще скажешь «Боже, царя храни».

Разумеется, это была всего-навсего шутка начальства, а шутить начальство любит актуально и социально. Так не каждый же пустяк человеку в укоризну ставить, а там пускай Вильгельм даже и немецкого происхождения. Но в общем, Андрон Степанович при всех своих недостатках был человеком весьма и весьма положительным.

В тот злополучный день, которым все началось и кончилось, Андрон Степанович сидел, как ему и положено, в конструкторском бюро родного завода и изобретал. Притомившись от непрерывного творчества, он поднял голову, пустив лысиной зайчика, приласкал пальцами лист ватмана, улыбнулся и, оглядев сослуживцев, сказал:

— А какого я сазана вчера подцепил! Ну, и поволил я его, скажу вам на память. Кашалот, а не сазан. Сорвался, подлец, у самого берега.

Убедившись, что бюро прекратило конструировать и устремилось к нему во все глаза с неммым вопросом — «Это что еще за сазан такой?» — Андрон Степанович вышел из-за стола, расставил попрочней ноги и отмерил руками пространство.

— Во!

Кой-кому тут же захотелось удивиться, у прочих на кончике языка повисло последнее слово кулинарии по части рыбных

блюда, а фрондёр и экстремист Саня Дудкин уже готов был выступить с опровержением, что сазанов показанной величины не водится, как вдруг заметили, что с Андроном Степановичем происходит неладное. Физиономия его вмиг потускнела и вместо радостных воспоминаний на ней остался лишь раскрытый рот. То ли рыбак взял грех на душу насчет размеров, то ли урочный час пробил, только он почувствовал, как в пояснице мягко сдвинулся позвонок, и острая калёная боль пронзила его вдоль, поперек и наискось.

Бюро переполошилось. Лица у всех сделались смышленными и вдумчивыми, словно в президиуме. Надо было что-то делать. Сперва открыли окно для свежести атмосферы. Затем вызвали по телефону заводскую поликлинику. В следующее мгновение на столе Андрона Степановича появились валидол, аспирин, стакан воды и пилюли от бессонницы.

— Интересные шляпки носила буржуазия! — возмутился диссидент Саня, когда делать стало совсем нечего. — Человека скрутило в три погибели, доходит, можно сказать, а они тут сквозняки поустраивали. — И закрыл окно.

С большими предосторожностями Андрона Степановича погрузили в машину и увезли домой. В бюро сделалось шумно и общественно, так как продолжать работу после чрезвычайного происшествия было сверх сил, а до перерыва оставалось еще много времени. Случившееся событие обсуждали коллективом и взапуски, решив, наконец, что радикулит — не фунт изюма и что медицина покамест здорово отстает от запросов народа. Потом перешли к диагностике с рецептурой и друг другу наперебой обменялись мнениями, что пчелиный яд хорошо, но змеиный пчелиному десять очков даст, что муравьиную кислоту, как наружное, лучше всего принимать во взаимодействии с очищенным спиртом, внутренним, что хорошо пользует кирпичный компресс, а также горчичники с тертым хреном. Едва дошли до хрена, разговор невзначай перекинулся на такие темы, от которых оконные стекла зазвенели, как если бы неподалеку разорвался снаряд.

Какой неприятный смех и до чего некстати! Хорошо, что у нас в книгах его теперь не бывает. Да и с чего бы ему там взяться? У литературы свои задачи, ничего со смехом общего не имеющие. Разве можно, шутя и высмеивая, воспитать народ в духе чего-нибудь путного, светлого, небывалого? Никак нет. Так зачем же, спрашивается, нам при нашем порядке пересмешники? Порядок — штука серьезная и смех ему не подспорье. Писатели наши потому и писатели, что и сами люди порядочные, и порядок любят, и читателей к порядку привлекают, и вообще осознают, что вначале порядок, а за ним жизнь.

А в жизни смех, конечно, встречается. Любит наш человек посмеяться по нраву и обычаю, а нрав у него вот какой: что ни дай — все мало, что ни отними — нипочем. К тому же смеется

порой, шельма, в самое неподходящее время, когда, казалось бы, плакать надо или внимать торжественно, а он чуть с ног не валится со смеху. Оно бы и ладно, только вот смех у него нехороший: один внизу засмеется, семеро вверху почешутся, а потом возьмут и обидятся всемером на одного. Оттого-то и приходится ему шутить ненароком и с оговоркой, что это, дескать, вовсе не он шутит, а армянское радио.

В литературе теперь — что там смех! — даже улыбки не осталось, одна жалкая гримаса, как у смущенного вора, когда его за руку схватят. Куда же смех подевался? Ну да, тот самый, громкий, резкий, хирургический хохот, когда — ха-ха-ха-ха! — так и покатываются, да еще пальцем в личность тычут: «Вот он, бюрократ! Вот он, прохвост, сукин сын, держи его, взяточника! Вот кто отпетый злоупотребитель, нетопырь толстозадый, — ха-ха-ха-ха!» Где он, этот смех? Нету. И слава Богу, так спокойней. Подумать только, к чему это нам? Нет, нет, в порядочном обществе, где человек человеку друг любезный, так поступать нельзя, потому что получится скандал, невоспитанность, сатира.

Между тем, Андрон Степанович очутился в привычной домашней обстановке. Не стоит труда рассказывать о гарнитурных мелочах коммунального жилища, но чтобы читатель не заподозрил, будто захворавшего человека привезли в пустое помещение, назовем по необходимости два предмета: во-первых, диван-кровать, потому что именно туда возложили больного, предварительно разоблачив его до пределов, дозволенных моралью, а во-вторых, телевизор, потому что он был включен. О телевизоре же речь особая, и он заслуживает того.

Андрон Степанович любил жизнь крепко и рассудительно. Крепость чувства он смолоду унаследовал от природы, а рассудительности набрался гораздо позже от телевизора. Не секрет, что только благодаря телевизору мы обретаем теперь широту взглядов, емкость суждений и новые горизонты. Точно так же под влиянием разнообразных программ складывался и Андрон Степанович, пока не образовался как есть.

Он уже и сам забыл, когда это произошло, но с появлением телевизора в квартире, хозяин, прежде всего, бросил читать книги. Так же незаметно он перестал ходить в гости, разучился играть в шахматы и перезабыл песни все до одной, какие только знал. Прежние, традиционные забавы оказались неинтересными и их заменил полированный ящик с матовым экраном. Его прекрасный непререкаемый голос воздействовал безотказно и давал осечку всего раз в неделю, когда при подходящей погоде в ночь под выходной Андрон Степанович брал удочки и отправлялся на рыбалку. Нет спору, это был тоже пережиток недавней старины, но тут ничего не поделаешь, — уж чересчур нравилось человеку сидеть на берегу, глядеть, придержав дыхание, детским взглядом на дрожащий поплавок, а потом ощутить

приятную тяжесть и увидеть на миг чудно изогнутое удилище, отягощенное серебряной или даже золотой рыбкой... Как трудно иногда представить и переосмыслить простейшую реальность, которая происходила только вчера!

А сегодня бедняга Андрон Степанович лежал и слушал, как жена, врач и телевизор переговариваются между собой.

— Доездили на свою голову, — сказала жена. — Так и знала. Кому говорила: не ездить? «Нет, поеду». Хоть бы рыбы привез, а то ведь так — тьфу! — соседскому коту на завтрак. Вот и лежи теперь.

— За последнюю неделю противоречия капиталистического мира ознаменовались новыми событиями, — сказал телевизор и впервые за все годы глубоко обидел Андрона Степановича, который принял информацию на свой счет, что на свете, мол, происходят события поважней и что он, Андрон Степанович, в сравнении с этими событиями ровно ничего не значит.

— Сейчас ему, главное, что? — сказал врач, роняя слова, точно чай ложкой в стакане разбалтывал. — Постельный режим. Покой и отдых. Желательно без сквозняка. Во двор не выходить. Диета обычная. Пить нельзя.

— Мировая прогрессивная общественность не позволит, — подлил телевизор масла в огонь.

«И ты против меня, — мстительно подумал о телевизоре Андрон Степанович. — Ладно, еще пожалеешь!» Недоброе чувство охватило его. Единственный раз ему захотелось встать, рассердиться, выгнать всех вон и разнести голубой экран вдребезги. Он, верно, так бы и поступил, но, пошевелившись, мужественно застонал, а боль, как эхо, отозвалась в самых непричастных местах, будто руки-ноги-голова росли у него напрямик из поясицы. Стон не принес ему облегчения.

Радикулит — болезнь сложная и практически неизлечимая. Отношение же к ней со стороны до того легкомысленное, что будь в медицине жанры, как в литературе, этот недуг наверняка проходил бы по отделу юмора, ибо ничто на свете не вызывает столько доброкачественного веселья, как человек с радикулитом. Да полно веселиться, если наука даже в тесном кругу бессильна растолковать данный феномен, и кто знает, сколько исследований впотьмах подопытных организмов еще предстоит сделать и сколько утвердить новых научных соискателей, прежде чем проклятая немочь оставит людей в покое.

Среди прочих недомоганий эта болезнь загадочна, таинственна и кошмарно непостижима. Иногда она проходит от волнующей перебранки с соседями или от сыновней двойки по арифметике. Происходит чудо: отец семейства как ни в чем не бывало встает с одра и ищет брюки, чтобы снять с них ремешок, а через полчаса просит врача закрыть бюллетень на три дня раньше срока. А бывает иначе.

Врач ушел. Жена засобиралась в магазин и в аптеку, не переставая причитать.

— Господи, — жаловалась она политическому обозревателю с широким, как растоптанный лапоть, лицом. — У других мужья, как мужья, а у меня? Ничего, кроме удочки, не знает. У Вали Петровны муж курсы кройки-шитья прошел, теперь по выходным семью обшивает. Вот это муж, я понимаю! Такому ноги мыть, а воду пить и еще мало. Уж на что Надюха, дура набитая, и то: «Встаю, — говорит, — утром, а у моего все готово: борщ, тефтели, пирожки, торт». Ну, за что, спросить, людям счастье?

Душа Андрона Степановича протестовала. В мягкосердечном, трудящемся и терпеливом инженере-конструкторе подшипникового завода пробуждались древние инстинкты борьбы за свободу и независимость. Причины всяких восстаний и революций сделались такими же понятными, как подшипник качения. Надо было лишь встать и совершить что-нибудь такое, чего прежде он никогда не делал. Ударить кулаком по столу. Крикнуть погромче. Восстановить попранную справедливость. Тем более, что и обозреватель поддакивал, рассказывая о борьбе негров за гражданские права. Но едва знакомая боль зигзагом пробила его с ног до головы, вольнолюбивые желания пропали намного скорей, чем возникли.

— Соня! — позвал он жену изо всех сил. — Соня!

Подошла жена, сунула в изголовье свежие газеты и досадливо посмотрела на Андрона Степановича, которому суждено было произнести последние в жизни слова. Но кто знал, что они последние? Никто. Даже сам Андрон Степанович. Будь не так, он обязательно придумал бы что-то важное и незабываемое, как это принято у людей выдающихся. Ах, как многозначительно выразился Цезарь, сказав: «И ты, Брут?»; сколько быстроты и натиска заключено в предсмертных суворовских словах: «Генуя, сражение, вперед!»; какой символикой звучит агония Наполеона: «Франция, гвардия, авангард»; как глубок итоговый подтекст Чехова: «Давно я не пил шампанского», — ах!

Но вряд ли кто мог бы вообразить, будто от Андрона Степановича произойдут афоризмы в духе Ларошфуко, так что не следует ждать от него напоследок чего-нибудь памятного. Тем не менее, что это были за слова и о чем, легко догадаться по ответу жены.

— С ума сошел, — сказала она и удивленно округлила глаза, потому что никогда еще не слышала от мужа столь отборной площадной брани, однако послушалась и телевизор выключила.

Оставшись один, Андрон Степанович стал думать, но не оттого, что был расположен к мышлению без надобности, а просто ему больше ничего не оставалось. К тому же мысль не причиняла страданий, и он вспомнил совет зубного врача: если бо-

лвят зубы, надо как можно меньше о них думать, а всего лучше вовсе забыть. «А вот же, — ухватился он за совет, — назло не буду думать. То есть, буду думать, что здоров и ничего у меня не болит. Лежу себе, отдыхаю — и все. Хочу — сплю, хочу — нет. Словом, что хочу, то и буду».

Вначале он представил себя директором завода со всеми вытекающими из должности преимуществами, но будучи реалистом, всю жизнь имевшим дело с чертежами машин, деталей и узлов, тотчас прогнал манию величия прочь и принялся мыслить предметно. У него было два лотерейных билета (ему их дали в магазине вместо сдачи), и он весь отдался мечтам, будто выиграл «Волгу», приехал без жены на Кавказ и покойно лежит в гамаке, наслаждаясь природой, а вокруг него шашлыки, Гагры, пальмы, «Ркацителы» и, черт возьми, кое-что еще.

Мало-помалу грезы сделались устойчивыми, а самовнушение — фактом большой убедительности. Это подействовало, и Андрон Степанович впал в блаженное состояние, когда сон еще не пришел, но действительность уже потеряла контуры. Он погрузился в забытье, точно в нирвану, лишь остатком сознания прислушиваясь, как стучит сердце и какое оно у него крупное, как кровь упруго струится в жилах, отдаваясь звоном в ушах при каждом вдохе, и как желудок, словно промокашка, до сих пор вбирает в себя витамины и жиры обильного завтрака. Боли не было. Он уже засыпал, как вдруг...

«Позвольте, — скажут серьезные люди, работающие во славу родного порядка и родимой словесности. — За каждым «вдруг» логически следует сенсация и, скорей всего, нездоровая. А зачем читателю нездоровые сенсации? Нашему читателю, который борется и побеждает, опережает и перевыполняет, — для чего они ему? Кроме того, не слишком ли много всяких этих «вдруг» для одного рассказа довольно бытгейского свойства?» Увы, не слишком. Жизнь, к сожалению, то и дело перебивается событиями внезапными, необратимыми и, что самое скверное, никак не запланированными. Подобные события случаются неожиданно-негаданно и их нельзя упредить ни передовой общественной мыслью, ни техническим или научным прогрессом, ни философскими спекуляциями. В биографии любого человека разных неожиданностей тоже предостаточно, причем больше неприятных. Если разобраться, войны, как правило, начинаются вдруг, но никогда таким манером не кончаются; землетрясение вдруг рушит город, который наверняка не встанет, как феникс из пепла, на другой же день; людям зачастую приходится завершать житье-бытье тоже вдруг, то есть, скоропостижно, тогда как никому еще не удавалось явиться на свет экспромтом. Надо иметь смелость признать, что это самое «вдруг» чаще содержит элемент сказки с плохим концом, страшно далеким от классического образа, — «вдруг блеснула молния и загредел гром».

Итак, вдруг Андрону Степановичу почудилось нечто похожее на гул цехового собрания, если слушать за дверью. Гул нарастал, становился явственней, ближе и сразу оборвался, словно звук басовой струны, резко приглушенной ладонью. В тот же миг Андрона Степановича отчаянно защекотали подмышкой.

Сон как рукой сняло. Открыв глаза, он увидел большую волосатую муху, невесть откуда прилетевшую. В сердцах он хотел еще раз как следует выразиться, но вовремя спохватился и, забрав немного воздуха, осторожно подул. Несчастный Андрон Степанович! Его прежние страдания были так мизерны в сравнении с тем, что предстояло.

Муха, потревоженная воздушной струей, перебралась на грудь, там на виду умылась, причесалась и двинулась дальше. Следующий поток воздуха согнал ее, и она опустилась на ступню, откуда стала совершать прогулки по наиболее щекоотливым местам. Движения ее были слишком злонамеренны, и она покказалась Андрону Степановичу умной и хитрой тварью, раскуждающей примерно так: «Вот подо мной самый жестокий и коварный враг. Это он придумал мухоморы, изобрел мухобойки, усовершенствовал мухоловки и дошел до растворов и аэрозолей. На его совести жертвы, которые вопиют. Сейчас я его доконаю».

Немного погодя Андрон Степанович выучился шевелить ушами и подергивать кожей, как это делают лошади, сгоняя назойливого овода. Однажды ему почти удалось прищемить муху пальцами ноги, но она вывернулась и села на лысину, чтобы затем устраиваться на шее, на коленях, на плечах и даже на носу. Часто она меняла места и делала это скорей по умыслу или скуки ради, только не по нужде. Враг не мог противоборствовать, и она знала это, потому что трудно было понять иначе ее торжествующее жужжание. Андрон Степанович вспотел. Он следил за насекомым с ужасом и с замиранием сердца, но был не в состоянии придумать что-либо дельное. Исход борьбы казался предрешенным.

А все ж таки, человек всегда остается самим собой и в этом ему нет равных. В глазах у Андрона Степановича, привыкшего изобретать и рационализировать, мелькнула жажда жизни и осмысленный дерзкий вызов. Идея была дьявольски остроумна и хотя реализовать ее стоило огромных издержек, но стоило. Правда, брать приходилось не мытьем, а катаньем и, разумеется, на обман.

Сперва больной делал, как бы нечаянно, мелкие неясные поползновения и замирал, прежде чем боль успевала отозваться. Передохнув, он продолжал начатое движение, с каждым разом все ближе подвигаясь к цели. Цель выяснилось нескоро, когда Андрону Степановичу удалось повернуться со спины на бок, дотянуться рукой до газет, сложить их в увесистую кипу, вернуться в исходное положение и поднять руку с импровизи-

рованной хлопущей ввысь. Остальное было легко, и пока муха шумно планировала туда-сюда, человек сумел обнажить живот и притвориться аэродромом.

Любопытный вид представил собой Андрон Степанович. Его фигура уподобилась поверженной статуе древнеримского консула. Мягкие черты лица обострились. Профиль сделался скульптурным. Правой рукой консул подъял Великую Хартию Вольностей, левую аргументированно прижал к груди. Задумчивый взгляд пронизал грядущее с такой же прозорливостью, с какой обыкновенные люди наблюдают текущий момент.

Андрон Степанович и сам толком не знал, как долго он пролежал монументально, позволяя мухе всячески над собой глумиться. Ломило вздетую руку, в глазах появился туман и поплыли розовые бублики, сердце беспокойно металось, дыхание перехватывало. В конце концов, стало вовсе неважно. Он уже потерял надежду и хотел сдаться, когда муха, вроде нехотя, развернулась и плавно пошла на снижение.

Это была победа и какая! Трафальгар! Бородино! Грюнвальд! Виктория, так сказать. И если писатели не врут, что в решительную минуту перед взором героя проходит вся его жизнь, тогда, значит, это относится к Андрону Степановичу тоже. Он вспомнил в хронологической последовательности младенчество, детство, отрочество, юность, возмужание, далеких и близких, родственников и знакомых, рабочий коллектив и международный пролетариат. Он собрал воедино лучшие качества души своей, которые прежде не было возможности выказать: решительность, отвагу, дерзание, ум, честь, достоинство, молодецкую удаль и прочее. Как бы там ни было, но чуть только муха коснулась роковой посадочной полосы, ее настиг сокрушительный удар.

Жена воротилась домой в прекрасном, приподнятом настроении. Она сделала все покупки и, мало того, сдала две бракованные бутылки из-под молока, которые у нее раньше не принимали.

— Дроня! — позвала она мужа, как звала его в лучшие минуты жизни, когда оба они были молоды и влюблены. — Дро-лечка!

Ответа не последовало, и она вошла. Андрон Степанович был мертв. На его лице застыло выражение полностью исполненного перед живыми людьми долга.

На другой день заводская многотиражка посвятила памяти Андрона Степановича некролог с портретом. По некрологу выходило, будто покойный прожил большую, интересную жизнь благодаря тому, что все его мысли и чаяния были о производстве, о выполнении плана, о борьбе за качество и о трудовой дисциплине, а других мыслей не было. Еще говорилось, что он скончался как солдат на боевом посту и что память о нем навсегда сохранится в сердцах группы товарищей.

А пока газету читали, по кабинетам ходил деятель завкома. Войдя в отдел, где еще вчера жил и творил покойный, он дождался внимания, прокашлялся и торжественно заявил:

— На нашем заводе ушел из жизни... этот... армянин... как его... — Справившись с трудной фамилией по бумажке, закончил: — Мкртчян Андрон Степанович, вот. В общем, по пятьдесят копеек на венки и обелиск.

Все зашевелились и молча прозвенели мелочью. Террорист и оппозиционер Саня Дудкин дал целый рубль и, отмахнувшись от сдачи, сказал: «Да ладно», — чем вызвал у деятеля несколько мыслей вслух.

— Да, — сказал тот. — Такие дела. Один-ноль, как говорится. Сегодня ты жив, а завтра — неизвестно. Вот тебе и хоккей с шайбой.

Через неделю за столом Андрона Степановича сидел другой инженер, и все так бойко звали его по имени-отчеству, словно он целый век тут просидел, а Андрона Степановича никогда не было. О нем, правда, забыли быстро и прочно, а если и вспоминали, то очень накоротке, особенно женщины. «Господи, — говорили, — какой лопух!» И еще немного — про то, как он всего боялся: обидеть, задеть, толкнуть, жены боялся, начальства, опозданий на работу, шумных компаний — совсем даже не мужчина. И никто с этим не спорил. Только завзятый обструкционист и башибузук Саня Дудкин оставался с коллективом на ножах, настаивая, что было в Андроне Степановиче нечто такое, чего ни в ком нет, ни в отделе, ни на заводе, очень что-то важное и абсолютно необходимое, но то ли он не успел об этом никого предупредить, то ли оно в нем еще до конца не выстоялось, сказать наверняка трудно.

Мясная лавка

Спросите у кого угодно, и любой вам скажет, что нет дня на неделе хуже четверга. Опять же спросите, какой лучший день, и вам назовут тот же четверг. Смотря по тому, как рассуждать.

В этот день в учрежденческой лавке продают мясо для сотрудников. В другое время она пустует и в ней ничего нет, кроме железных крючьев и огромной плахи для разделки туш. Зато по четвергам лавка — очень людное место.

С утра все начинают интересоваться, уехал Тимур или не уехал. Тимур — это мясник, а раз так, то ни к чему объяснять, куда он ездит. Не за мылом, понятно. Выезд Тимура всегда вызывает тревогу и душевную сумятицу. По этому поводу предлагали оповещать служащих каким-нибудь специальным сигналом вроде частых ударов в рельс, но администрация и пожарная охрана не согласились. Нет — так нет, и без того все знают.

Задолго до перерыва сотрудники бросают дела и выстраиваются вдоль лавки, где выбиты стекла и удобно держаться руками. Сначала очередь растет в длину, а потом начинает толстеть за счет тех, кто задержался и не пожелал быть последним среди равных.

Знаете, что такое хвост? Самое противное и невыгодное в очереди место. Конечно, если вы вегетарианец, вам все равно, где стоять. А если нет? Если, скажем, вы без мяса не можете и вам каждую ночь биточки в сметанном соусе снятся? Тогда выбирайте, что нужней: принципы, так сказать, общежития или грудинка. Какой вы человек, кто вас знает, но, ей-богу, вам и дурак скажет, что по нынешним временам с принципами долго не протянешь, а на мясе вполне можно не только жить-поживать, но и добра наживать.

Говорят, что мяса испокон веков было меньше, чем желающих его употребить. Те, что сзади, прекрасно это понимают. Стоит такой человек где-то в конце и думает о себе всякий вздор, будто он — невезучий и что его судьба обделила, и вообще, нет никого на свете несчастней, чем он. Другой, который интеллигент, еще в расстройстве вообразить может, что он обижен не по заслугам, много страдал за правду и сейчас за нее страдает, а остальные об этом даже не догадываются, потому что подлецы.

Надо заметить, что такие мысли ежели и хороши, то либо на

досуге, либо при воспоминаниях юности, а в деле они не годятся и пользы от них решительно никакой. У людей попроще и попрacticalнее в подобных случаях чаще рождаются бодрость духа и крепкие внутренние выражения. Средний нормальный человек лишь глянет соседу в затылок, так сразу и высчитает, кому отпустят последний кусок. А где же правда, спрашивается? Или, может быть, правы те, что ради нее собственную грудь исписали наколками, — нет, дескать, в жизни счастья и правды на земле. Не верьте. Есть правда. Но не в ногах и не сзади. Она любит первые ряды. Когда вопрос о правде выясняется, все норовят пробиться к ней поближе, и очередь от этого превращается в толпу.

Неподалеку слоняются кошки. Они тоже приходят сюда по четвергам. Как они научились определять дни недели — непостижимо. Наука еще многое не раскрыла. Сейчас ученые спорят между собой, мыслят ли животные. При этом одни говорят, что — да, и пишут научные труды, зато другие утверждают обратное, но деньги получают не зря, — тоже пишут. Собрать бы сюда тех, что не верят в разум животных, и спросить: как же в таком случае простая, обыкновенная кошка отличает четверг от вторника или, предположим, от субботы? А ведь мяса еще и в помине нет. Давно пора признать, что эти животные превосходно усвоили григорианский календарь и с большим смыслом им пользуются, сохраняя, правда, при этом дистанцию. Но на то они и братья наши меньшие, как о них сказал один знаменитый поэт.

Толпа гудит. Гул никак не похож на базарный, а скорее напоминает международный конгресс во время перерыва. Звучит вперемешку узбекская, таджикская и русская речь, да в каждом языке своя соль, да у каждого человека свой язык. Вот и получается не шум, а сплошное содружество народов, вооруженных самой передовой в мире теорией снабжения и, тем не менее, глубоко движимых весьма средневековыми побуждениями о вкусной и здоровой пище. Как далеки еще люди от совершенства!.. Впрочем, рассказывать об этом в подробностях так же трудно, как описывать аромат букета, составленного из сирени, фиалок и ландышей. Если же вам непременно хочется иметь более точное представление о больших скоплениях народа, ходите тогда в филармонию, потому что такие моменты нашей жизни лучше всего выражает симфонический оркестр.

Тут как раз время помечтать. Допустим, вы — романтик и наиболее подходящий для вас предмет — юбилейные торжества по случаю восьмидесятипятилетия вашего управляющего. Однако человек смекалистый об этом думать не станет, а даст волю фантазии насчет мясных блюд. От этого желудочный сок обильно выделяется и сил прибывает. А сила, как известно, всегда надежней ума.

Привозят мясо. Кошки замирают и нюхают воздух с подветренной стороны. У людей обостряется зрение. Мясник вешает туши на крючья; там они и висят, играя голыми мышцами, струнно натянутыми жилами и сахарными суставами. Кошки смотрят на людей. Люди смотрят на Тимура. Тимур швыряет на плаху баранью тушу и приступает к четвертованию.

На военных судах в последний момент перед боем подают команду: «Товсь!» Здесь в такой команде нет надобности. Все приготовились. Каждый проверил стойчивость и покрепче сжал в кулаке деньги, будто добыл их нечестным путем. Давление возрастает, и слышно, как из кого-то, словно пасту из тюбика, выжимают слова: «Здорррово рррубит!»

Мясник в самом деле так работает, что дай бог каждому, и наблюдать за ним — одно удовольствие. Единим махом перешибает он хребет бывшей овцы, и не успевает зритель ахнуть, а уже куски мяса, один другого сочнее, летят на прилавок. Мясная гора все растет и растет. Создается видимость, что мяса хватит на всех и даже еще останется. Но это — мираж, который исчезнет, как туман с луга при первых солнечных лучах, — вот посмóтрите. Все же толпа при виде мяса, немного поостыв, начинает вести сдержанные анатомические разговоры: филе, курдюк, седло, ребрышко, сбой. . . Тем временем через служебный вход в лавку проникает первый посетитель.

Служебным входом пользуются лица, имеющие на то право. А у кого прав больше, скажите, у рядового сотрудника или у начальника отдела? Возможно, у вас будут возражения. Возможно. Свобода, дескать, равенство, демократия и все такое. Но дозвоьте спросить: у кого обязанностей больше, у простых служащих или у начальства? На ком ответственность возлежит, на начальнике или на подчиненном? У кого ненормированный рабочий день? Кого чаще поражает инфаркт, катар, гастрит? Кто на курортах что ни год здоровье поправляет? Да, да, да! А вы как думали? Начальство, руководство, дирекция — вот кто. Это на них жизнь держится. Не верите? Тогда скажите хотя бы — луну для молодежи кто разрешил? А воздух с устатку передохнуть кто позволил? А размножение животного поголовья кто утвердил? Или квартальные планы перевыполнять, — кто ввел времена года? С легкой, так сказать, руки, красивым почерком. . . Все оно, начальство. Какие же тут могут быть возражения? И у кого?

Помимо всего этого, начальство отличается от подначальных еще и тем, что ему ни на что не хватает времени, а успеть надо везде, поэтому оно не ходит пешком, а ездит в машинах. На первый взгляд вроде бы неплохо. А на деле? Ноги теряют упругость, организм слабеет, былая физическая хватка атрофировалась, и резвость уже не та. Нет, к хорошей, здоровой, спортивной борьбе за существование начальство вовсе не приспособлено. Одно спасает — права. И нет ничего страшней, чем эти

права потерять. Тогда уже, конечно, все разом наваливается: и гастрит, и катар, и инфаркт...

Сознательные подчиненные понимают, что ни один начальник простоять в очереди на ногах три-четыре часа подряд не в состоянии. А жить каждому охота. Потому-то народ и не возражает, когда вышестоящий товарищ берет мясо раньше других. Их, правда, много: один, два, десять, двадцать... Которые помельче, те сами берут по одному пакету на руки, а шибко ответственные товарищи доверенных лиц присылают и берут по многу: и семье, и родне, и цыпочке, и на завтра, и на выходной, и вообще, чтоб хватило. Вот мираж и рассеялся, и мяса на прилавке уже нет. Мяснику приходится опять делать заготовку.

Когда обслуживают начальствующий состав в части касающейся, приступают к общей распродаже и начинается естественный отбор в самом что ни есть демократическом виде. Удивительно все-таки, до чего же люди мясное любят.

— Тимур!

— Тимурчик!

— Темир-джан! (То же, что и «Тимурчик».)

— Темир-бай! (Очень уважительно, вроде «ваше благородие».)

— Темир-хан! (Совсем хорошо, все равно что обращение к монарху.)

— Темирлан!!!

Все смеются. Мясник тоже смеется. Ему приятно, что его сравнивают с могущественным человеком, который когда-то очень давно так же судьбами распоряжался. Никакой натяжки здесь нет. Посудите сами: захочет мясник — будут у вас наваристые щи в смену с пловом, а ежели не захочет, тогда хлеб-вам-соль трижды в сутки и доброго здоровья. Солидный человек Тимур, влиятельный человек. Дело в руках держит, кормилец. У вас, например, высшее образование, — а толку? Мясник же за один четверг принесет детишкам на молочишко побольше, чем ваша месячная зарплата безо всяких удержаний. Так что по труду, как видите, каждому, а по уму через одного.

Тот остроумец, что потрафил шуткой, выбирается на простор с куском мяса и в смятом пиджаке без пуговиц. Вывод из этого сделать проще простого: если ваш недостаток понравился людям, которые выше вас, это уже преимущество. Кто-то там еще сдачу громко требует, семьдесят копеек, — нашел время. Толпа вздрагивает от возмущения. Есть же наглецы, — откуда только берутся такие. Тимур молча и не глядя хватается трешницу и швыряет наугад. Молодец, Тимур... Правильно... Получи и не мешай работать, подметальщик несчастный!..

Но — некогда возмущаться, надо чувствовать. Локти бьют копейно острые или круглые, как кегли, но те и другие — упорные и негибкие. Хороша также широкая спина в каче-

стве щита от физических упреков. Рост предпочтителен высокий. У мужчин колени жесткие, у женщин — мягкие.

Кстати, непонятно, почему женщин называют слабым полом? Может, так оно и было когда-то в старину, однако времена меняются. Нынче худшего оскорбления для женщин трудно подыскать. И пусть остается на совести того, кто это выдумал, что женщинам будто бы дали права и уравниали. Тоже скажут! Никто им прав не давал, они их сами взяли. И уравниали себя тоже сами. Не только уравниали, но даже превосходили некоторым образом. Потому что в первых рядах не оказывается вскоре ни единой души противного пола. Не выносят мужчины мягких женских коленок, — вот что странно. Кто-то там еще побарахтался немного, пробуя зацепиться за оконную раму широченной, как лопата, рукой с синей наколкой «Я сказал». Да мало ли что ты сказал, дурак меченый, — кто тебя слышал?! Ну-ка, мягкими тебя коленками, круглыми локотками — гляди! — выперли. Вот и разбирай теперь в сторонке на досуге, кому и что ты сказал.

Конечно, если у мужчины имеется отличительный признак, то еще ничего. Годятся, например, погоны. Лучше, когда милицейские. Тогда Тимур сам заметит и мяса даст, прежде чем оно кончится. А очки в счет не идут, сейчас их почти все носят. Но хуже всего шляпа. Засмеют. «Вот, — скажут вам, — тоже лезет. А еще шляпу надел!» Этот головной убор рекомендуется держать в руке, как на похоронах, а при случае — вдруг повезет! — не раздумывая подставлять под мясо.

Когда товар весь распродан, деньги как-то вмиг обесцениваются и борьба затихает. Тимур берет топор, весы, выручку и уходит. Остается свежий воздух да пропитанная кровью и салом плаха, из которой впору наколоть щепок для супа. Люди расходятся. Наступает час кошек.

Собственно, человек ничего не имел против кота. Кот был рыжим камышовым дикарем. Человек же был сутул, курчаво волосат, крепок и не умел смеяться, а на бедрах у него болталась потерявшая шкура неведомого науке животного, вымершего еще в доисторическую эпоху. Между человеком и котом лежал окровавленный жирный заяц, namного крупней тех, что изредка встречаются и по сей день.

Человек понимал, что без мяса ему никак нельзя. Кот тоже это понимал и дешево уступать территорию не собирался. Они обменялись вдумчивым осмысленным взглядом. Великая идея имела привкус сырого мяса и не оставляла соперникам иного пути, кроме борьбы.

Человек издал протяжный гласный звук, сбиваясь на фистулу. Кот устрашающе зашипел и натопорчился. Человек сделал шаг вперед. Кот подобрался и приготовился к прыжку. Человек поднял палку с приделанным к ней острым камнем. Кот метнул сноп фосфорических искр и едва не испепелил против-

ника морально. Человек, поборов жуткий страх, закричал что-то нечленораздельное и решительно взмахнул палкой. Кот прыгнул в сторону и скрылся в зарослях. После этого человек пообедал без помех и, опробовав пальцем кремневое острие, раздумчиво покачал головой. Потом он встал и отправился восвояси, оставив на примятых папоротниках кости и потроха. Миллион лет спустя на том месте поставили мясную лавку.

Катя

— Хотите достать хорошую медвежью шкуру, — говорили нам в двадцатый раз, — поезжайте на Черную речку к деду Удовенко Фомичу. У кого-кого, а у него найдется.

Легендарный дед с отчеством без имени жил километрах в восьмидесяти от поселка и ехать так далеко мне не очень хотелось. Дело в том, что я не люблю медвежатников, так как в охоте на медведей, по-моему, есть много сходства с разбоем на большой дороге. В самом деле — встречает человек медведя и говорит ему: «Раздевайся». У человека при себе двустволка и нож, у медведя первобытные клыки да когти, — нет, встреча происходит не на равных и по самым подлым канонам нынешнего терроризма. К тому же, все имущество медведя состоит из шубы, точнее сказать, из собственной шкуры и отдать ее по первому слову он не может, за что и получает два жакана в упор. Думается, что здесь больше все-таки убийства и грабежа, чем риска или смелости, и человек, наверное, испытывает те же чувства, что и бандит, рассказывая об удачной охоте исключительно ради облегчения совести. Во-вторых, мне не нравится спешка без надобности; я предпочитаю всему просторный диван с хорошей книгой и не считаю свои занятия хуже, чем лазанье по горам, всякие там пешие тропы или даже путешествия с оплаченным комфортом. Наконец, в-третьих, я знал, что состояния на Камчатке лучше наперед мерить вдвое, чтобы потом меньше огорчаться. А полтора ста километров говорили сами за себя — раньше, чем в три дня нам не обернуться. Обо всем этом я сказал приятелю, впрочем, сказал, будто от третьего лица — вяло и небедительно.

Костя энергично запротестовал, сказав, что подобную некорректность может простить только мне и что он очень рассчитывал на мое обещание, которым он, вроде бы, когда-то заручился. Он и сам сладил бы с задачей, но берет меня только из-за внешних впечатлений: белый человек, культурный товарищ из центра... Я не обиделся, потому что давно знал о Костином желании увезти на материк медвежью шкуру, притом, не какую попало, а первый сорт.

— Понимаешь, — часто повторял он, и глаза у него загорались от азарта. — Вот, заходишь ты, скажем, в зал, да? А на полу во всю жилплощадь шкура, — это тебе как? И заметь, не какого-нибудь недоростка, вроде дальневосточного муравьеда,

а настоящего, бурого, камчатского, полутонного. Лапы с когтями, клыки оскалены — неужели не впечатляет? Ступишь — нога тонет. Ворс — лес густой, не продерешься. Это же антик! Сейчас это модно, знаешь как? Что там ковер! У меня и гарнитур бурый, что в цвет, что в масть.

Ни зал, ни бурая обстановка меня не привлекали, и я, чтобы досадить Костиной практичности, разводил в расстеленной на полу шкуре блох и моль. На Костю это впечатлений не производило, потому что он знал множество сильных противодействующих средств.

— Самое главное, — говорил он с рассудочностью тихого помешательства, — чтобы зверь был здоров, а остальное сойдет.

В его блокноте появились записи о длине ворса, о расцветках, о признаках качества и сортности, о размерах и, вообще, о таких подробностях, которые сделали бы честь самому придирчивому выбраковщику при отборе мехов на аукцион. Так же неожиданно он стал покрываться шерстью, дико обрастая бородой, а в разговорах о медведях он теперь как бы облачался в шкуру мехом наружу и выглядел страшноватым, как Бармалей. После невеселой, на год затянувшейся командировки, ему до отъезда оставался месяц, но чем меньше оставалось, тем возбужденней и настойчивей он делался.

Словом, мы решили отправиться на ту Черную речку, где жил некий Удовенко Фомич. Всякие приготовления с охотой взял на себя Костя, а от меня требовалось единственно ступить на борт «мотора», как местные жители называют моторную лодку, в точно назначенное время и без оправданий.

Задержки не было, оправданий — тоже, и в обусловленный день и час лодка с экипажем из трех человек протарахтела мимо поселка, зажатого на узкой песчаной косе между рекой и морем. По реке, как по бойкому тракту, с шумом и гамом сновали рыболовные траулеры, буксиры и катера, оглашая воздух гудками, металлическим лязгом и громкими людскими голосами. Невзирая на помехи, Костя исходил криком, закрепляя знакомство с третьим спутником и выпрашивал его о том, о сем, на что тот отвечал также громко.

— Что? Рыбак, а кто ж еще? Нет, нечаянный отпуск, судно в ремонте. Рыбалка — отдых? Это вам отдых, а мне... Эй, там, возле канистры, полегче со спичками, а то всем будет рыбалка.

Через полчаса, не подходя к устью, лодка свернула в протоку и сразу стало тихо, только ритмично выстукивал мотор, да винт пенил за кормой воду.

Третьим в лодке был ее владелец. Лет ему было около сорока, а обращались мы к нему так, как он нам представился — Федя. Для общности мы тоже отрекомендовались мальчишками, но он ни разу не назвал нас по имени, а обращался не иначе, как «Вы» или «Эй, там, возле канистры», окликаая меня, и «Эй,

там, на носу» — Костю. Так ему, вероятно, было удобней. К Фомичу, личность которого он знал хорошо, а имя — нет, Федя согласился отвезти нас за полцены, потому что сам ехал по надобности, собираясь запастись в тайге березовыми вениками для бани на зиму.

Лицо Феде не выражало никакой внутренней борьбы, свойственной сложному миру современника; оно было раздольным, как равнина, воспетая в ямщицких песнях, или как тундра, в которую углублялась протока. Запоминающейся особенностью был здоровый полнокровный румянец, покрывавший лицо, уши и шею и похожий на первый, но крепкий курортный загар, а белесые волосы и жнивье несколько дней не бритой щетины предполагали, что, прежде чем куда-то ехать, Федя долго и крепко мылся в бане хозяйственным мылом, парился и плескался кипятком до тех пор, пока, как ситчик, не полинял. И будь у него в достатке веников, еще неизвестно, состоялась бы наша поездка или не состоялась. Фигура его тоже была примечательна: когда он брал ружье, из которого так никто за поездку и не выстрелил, оно выглядело игрушечным и хрупким, плохо совмещааясь с квадратной натурой хозяина даже при среднем его росте.

В лодке угомонились и помалкивали. Мы с любопытством осматривались по сторонам, исподволь осваивая также своего нового знакомца, который сидел на корме и правил, а о чем думал — кто его знает. Протоку будто нарочно кто-то перевязал и закрутил разнообразными по сложности узлами, потому что на километр видимого пути приходилось два или около этого по воде. Тундра тянулась на все четыре стороны и лишь где-то очень далеко на горизонте вздымались, как куски рафинада, сопки в снегу — там была твердая земля, другая природа и своя жизнь. Несколько раз лодка приставала к хлипкому торфяному берегу, и над нами начинали столбом виться комары. Трудно сказать, как чувствовали себя в этих местах первые землепроходцы, но мы спешили завершить дела на берегу как можно скорее и, почесываясь, бежали к лодке.

Кроме обилия ископаемых богатств и прочих весьма положительных свойств, Камчатский полуостров располагает, по дружному утверждению всех учебников, очень выгодным географическим положением. Пожалуй, это было единственное, что нам не удалось прочувствовать. В остальном же все верно. Камчатка, действительно, полуостров и, чтобы в том увериться, не обязательно туда ехать, а довольно будет взглянуть на карту. Это огромный фигуристый кусок суши, обмакнутый в горько-соленый раствор Тихого океана и вобравший в себя такую массу воды, что весь он непрестанно сочится тысячами извилистых и запутанных протоков вроде той, по которой мы плыли. Зыбкая раскисшая почва прогибается под ногами, становясь летом вовсе непроходимой и будучи доступной только в зимнее

время, когда кто-то, наверное, и удосужился вымерить по прямой расстояние от поселка до Черной речки.

Деда Фомича Федя знал давно. Жил дед здесь лет тридцать, если не больше, а числился не то инструктором, не то инспектором по рыбному хозяйству, но скорей, все-таки инспектором, потому что инструктировать, помимо собственной жены, Фомичу было некого. Могло быть, что Фомич имел кой-какие заботы в период нереста кетовых и роста мальков, однако времени свободного оставалось, наверное, много, так что ко всему он занимался также охотой: белковал, соболевал и считался удачливым медвежатником. Были у Фомича дети, да сызмальства жили в обжитых местах у родственников, а теперь повзрослели и разъехались кто куда. Фомич же ехать к ним не захотел и остался на месте сам-два со своею старухой, которая отродясь ни по каким должностям не проходила и трудовой книжки не имела.

Не в пример троим чудаковатым англичанам, о лодочных приключениях которых написана целая книжка смешных рассказов, у нас приключения не хотели происходить: никто не свалился за борт, не сломался мотор, погода стояла на редкость безветренная и лодка резала зеркальную гладь протоки, как алмаз режет стекло. Людей и лодок нам навстречу не попадалось, а небесный свод, расписанный по синеве белыми пушистыми облаками, казалось, окончательно оградил нас своим прозрачным колпаком от всего, что было раньше. Вблизи нас бесстрашно пролетали утки, но бить их в эту пору было нехорошо, потому что они как раз выводили птенцов.

— Зверя во время гона, а птицу при гнездовании лучше не трожь, — сказал Федя, — а то счастья потом долго не будет. Он помолчал и добавил, обращаясь почему-то ко мне: — Проверено. Можешь не сомневаться. — Конечно, это был предрассудок, но предрассудок настолько симпатичный, что о сомнениях и речи быть не могло.

А один раз нам встретилось три гуся. Мы их заметили издалека, и они шли точно к нам, никуда не сворачивая и совсем низко, будто звено штурмовиков над самой землей. Затем послышался свист крыльев и мы увидели совсем близко их стремительную стая: изящно вытянутые шеи, черные носы и светло-серое оперенье. На нас это произвело такое же воздействие, как детская игра «замри», потому что нас тоже было трое, и мы замерли.

— Здравствуйте, сто гусей! — очнувшись, закричал им вслед Костя, впадая неожиданно из дикости в инфантильность. Потом мимо нас проплыла большая рыба, которую течением сносило к устью, и он встретил и проводил ее долгим неотрывным взглядом.

— Рыба, — по-детски радостно воскликнул Костя, когда узнал знакомый предмет.

— Кижуч, — уточнил назидательно Федя.

Это была рыба из семейства кижучей, прожившая долгую и счастливую жизнь. В здешних водах она когда-то проклянула-лась из икринки. Детство ее прошло в этой протоке, а после она уплыла в Атлантический океан к берегам Южной Америки, где росла и гуляла лет шесть. За это время она не попала ни на сковороду, ни в консервную банку, ни в чрево хищного собрата. Но пришла пора нереста, и рыба отправилась в обратный путь. Протоку она нашла без труда и вошла в нее, сменив океанскую стихию на речную, но в пресной воде перестала есть, а все плыла и плыла туда, где сама родилась. В верховьях протока мельчала, и рыба ползла по песчанику и гальке, почти наполювину выходя из воды. Вконец обессилив и изранившись, она достигла заводи и поняла: это — здесь. Тело не переставало ныть и чесаться, и рыба терла избитые бока о водоросли и о стебли прошлогоднего камыша. Там, в камышах, рыба встретила такого же, как она, запоздавшего на нерест самца и, сладостно шевеля жабрами, потерлась о его чешую. Потом она, словно роженица, выметала икру, а самец выбросил молоки. Свадьба состоялась, и рыбы одели брачный наряд, то есть, истекли кровью настолько, что у хвоста кровь въелась в чешую. На этом рыбий век кончался, она уже ни на что не годилась, и ее тело плыло в последнюю тихую гавань до первой чайки... Рыбья биография, рассказанная Федей, показалась нам интересней многих, которыми ведают наши отделы кадров.

Прокачавшись в лодке семь часов с лишком и перебрав в уме возможные вариации на тему старика и старухи у самого синего моря, мы охотно поверили бы не только в предрассудки, но и в сонное царство, и в избушку на курьих ножках. Между тем, тундра кончалась. Низкорослый кедрач окаймил берега, становясь все выше и гуще. Тихо пропльвали поляны с обильной травой, которая тут вырастает за три-четыре месяца до чудовищных размеров. Протока стала мельчать, и лодка несколько раз проскрежетала неприятно, задевая килем кремнистое дно. Федя, пичкавший нас полезными сведениями в той мере, в какой мы проявляли любопытство, впервые подал голос по собственной инициативе:

— Теперь недалеко, — сказал он.

Лодка скользнула в заводь с широко разверстыми берегами, и мы увидели на юру не сказочную избушку, а крепкое подворье с воротами и забором, с сараями, которые на полуострове называют стайками, и с рубленой избой при хороших окнах и красивых наличниках. На стук мотора вышел не таежный дедина и не шамкающий подслеповатый хитрован из псевдонародья, а невысокий, сухощавый и не старый на вид человек, хотя мы знали, что он, все-таки, дед и что ему к семидесяти.

— Федя, — сказал он, узнавая лодочника, таким тоном, ка-

ким школьник прочитывает вслух заголовок стихка и ставит точку. — Ну, здравствуй.

Он поздоровался за руку с Федей, потом, молча, с нами. Фомич считал, что он — человек известный и лишний раз называть себя ему не стоит. А ехать сюда от поселка было сто тридцать километров.

Мы с Костей были слегка разочарованы тем, что в избе не пахло ни овчиной, ни сапогами, ни прокисшей кашей. Рыбой тоже не пахло. Стоял бодрый и чуть терпкий дух, какой источает здоровое оструганное дерево. Стены, пол и потолок были деревянны, а из мебели — стол в красном углу с двумя устойчивыми жесткими лавками и стулья с неудобными прямыми спинками, на которых нельзя было сидеть скособочившись. В углу при входе висел шкаф для посуды, еще один угол занимала кровать, тоже деревянная и широкая, как полати. Вдоль стенки между столом и кроватью поместился сундук, вероятно оклеенный изнутри картинками, — на нем тоже можно было и сидеть, и спать. Четвертого угла не было, а была вместо него русская печь, что занимала чуть ли не четверть комнаты и зияла отверстием и печурками и оттого казалась рассеянному взгляду глазастым чудищем с огромной пастью. Рядом, прислонясь к стенке, отдыхали ухваты, кочерга и прочие предметы, вышедшие из практики теперешнего домоводства. Все было самодельное и напоминало, если не этнографический уголок, то, во всяком случае, своеобразную выставку патриархального житья-бытья, среди которого уживались батарейный приемник, покрытый ручником с красными петухами, десятилинейная лампа, подвешенная к потолку над столом, и двуствольное ружье с поясным патронташем на стене у кровати.

В начале дороги Костя рассказывал, как он себе представляет дедово обиталище в медвежьем углу, и не угадал. Самое первое, чему надлежало сразу же нам в глаза броситься, должно было выглядеть так: сидит на печи бабка и натужно кашляет. Но бабка не сидела и не кашляла. Поздоровавшись, будто мы с ней не виделись со вчерашнего дня, она не спросила у нас ни имен, ни справок с места работы, а стала собирать на стол.

— Я-то гадала, Петро приплывя, — сказала она на ходу. — Сколь разов козу привезти обещаю.

Нас удивила мудреная бесконечность фразы, но впоследствии мы привыкли к самобытной речи старухи. Она говорила «зная» и «узная» вместо «знает» и «узнает», а также «гуляя», «понимая», «помогая» и, верно, сама бы удивилась, скажи ей кто-либо, что она объясняется сплошными деепричастиями.

Разговором прочно владел дед. Нам он на первых порах внимания не уделял и не спешил узнать, кто мы такие будем и зачем приехали, положась на опыт, что ежели с Федей, значит, свои, а кто мы и что нам надо, про то сами заявим. Пока Фомич расспрашивал Федю об общих знакомых и новостях в поселке,

мы довольствовались тем, что сидели, слушали и разглядывали.

На берегу и во дворе вид у Фомича был довольно болотный. Но, сняв кацавейку и сменив сапоги с голенищами по самый пах на расхожие калоши, он сидел, положи ногу на ногу, чистый, аккуратный и даже с претензией на щегольство. Фомич относился к людям, которым их внешность так пристала, что ее не может заменить никакой костюм новейшей моды, да и сами они в ином облачении будут стыдливо, словно от холода, поеживаться и чувствовать скованность. Наверное, как раз от людей такого склада произошла мысль, что человеку всегда надлежит быть самим собой. У мальчишек лет до тринадцати-пятнадцати эта сторона тоже развита подсознательно, но очень сильна неприятием праздничной одежды, в которой ни наземь сесть, ни на дерево влезть.

Фомич носил практичный серый пиджачок, такие же штаны, хозяйственно подлатанные женой, и рубашку темного, немаркого цвета. Глаза у него были мутноватые и выцветшие, какие бывают у стариков, но взгляд, живой и острый, вспыхивал поочередно с папирсой. Его оживленность очень замечалась со стороны. Речь Фомича, уснащенная разными словечками, не делала из него ни шута горохового, ни этакого краснобайствующего мужичка с подстрижкой под народность; совершенно напротив, это был серьезный и своеобразный человек с мелкими чертами лица и подвижными морщинами. Такие лица художники любят писать карандашом с натуры, потому что они чрезвычайно интересны и с увлечением читаются. При всей словоохотливости слова у Фомича выходили самостоятельными и с достоинством. Может быть, он слегка хвастался и малость привирал, но, если подобные слабости охотникам, рыбакам и газетчикам прощают, то деду и подавно надо простить, приняв в зачет, что он со своей бабкой прожил в тайге все тридцать лет и три года.

— Жизнь, — озаглавил вдруг свою мысль Фомич, повернувшись к нам. Он это сделал до того серьезно и торжественно, что подумалось: ну, сейчас начнется обсуждение всяких проблемных воззрений или, в крайнем случае, откроется конференция по одноименному роману знаменитого французского писателя. Вместо этого, старик разлил привезенный спирт в граненые чарки и продолжил:

— Так и живем. А что? Не хуже других. Да. Потому что все есть, — и показал рукой на стол.

Действительно, кроме охотничьей водки, папирос «Беломорканал» и спичек, все остальное было хозяйское: хлеб домашней выпечки, картофель в мундире, квашеная капуста, балык, яичница на сале и отдельно сало, нарезанное бело-розовыми ломтями, корчага ряженки с зарумянившейся пенкой, сливочное масло в виде пирожков, свежая редиска, дикая черемша и,

верх всего, миска, полная искрящейся малосоленной икры, сильно похожей на красную смородину, омытую дождем.

— Тост, — провозгласил Фомич. — С прибытьём!

По желанию хозяина выпили «с толком», то есть, сдвинувши чарки. Костя сразу же потянулся ложкой к икре, я — тоже, сохраняя изо всех сил внешность «культурного товарища», а дед тем временем перечислил свою живность от упряжных собак до рыбы включительно, обойдя при этом бабкиных кур и кошек, о чем та ему тут же напомнила.

— Так не люди же, — сказал Костя и в голосе у него прозвучало тоскливое *соль*. — Ну, день с ними, ну два, ну неделю, а всю жизнь... надоест, скучно. — Видно, несмотря на икру, поселок представлялся ему отсюда не грязноватым и насквозь пропахшим рыбой, а крупным хозяйственным и культурным центром и невдомек было, как в такой отдаленности, будто в другом мире, живут двое людей.

— Скучно, — отозвался дед, как бы соглашаясь. — Это кому как. А ежели посмотреть, какая же скука? Красота одна. Природа кругом. Разве природа скучной бывает? В позапрошлом году был я в Питере. Вот уж где — чего только нет: и рестораны тебе с танцами, и кино, и пароходы... — Гуляй — не хочу. А воздух гнилой. И люди невеселые, вроде спят на ходу. Как там живут — тоже не пойму. Человеку что надо? Раз ты живой, значит, веселей ходи, а ложишься спать — подумай, чего тебе завтра делать с утра. Когда ты жизни своей сделал расписание, скука от тебя враз отстала.

— Так-то оно так, а все ж таки общество, друзья, соседи, — упорно стоял на своем Костя.

— Ты насчет разговора? — спросил Фомич. — Я ведь не один, а со старухой.

— С тобой поговоришь, — промолвила бабка. Все, кроме деда, засмеялись.

— А сейчас я что делаю? Тебе лишь бы языком, а нет, чтобы умственно, — укорил он жену и вернулся к беседе. — Общество. Вот вы с Федей приехали, а чем не общество? А там, глянь, другой кто приедет — тоже общество. Радио есть, — кивнул он на приемник и похвалился, — дали как премию. Что на свете дется — знаем. Включишь, опять же песня там или какой разговор, хошь — понятный, хошь — непонятный. Я так больше непонятный разговор уважаю. Даже сколько раз себе на уме думаю, ежели бы все время слушать, так свободно можно выучиться японскому языку или, скажем, американскому. Пришлось, болел я два дня, так все слушал и, веришь, вроде бы уже понимать стал, да выздоровел, — с сожалением заключил старик.

— Вот видите, — заметил Костя, — заболели. А случись что серьезное, здесь и врача неоткуда взять.

— Вра-а-ач! — сказал Фомич протяжно. — Да ты пойми,

какие на природе болезни? Никаких. Потому как природа их враз душит. Теперь, правда, болезни пошли какие-то новые: инфаркт — во! — Он поднял палец и поочередно так всех оглядел, точно нашел способ лечения всех сердечно-сосудистых заболеваний, — да еще рак. Но я на свой лад соображаю, что эти болезни больше для ученых людей, а мы для них не подходим. Живем тут со старухой, дай Бог, тридцать годов, а не хвораем. Я-то всего два раза лежал, да и то — один раз медведь меня поломал, а в другой раз я под лед провалился, простуда схватила, — и все. Вот пусть старуха скажет.

— Пить надо было меньше, — сказала старуха.

— А с медведем что у вас получилось? — спросил я.

— Обыкновенно. Не надо было мне его трогать, шибко серьезный зверь попался. С норовом и, видать, уже стреляный. А я его задел. Ну, и попортил он мне пару ребер, да я на него не обижаюсь. — Начав за упокой, Фомич кончил за здравие, как будто у него было, по меньшей мере, сто ребер, а причиненное увечье — суший пустяк.

Заметно было, что живется на отшибе ему не просто и по людям скучается. Оживленность деда и разговорчивость казали только лицевую сторону его житья, а изнанка угадывалась в частом одиночестве и в длительном молчании. Он был рад нашему приезду и теперь спешил выговориться. По интересу беседа была общей, но говорил один Фомич и между делом ловко отбивал наши реплики.

Удивительной была детская простота его речи вперемешку то с наивной ошибочностью, то с глубокой и точно выраженной мыслью, как случается, когда человек до всего доходит своим умом. Он переходил от одного суждения к другому с неторопливой убежденностью давно сложившихся в нем понятий. Выражение его лица придавало словам особую окраску, какую приобретают стихи, становясь песней. Если мысль его не вмещалась в несколько фраз, он, по обыкновению, делал к ней заголовки. Вообще, события этого дня могли бы походить на кинофильм, в котором действие развивается и само по себе, и по желанию публики, если бы в кино можно было общаться с персонажами на экране.

Напрасно выпустил Фомич на экран медведя, ломающего ребра и снимающего скальп, потому что охотник был тут как тут. Он отложил ложку и, как следует прицелившись, ударил дуплетом:

— Ну, и как, — убили? Вы подробней, подробней...

— Убил, убил, — поддразнил Фомич Костю и вдруг, сощурившись на него пристально, спросил: — Слушай, мальгой, а ведь тебе, чай, не терпится шкуру сымать, а? — Федя несдержанно засмеялся. Дед стрелял навскид, но лучше, чем Федя. — Он уже был почти убитый, да еще я его из-под низу ножиком достал. Так на мне, бедолага, и кончился. А что делать? В таком

разе, знаешь, и самому пропадать неохота, — оправдывался старик.

Костя признался. Да, хотелось ему достать хорошую шкуру. Домой написал, что привезет. Теперь скоро возвращаться, а без шкуры неудобно. За тем и к Фомичу приехали. А за ценой он не постоит.

Фомич сожалеюще причмокнул языком.

— Оно, конечно, так сказать, — начал он какими-то казенными словами, — семья там и прочее. Только зря вы приехали, потому как я с этим делом порешил.

— Как, то есть, порешили? Бросили, что ли? — не поверил Костя.

— Ну да, бросил.

— А что ж так? Опасно? Или года?

— При чем тут года? Года терпят. Образумелся на старости. Третью зиму мишек не трогаю. Жалко мне их, вроде, совесть. Прошлой зимой военный генерал с холуями на вертолете прилетывал. «Давай, — говорит, — веди, где лохматый спать залег; ты, — говорит, знаешь». Посмотрел я на него, говорю: «Шукайте сами, товарищ генерал, козь вам приспичило, а я к вам в егеря не нанимался». Ух, кричал на меня. «Уволю! Выгодно! Начальству пожалуюсь!» Сердитый. А мне его сердце, как прыщ на . . . , сейчас не война. Их, мишек, и так вскорости всех переведут. — Дед сокрушенно махнул рукой и начал пересчитывать, сколько медведей подвалил за год Прошка Грамотный, да сколько Петька Косой, да начальство из области — тоже охотнички . . .

— Это он после Кати такой стал, — пояснила старуха. — «Противно», — говорит, — «не пойду боле».

— Какая Катя? — спросил я. — Дочь, что ли?

— Медведиха тут при нас долго произрастала, Катей звать . . .

О медведях мы начитались всякой всячины и довольно наслушались былей и небылиц: о сороковом медведе, о медвежьей этике, об их чрезвычайной понятливости и, вообще, черт знает о чем. Костя заскучал лицом и с раскаянием полез пятерней в бороду.

— Так вы, значит, больше не охотитесь? — спросил он невыразительно.

— Почему не охочусь? Хожу. Только охота, она какая? Пару уток — это можно, да и то, рано по весне или к первым заморозкам, когда бессемейные. Или зверь какой злобный попадетя, лпать же — можно.

— Волк, к примеру, — вырвалось у меня.

— Волк! Волк, он тоже разный. Встречал я одного. И вышел он ко мне напрямик. Ружье у меня, как след, под рукой, а он, знай себе идет, вроде задумался. Полено вниз, голову свесил и не спешит. Ах ты, ясное море, думаю, куда ж ты прешь на само-

убой под заряд? Однако, не шумлю, жду, что дальше будет. Остановился он, не доходя шагов пять, посмотрел. Гляжу, какой-то он чудной, и глаза печальные, будто душа у него стенил. Ему бы язык, так, небось, и сказал бы: «Бей меня, дед, потому что теперь мне все равно». Рисковый зверь и из себя гладкий. Стало мне сумно ружье держать. «Проходи, — говорю ему, — своей дорогой». А сам ноги дома забыл, до того глаза у него, как у меня или у тебя. Он и пошел. А я так думаю: что-нибудь у него такое случилось. А как стрелять будешь, ежели зверь душевно страдает? Я его потом встречал. Признал.

— Это как понимать, — признали?

— А так и понимай. Оно только на вид сдается, что раз звери, так все одинаковые. А у них у каждого свой сучок, своя примета. Людей они тоже узнают и запоминают, какие опасные, какие — нет. Очень просто, потому как всякий человек по-своему пахнет.

Фомич рассказал еще такой же случай с оленем, который был «страсть какой бедовый и красивый». Любопытно, что в его рассуждениях всегда присутствовала природа и не безучастно присутствовала, а одухотворенно и очень деятельно. Он то и дело говорил: «на природе», «с природой», «потому что природа», дерево у него болело и страдало, когда его ломали и увечили, рыба обжигалась воздухом и теряла сознание, медведи думали, волки понимали, утки соображали и все в таком роде, будто ему и вправду выпало счастье подсмотреть, как в ночь на Ивана Купала папоротник цветет.

Старухе в его рассказах отводилась роль свидетеля, потому что ни на кого больше Фомич сослаться не мог. В подтверждение правды он говорил: «Пусть старуха скажет» или «Вот бабка моя не даст соврать». Изредка по забывчивости, а, может, и нарочно, дед приглашал ее свидетельствовать такие события, при которых присутствие бабки либо вовсе исключалось, либо было не совсем уместным.

— Придумая тоже, — махала она на деда рукой и смеялась вместе с нами или незло бранилась, а Фомич ее подзадоривал.

Долго тянутся северные вечера. Солнце часами летит над горизонтом, как птица-жар, и садиться не хочет, а когда, наконец, сядет, то неглубоко. Оттого и ночь — не ночь, а вечерние сумерки почти до утра. Время от времени хозяева выходили ненадолго по хозяйству и возвращались, но дед, казалось, выговорился и в голосе у него появилось раздумье и ожидание. Он вострепнулся и приободрился, едва Федя напомнил ему о медведице. Так как вспоминать Фомичу было удобнее с самого начала, то он наполнил чарки заново, выпил со всеми, понюхал хлебную корку, закурил и озаглавил самый длинный свой рассказ.

— Катя, — сказал он, отметив точку паузой.

Сперва Фомич вспоминал давность случая и насчитал, что дело было около шести лет назад. Он тогда собирался пораньше сходить за дичью на Третье озеро, но замешкался, а когда из дому вышел, солнце уже стояло вполдуба. Он назвал поляну, мимо которой мы проплывали, и мы согласно кивнули: знаем, дескать.

— Я когда в тайгу либо другой раз в тундру выйду, так меня диво берет: до чего же природа все правильно устроила. И всякому у нее свое место: что птице, что рыбе, что зверью. Людям бы тут жить, а не по городам гуртоваться. Но, видать, мало еще людей на свете, которые с правильным понятием. Приедут, посмотрят, поторгуются, «эх, красотишшша» скажут и укатят. А житье здесь раздольное. Всего хватает, коль с разумом в дело производить. Трава — будто кто ее сеет, дикой птицы — тучи, лесу — сколько хошь. В общем, жить можно. Есть, правда, вредные люди, которые про себя говорят, что они цари природы. Такого сюда пусти на жительство, так он все дочиста переведет: зверя уничтожит, рыбу отравит, а тайгу вырубит. Потом он, конечно и сам ноги протянет, но под конец догадается, что никакой он не царь, а так, глупость одна.

Иду я и таким манером размышляю. А мыслей у меня хватает. Чуда в том никакого нет, потому как ежели языком не с кем чесать, то сам с собой рассуждаешь, оно — и мысли всякие берутся. Выходит, вишь ты, очень это полезно, понимать много начинаешь. А у ученых людей разве не так? Так. Потому, раз он ученый человек и какую полезную штуку придумывает, то ему больше требуется самому с собой разговаривать, а не на людях. Как мне вот.

Вышел я к увалу, аккуратно где протока в тундру забирает и шагаю, не сторожусь. О себе, стало быть, даю знать, что иду. Только примечаю: ветра нет, а кедрач в одном месте ходуном ходит. Остановился я, стою тихо. Заяц, думаю, или другой зверь какой, так затаиться должен, для того я и знак о себе подавал. Кедрач дрожать перестал — трава заволновалась, как что круглое по земле покатилося, да разве угадаешь что? Трава, сами видали, какая — не проглянешь. Но что-то живое, потому как поверх травы стежка прямо ко мне бежит.

Ружье я на случай снял. А стежка-то так и стрижет, ближе, ближе и за сапог меня — цап! Глянул под ноги — щенок медвежий, сосун, месяца четыре ему, не боле. Оторопел я малость, было отчего. Нет такого, чтобы при сосуне матка не состояла. А в ружье у меня в пору на гусей патроны бекасиными набиты.

На медведиху с дитем невзначай выйти — хуже нет. Тут или давай Бог ноги, или не дай Бог осечки. Медведиха за своего щенка сама без приглашения встречь пуле пойдет и кто-то из двоих на месте должен остаться. Больше, понятно, зверь остается, но случается, что и охотник.

Матку с детьми я в жизнь не замал, потому как приплод чисто пропадает. Встрену, бывало, матерую с малыши, голос подам, они и уходят. Ну, а в таком разе, оно ведь и самому пропадать неохота. Переломил я, не глядя, ствол, сам от кедрача глаз не отвожу, патроны с дробью намазок повывокырнул, рукой в пазуху слазил (я там жакан держу всухе про запас) и опять же гляжу на кедрач, жду, чего дальше. Патроны в ствол, курками клацнул. Тут уже я осмелел, а чтоб медведиха показала, покричал в голос. Я, мол, тебя не боюсь и сам ищу. Ждал-пождал — никого.

Внизу щенок мне в сапоги тычется и прочь не идет. Несамостоятельный, страху в нем никакого нет, потому как ничего пока не понимает. Пнул я его ногой — он покатился кубарем и обратно ко мне. Я его вдругорядь: «Пошел ты, — говорю, — вон, а встренься к зиме годка через четыре». А кутенок настырно лезет и скулит, есть, видать, просит. Взял я его на руки — легкий он, как кошка, и все носом тыркается. Медвежата рождаются маленькие, смотреть не на что, и до полгода мало растут. Ну, нешто что делать было? Бросить ежели — пропадет, потому как несмышленный и никого досель кроме родной матери не видел, домой взять — мороки не оберешься. Одна беда, что я его на руки взял, а потом уже соображаю, что бросить мне его никак невозможно. Это — как ребенка ни про что побить. Раз так, думаю, то черт с ней, с дичиной, перебьемся. Повернул оглобли и — домой.

Что случилось с медведихой, не знаю. Может, отбилса щенок от матери в тайге и заплутался по глупости, а может, кто осиротил. Скорей все ж таки подбили матку. Навряд, чтобы взрослая пацану своему заблудиться дала. А там — кто ж его скажет. Всяко случается.

Принес я кутенка домой. Бабка моя поворчала, ну — это дело такое женское. Ворчит, оно, вроде, и занятие. Парного молока ему дали. Пить из посуды не умеет, но голод — не тетка, надо пить. Вывозился он как анчутка, а напился-таки. После молока посогрелся и в углу на тряпке заснул. Так и остался в хате. А еще оказалось, что медведик был женского пола.

Пожил он в избе, ознакомился, где что, а через неделю-другую такой стал свойский, будто и нашелся тут. Спать когда захочет, к бабке в подол просится, живое тепло ему, вишь ты, требовалось. Уляжется, чисто дите малое, поурчит-поурчит, с тем и заснет. Интересно, что до сладкого страсть какой был охотник. На сон всегда у бабки сахару либо конфет просит. И ест не сразу, а малость под языком подержит, почмокает, пооблизывается, а потом уже съест. Однако не шкодливый и ласковый тоже.

Сам я больше где-нито бываю, а медведик с бабкой. Сперва его кошка и куры били, так он все с хозяйкой норовил: куда она, туда и он. Соображение, значит, такое имел, что хозяйка

за него заступится и в обиду никому не даст. И к науке у него способности появились: сразу взял в толк, что на двор надо в сени ходить, и вообще чистоту любил, как он и сам опрятный зверек.

Кормили его молоком, потом стали давать, что сами едим: и борщ, и рыбу, и картошку. Медведь все то же, что и человек ест: хлеб, мясо, молоко, овощ всякий. И по характеру медведь к нам близко подходит, так что правильно в других государствах подметили: ежели медведь, так и — русский. А собаки к щенку долго привыкали. Увидят — шерсть у них торчмя, рычат, лают, бесятся. А трогать — не трогают. Вот поди ж ты! Должно, у собак свое понятие есть, чтоб малого не обижать, будь он хоть кто.

К зиме на медведика одурь нашла. Аккурат в это время медведи хвою жрут до отвала и в горку поднимаются, а там уже залезают в логово и спят до весны. Вот и наш стал вялый, ел мало, больше спал. Я-то его в зиму почитай что и не видел. А по весне смотрю — сам себе не верю: щенок-то наш — не щенок, а цельный пес. Уже не то, что куры, а и собаки к нему уважение поимели и рычать перестали. Стал он самостоятельно по двору ходить и в тайге неподалеку гулял. Я прямо удивлялся, какой дикая тварь разум имеет: все наперечет хозяйство знает и вреда никакого не творит. В хате резвится — ничего не зацепит. Вот тебе и косолапый!

И вот примечаю я, что старуха обо всем с медведем разговаривать стала. Ну, понятно, от меня какой толк? Так она с медведем. Со мной полагается — медведю расскажет, начнет вспоминать что — тоже рассказывает или песню какую сыграет, а медведь ее слушает. Зверь всегда уважает разговор и по голосу точно догадаться может, что ты делать собрался. И чуткость насчет человека зверь крепко держит: когда отойти, дороге дать, а когда пожировать, побаловаться. А почему так? А потому что зверь характер человеческий понимает.

Мы когда с бабкой беседуем, медведь возле на полу лежит и интересуется, слушает. Но у нас, дело известное, какой разговор? — так. Я на нее — Катерина, она на меня — Фомич, и все. Пошла как-то она в огород картошку окучивать, а я во двор вышел позвать. Да плохо, видать, покричал. Сажу в хате, жду, когда моя старуха заявится, смотрю: медведь в хату — шашть! — и сел на порожках. Сидит, смотрит, сейчас так прямо и скажет: «Чего звал? Говори, да поживей, а то мне особо некогда». Рассказал я про это бабке своей, посмеялись мы, да в добрый час так и нарекли медведиху Катей. Стало в хозяйстве у меня две Катерины: одну позовешь, непременно обе заявятся.

Ела наша Катя порядком и шибко росла. Припаса у нас хватает, можно не то что одного, — десяток медведей прокормить. После нереста столько рыбы остается, что — мое почтение; и свиньям, и собакам, и медведю хватит. Да еще картошка, от-

ходы, трубаха разная. В общем, возматала Катя и вымахала за два года поболее теленка. Держать медведя в хате тесно, и определил я ее в стайку. Сена там вдосталь, а через стену коровник. В стайке она и прижилась. Днем с бабкой, а как смеркнется, к себе идет. Из живности она особенно корову привчала. С того и день начинался: бабка поутру с подойником к корове, а Катя ее уже дожидается. С бабкой заходит, сидит тихо и нюхает. Аппетит, должно, нагуливает. От коровы-то дух какой? Самый благородный: что молоко, что сено, а хоть и навоз взята, какую он тебе дает память, как ты его на нюх поймал? Дымом из печки пахнет и жильем человеческим, а ты глаза зажмурил и дышишь, вроде заблудился и из мочи вышел, но спасение твое близко, и ты его носом чуешь по ветру... Так что коровник для Кати был, как одеколон для людей. А свиней не любила и на старуху обижалась, что та с ними знает. Гляжу, взяла бабка помои и понесла свиньям. Потом, слышь, разговор со двора. Ага, понятно, уговаривает, значит, одна Катя другую, чтоб та ее в свинарник допустила.

К собакам она была — так себе. Оно и конечно: враждебные от роду звери. Однако ни Катя собак, ни собаки ее не трогали. Да и трогать ее было поздно. Зато к малому очень осторожность показывала. Куренка, бывало, сперва носом отпихнет, а потом лапой ступит, — а как же!

Стал я и другое замечать: вырастает зверь. Лапищи у него пошли с когтями, клыки. К такому зверю надо с оглядкой подходить, а не то он те так приласкает, что не встанешь. Как полужу на медведиху да на старуху, так и забуюсь. Идет она с бабкой рядом, как гора, да еще играет, вроде толкнуть норовит.

«Слушай, — говорю, — Катерина, дело серьезное. Больно выросла медведиха. Бить-то ее, понятно, рука не наляжет и прогнать не прогонишь, а делать что-то надо. Давай-ка мы ее в поселок спровадим, а там в Питер или во Владивосток. Ей теперь одно место, что в зверинце в клетке. Рублей полста за нее смело дадут». А старуха моя: «Ты, — говорит, — Фомич, супостат, ежели вольную тварь за деньги сбить хочешь. Это тебе, — говорит, не лошадь или корова, а животное, как ты и я, с понятием. Не дам, — говорит, — и конец». Я ей в сердцах: «Да как же, — говорю, — дура-баба, ежели она тебя по хребту погладит, мне что тогда, — одному пропадать?» «Ничего, — говорит, — со мной не подеется». «Как, — говорю, — не подеется? Ты, — говорю, — глянь на нее, как она глазищами зыркает». А медведиха, вправду, возле бабки улеглась и к полу жметса, будто меньше показаться хочет, а сама то ко мне, то к старухе глазами водит. Бабка мне: «Ты, Фомич, меньше на нее зенки пяль. Зверь не любит, когда к нему кто без спросу в душу лезет. У Кати характер хоть и добрый, да свой, бывает ей хорошо, а бывает и худо. Что ты про нее тут баишь, она все понимает и долго теперь будет на тебя в обиде».

И то правда, не любят звери прямого взгляда. Это у них считается вроде, как нахальство. Я сам сколько раз испытывал. Идешь по тайге, видишь, — волк или медведь, или олень — неважно кто. Но ты видеть его не моги, а краем глаза наблюдай и начинай что-либо делать: садись, кашляй, закуривай, стучи по дереву или песню заводи какую. Главное, что ты, как будто, ничего не замечаешь. Тогда зверь за тобой наблюдать будет сколько тебе захочется и подумает тоже: «Ну, до чего культурный и обходительный человек мне сегодня попался!» А как ты на него чуть глянул, так он сразу в кусты. Вообще большое любопытство и уважительность зверь к человеку имеет. Промеж собой они тоже редко в глаза глядят, разве когда дерутся. Почему нельзя смотреть? Можно. Только, ежели зверь знакомый и знает уже, что ты пагубы ему не сделаешь. Тогда разрешается. Он даст тебе на себя посмотреть, а ты посмотри и глаза в сторонку уברי, чтоб, значит, он тебя тоже облюбовал.

Глянул я на медведиху, так не поверите, до чего мне не по себе стало. Смотрит на меня зверь дикий, но без зла смотрит, а с обидой. И привиделось мне, что Катя все до словечка поняла, как я про нее говорил, и вот-вот заплачет. Старуха ее утешила, сахару дала. «Иди, — говорит ей, — Катя, спать и ничего не бойся». Медведиха пойти пошла, а от сахару отказалась. Вот и понимай, как знаешь: «Мне, мол, после такого обидного разговора никакой сахар не будет сладкий».

С той поры стала Катя меня чураться. Встренемся с ней, она отойдет, дорогу даст, а не глядит. Опять же понимать надо, что она знать дает: «Хоть я, мол, и подчиняюсь тебе, как ты есть хозяин, а душевно с тобой не могу». Зато с бабкой стали — водой не разольешь. И чего только старуха с ней не делала: и занозу ей шилом из лапы ковыряла, и всякий мусор таежный из шерсти выбирала, и в пасть руками лазила. И до того ей зверь покорялся, что хоть дрова на нем вози.

Хотел я с бабкой секретно поговорить, чтобы хоть ветеринара из поселка пригласить и медведихе клыки с когтями чуток притупить, да раздумал. Будь, думаю, что будет, раз дело такое. Старуха тоже переменялась, все больше у нее Катя на уме. Прихворнула, случилось, Катя, так моя полночи ворочалась, пока я не осерчал. «Шла бы ты, — говорю, — Катерина, в стайку жить. Боюсь я, что ты, сердешная, до утра не выдюжишь без твоего чуда-юда».

Но вообще, жилось нам с Катей весело. К зиме она шубу новую справит, в тайгу пойдет и хвойных иголок наестся. Потом домой вернется и заляжет в стайку спать. Спячка у нее была короче, чем обыкновенно у медведей, потому что хозяйство наше: собаки лают, корова мычит, куры горланят, — какой тут сон? Зато к весне мишки из берлоги встанут худые и облезлые, а Катя справная, гладкая, шерсть на ней блестит, ну — глаз не отведешь, до того видная из себя.

Прожила у нас Катя без малого три года и стала совсем взрослой. В хату войдет — свет застит, а повернется, как по струнке. На воле побежит ежели, так на мотоцикле догонять. Купаться каждый день привычку имела ходить. Вода в заводи и летом ледяная, кости ломит, а ей нипочем. Плывет быстро, одна голова над водой. На мель вылезет и давай лапами по воде брызги поднимать. Глядишь на нее издалека, бывало, кра-снешься.

Одна беда: скучать стала и задумчивость у нее появилась. Бабка догадалась сразу: «Скоро, — говорит, — Фомич, Катя от нас уйдет. Время ей пришло». Потом, слышь, с медведихой го-ворит: «Скоро ты, Катя, кинешь меня, в тайгу пойдешь дружка искать. А ништо, милая, ништо, погуляй, Катя, на воле. Семей-ство заведется. А что делать? Доля такая».

И натурально, стала Катя из дому отлучаться. Уйдет и гу-ляет в тайге день, а то два. Вернется, поживет, опять уйдет. Уже, глянь, с неделю проходит. Ну, вольному воля. Под осень ее почти месяц не было. У нас со старухой думки всякие неве-сельные: то ли ее, упаси Бог, подвалил кто или что приключи-лось. А она пришла. Последний раз, правда, но пришла. Попро-щаться, значит, за хлеб-соль и за житье.

День дома побыла, а к вечеру собираться стала. Вышли мы ее провожать, а уж она-то к бабке ластится и головой мотает, как поклоны кладет. Потом пошла нехотя. Идет-идет, станет, назад обернется и ворочается. И все к старухе. Так до четырех раз. Бабка моя слезьми изошла, причитает, у самого тоже серд-це свербит. . . И пошла Катя. Отойдет малость, остановится, го-лову опустит, думает. Но уже не оборачивается. И так сколько раз, пока вовсе не скрылась. Какую душу зверь имеет, а?

Остались мы со старухой одни. Скучно в доме стало, вроде кто из семьи надолго уехал. Как про что разговор затеем, так тем часом и Катю помянем. Ну, дело наше, известно, стариков-ское, а что было, быльем покрылось. Так и жили. Годам к трем мы уже вовсе успокоились и ничего такого не думали. А оно как раз и случилось. Аккурат под Спасов день.

Пришел я в тот раз от рыбы домой, обусулился. Сижу. Бабка стряпает. Слышу, вроде кто-то за дверь цапнул. Потом еще, зтак с протягом. Собак не слышать, жируют на воле, во дворе все тихо. Вышел я в сени и без опаски дверь открыл. Гляжу — ясное море! — медведь матерый на дыбки встал, света белого не видать, а он стоит во всю дверь до стрехи до самой. Тут у меня язык отнялся: стою чуть живой, слова не могу сказать и с места не сворохнусь. А медведь на передние лапы бухнул, меня в сторону оттер, а сам в хату.

В крайний момент оробеть — последнее дело, потому как ты уже сам себе не хозяин и сила из тебя вся вышла. Вот и я пере-пугался так, что сроду со мной такого не было. Стою ни живой, ни мертвый, а мысли у меня вразбег пошли и ни одной при

себе не осталось. Показалось мне и солнце в копейчку, и небо с овчинку, и чего только не показалось. Опомнялся я при бабкином голосе. Зашел, слышь, в хату — опять наваждение: бабка медведя обнимает, в гриву ему уткнулась, сама плачет и приговаривает: «Катя, чадушка, Катечка, милушка, души не чаяла свидеться. Вот спасибо, — не забыла меня, старую, вот спасибо!» А медведь старается, шею ей вылизывает да лицо, да руки и ворчит легонько. Но я уже вспомнил и тоже в голос вошел, потому как догадался, что кроме Кати больше у нас быть некому.

Меня-то? Признала, как же. Обнюхала всего, дыхнула. Звери, они по запаху признают, и всякая живность на свете для них состоит особо. Ну, мне-то много не надо. Признала — и будет, и на том благодарность.

Что тут поднялось! Бабка по хате мечется, а Катя то постелется возле нее как полость, то вскочит как гора да заурчит на радостях. Не успели мы в разум войти, глядь! — двое щенят медвежьих в хате. Точь-в-точь, как я Катю впервой нашел, а может, разве что чуть поболе. Оказывается, она к нам со всем приплодом заявилась.

Старуха вовсе ополоумела, кричит: «Катя, детки-то, детки у тебя какие пригожие. А уж похожи, ну прямо — вылитая ты. А живешь-то как, Катечка? Ну, дай Бог, дай Бог. Да что ж мы так?.. Фомич, чего стоишь? А ну неси балык, какой есть в чулане, да сахару кускового поболе, гостей дорогих...»

Чулан у нас во дворе, держим там всякий продукт, что холода не боится: муку, мясо, сало, сахар тоже. Из хаты вышел я свободной и совсем уже в своей норме, а оно опять, чтоб тебя... Мишка. Откуда он взялся, шут его... Ежели супруг, так не паруются они надолго и мужиков своих вскорости прогоняют, а этот... Да еще злой, паразит. Ну, думать время не показывает: пришла беда — отворяй ворота.

Еле я успел в чулан заскочить и на пробойник дверь взять, а уж он вслед ломится. Ну, это, брат, шалишь; дверь я делал крепкую, доски в ней — разве что пуля возьмет. От шатунов ставил, чтобы порухи не было. Шатун? Тоже медведь. Который опоздал спать лечь в берлогу, а потом уже нельзя было. Этот опасный, потому как голодный. Бывает и людям от него разор, ежели к припасу доберется. Такого я бью без жалости в любой час...

Опять же испуг меня схватил. Дышу, аж сердце заходится, будто километр без роздыха бежал. А до чулана всего чуть поболе десяти метров будет. Вот что страх с человеком может сотворить. Страх, он такой, что хоть кого опозорит... А как вспомнил я, что медведь в хате может до убийства дойти, так и вовсе мне худо стало. «Катерина, — кричу, — закрывайся скорей!» Но бабке моей навряд слышать, а Катя услышала.

Сперва щелки в двери засветились, перестал мишка свет

загораживать. Смотрю дальше. Вижу, Катя его плечом толкает, а тот задом от нее. Нехотя, правда, и вроде как отговаривается, но не спорит. Отойдет на шаг-два, а Катя его плечом! плечом! Так на середину двора вытолкала и повела прочь: сама первая, а он за ней. Уже я в таком разе из чулана вышел, смотрю на них — ничего не пойму: Катя могущая, как корова, а этот паразит рядом с ней, как собака, — вот так мужик! Потом сообразил, что пестун это, сынок от первого выводка. И рост у него, — как раз людям на ярмарке бороться смеха ради. Ему бы добрый подгопник, он бы и сам убрался, а я оробел без памяти. Одно слово: страх, большие глаза... У медведей такой есть случай, что содержит matka при себе кого-одного из старших детей за меньшими присматривать, и прозывается он пестуном, ну — нянька, вроде. И при Катиных, выходит, тоже один такой состоял добросовестный.

Зашли они в кусты, потом в тайге скрылись, ничего видать не было. Должно, Катя его по-своему ругала, а то, может, побила, чтоб не принародно. Они все страсть как боятся матку, особенно, ежели она с детвой. Медведь и в человеке признает, что, ежели сказать, баба в женских тягостях, так он ее нипочем не тронет.

Воротилась Катя одна. Кутята ее в хате возятся, как ничего и не было. Бабка мне говорит: «Ты погляди, Катя-то смеется. Это она, Фомич, не иначе, как с тебя». Присмотрелся, что ты скажешь! — смеется зверь. Смеется как? Обыкновенно. Олень, к примеру, во время гона часто смеется. Собака хвостом веселость передает и глазами, само собой. У волков самый короткий смех и редко они смеются. А медведь головой вертит и вниз глядит, чтобы кого случайно не обидеть. Но все ж таки нет-нет, а глянет на то, от чего его смех взял. Вот и Катя на меня тоже так глядела. Смешно ей было, как я на старости лет кости себе размял.

Погостила у нас Катя часа три и пошла. Через пару дней опять наведалась, но уже без своего пестуна. А потом часто приходила. Кутят бабка сахаром повадила, да и Катя смалу его любила, так весь наш сахар и... да! Ну, была оказия, привез нам Николка Пахомов еще рафинаду...

Крепко западает добро зверю в память. Припомнила Катя все, как есть: в стайку свою сходила, а я туда дрова сложил, пришлось выкинуть. В коровнике посидела. Опять с бабкой из-за свиней ругаться стала. Касательно своей жизни ни в чем от нас не таилась, покажет, бывало, вроде как расскажет. Видели мы со старухой, как она своих малых купает. Сперва сама в воду заберется и ждет, когда детвора полезет. Те боятся и не идут, а топчутся близ воды. Надоест Кате ждать, поплавает сама, искупается. После на берег выйдет, отряхнется, пацанов своих по очереди загребет и, вот ей-бо, как мать дите по одному месту — набьет! набьет! набьет! и в воду поспихивает.

Думали мы, что из-за нас могла у них нянька отбиться на сторону, потому как долго не видели. Но бабка сказывала, что все у них благополучно и семья целая. Она в тайгу за жимолостью ходила. Варенье из жимолости — первый сорт и при кашле лучше, чем малина. Там она их всех и встретила: медведи большие охотники до ягод. Позвала бабка Катю; та — к ней, а пестун — от нее, как черт от ладана, только треск пошел. И пришлось старухе лишний раз за жимолостью идти, а что тогда набрала — все скормила.

Осенью пришла Катя прощаться. Одна. Детей, видать, со старшим оставила. Так оно, конечно, легче. И опять, как в прошлый раз. Бабке слез на неделю хватило, щи стала подавать пересоленные, мне тоже тоска, лишь вспомню, как идет Катя от нас и печалится. С того и перестал я их трогать. Жизнь у медведя и так намного людской короче. Пускай себе, думаю, живут. А тут еще с Катей у нас родство повелось, так мне и вовсе нельзя их преследовать. Забот прибавилось: хожу теперь в тайгу подале на случай каких охотничков. Да и то хорошо: хата у меня, что твой кордон, мимо не проскочишь. А Катю теперь ждем, надеемся.

Я все мечтаю: вот бы ученого человека встретить, который науку доподлинно изучил и точно может сказать, видят звери сны, когда спят, или нет? По-моему, должны видеть. Ежели, к примеру, Кате какой сон приятный снится, так это про бабку. Как, вроде, бабка с огорода идет, а медведиха с ней рядом...

Редко бывает погода на Камчатке, но уж если выдастся, так на диво: днем все к солнцу тянется и блестит, смеясь, а ночью деревья в тайге шепчут листвой друг дружке разные сказки и всякую бывальщину про то, как когда-то очень давно Иван-царевич на сером волке по лесу скакал здешнему мимо вон той старой пихты; как рыбка золотая, жившая в протоке неподалеку отсюда, разговаривала человеческим голосом и как один добрый человек нашел тут маленького медвежонка месяцев четырех, не боле...

На другой день Фомич утешал Костю: — «Да ты, слышь, особо не тужи. Коль уж тебе так шибко шкура требуется, заверни к Петьке Косому. Это недалече, верст семьдесят по воде всего. От меня, значит, верст тридцать вниз по протоке, да влево свернуть — Федя знает — и еще чуток побольше. А у Петьки есть. Он не брезгует.

Нам сразу же не понравилось, что Косой не брезгует. Чувствовалось, что старик говорит о Петьке со сдержанной неприязнью и оттого часто поджимает губы. Мы стали дознаваться и из отрывочных объяснений Фомича поняли, в чем дело.

Этот самый Петька Косой оказался тоже инспектором и охотником. Случилось ему убить медведя. Медведь был больной и лечился в теплом ключе, а Косой там в грязи его и за-

стрелил. Это было, что против правил, что не в сезон, и Косой торопился «раздеть» зверя. За этим занятием и застукал его Фомич. С тех пор Косой старательно избегал Фомича, а старик прозвал его душегубом.

— Ну, экземпляр, — пропел Костя, когда мы с ним вышли в тайгу размяться. — Ты только подумай, Жан-Жак Руссо какой на болоте вырос! И еще, знаешь что? Либо мы с тобой вконец испорченные люди, а этот старый хрыч — эталон бытия, либо... Я так полагаю, что напротив. Где он был? Самое далеко — в Питере, а Владик — это уже такой край света, что дальше ничего нет. А видел что? Елки-палки, лес густой да медведей с волками. Нет, меня на эти побасенки не возьмешь! Ты как хочешь, а я не верю. И шкуру себе все равно добуду, хоть у Косого.

К большому удовольствию Феде мы пошли с ним и быстро нарезали кучу березовых веток. Навязав сотни полторы хлестких пахучих метелок, мы снесли их в лодку и уложили, выставив днище несколькими рядами. Федя заметно подобрел и смотрел на нас совсем ласково.

— Ничего, — ободрил он Костю. — Справим тебе шкуру. Я этого черта Косого знаю. Хитрый, зараза. Все норовит дерьмо загнать. Как к нему приедем, вы, двое, помалкивайте. Особенно про то, что у Фомича были, — старик у него не в почете. А я с ним договорюсь.

За обедом Костя улучил момент и, будто невзначай, спросил:

— Фомич, а Фомич, а вы помимо Камчатки еще где-нибудь были?

Старик внимательно посмотрел на Костю и сказал:

— А ты неправильно меня понимаешь, малый. Думаешь, старый п... н, ничего на свете не видел... Да ты не стесняйся! Я ж тебя отсюда очень хорошо наблюдаю... Как не быть? Был. В Москве был, в Ленинграде. В Мурманск ездили со старухой, сын у нас там живет. Красивый город Мурманск. Ну, еще на войну сходил, повоевал. Ты в Варшаве был? А я был. В Берлине тоже был. Город Магдебург видел, другие города тоже. Американцев знаю: натуральные ребята и рисковые, вроде нас. У меня и награды есть, девять штук; до ровного счета войны малость не хватило. Я их так и не надеваю, ордена-то. Как с войны пришел, снял, старуха в сундук положила, там и лежат. А чего гордиться? Перед природой гордиться нечего. Природа, она всегда выше тебя, и никакой ты перед ней не герой... Воевалось как? А что, — легко воевалось. На войне перво-наперво, чтоб совесть была спокойная и природа чтоб на твоей стороне, тогда твоя будет победа обязательно. Вот немцу, тому трудно было воевать, потому как против природы пер и против всякой людской совести...

Деда опять будто прорвало. Предвидя наш скорый отъезд, он спешил наговориться недели, наверное, на две вперед и от-

стал от всех на полмиски щей. Но обед закончился, и мы стали прощаться. Старуха сказала «до свидания», а Фомич проводил нас до лодки, как-то сразу потеряв ко всему интерес. Он подал каждому руку, сухо бормотнул «ну, пока» и, едва винт вспенил воду, повернулся и зашагал к хате.

Погода посвежела. Небо обложило тучами, и все вокруг стало серым и темно-зеленым. Схватывался ветерок и мелко рябил воду. Говорить никому не хотелось, каждый сам в себя вглядывался и сам с собой беседовал.

По течению лодка шла быстрее, и мы вздрогнули от неожиданности, когда Федя подал голос.

— Ну, так как? Сейчас налево рукав пойдет. Завернем, что ли, ночевать к Косому? — спросил он Костю.

— Да пошел он... Еще ночевать у него! Душегуб! — сказал Костя с отчаянием и закончил вовсе по-морскому: — Давай прямо, полный вперед. Домой.

Слева открылась водная полоса и, повернувшись вокруг невидимого стержня, как это бывает при быстрой езде, скрылась из глаз.

Обида

Уважаемая редакция!

Получил Ваш дерзкий отказ публиковать мои произведения, под коим подписался Ваш сотрудник некто С.

Тов. С! Я, конечно, не знаком с Вами в лицо, но, тем не менее, постараюсь ответить на предъявленные Вами вопросы в том или ином плане.

Прежде всего, Вы обвиняете меня в малограмотности и что в моих произведениях местами попадают ошибки. Разрешите сказать откровенно: для настоящего писателя это не может быть причиной. Чтобы Вы знали, то даже Лев Толстой писал с ошибками. Впрочем, Вы можете это и не знать. Как Вы сами понимаете, когда бы все писатели писали без ошибок, то и редакций бы не было. Надеюсь, Вы догадались, что я про Вас подумал.

Дальше. Не зная меня, Вы имеете наглость обвинять меня же в незнании отечественной литературы. А Вы пойдите в библиотеку нашего района, где я состою сознательным читателем с 1928 года, и поинтересуйтесь, кто самый активный. Там Вам прямо скажут. Обрати спросите: «Какие книжки для прочтения берет товарищ Гумозин в своем большинстве?» Общественно-популярные и научно-художественные — вот какие! Так что я знаю назубок не только свою литературу, но и других народов, а Ваши бесполезные обвинения меня весьма удивляют.

Ни один человек не может знать все. Так и Вы. Мне, например, известно, а Вам — нет, что в городе Саратове на квартире у одного профессора стоит чайник без ничего, кипит и будет кипеть еще сто лет. Вот какая сила атома и водорода! Фамилию профессора не скажу нарочно, а то у Вас народ — жулики, ухватятся, как за свое, а меня побоку. Но не на такого напали!

Согласен, что надо учиться, как Вы правильно подметили, у классиков. Это мне и без Вас ясно. К Вашему сведению, я не только учусь, но и повседневно совершенствую их мастерство. А учатся пускай, кто помоложе.

Сопровождая рукопись для возврата письмом, у Вас там есть намек, что литература — это стремление жизни и так прочее. Вы же сами себя не понимаете. Ну, где еще Вы найдете таких жизненных сочинений, как у меня? Они по улицам не валяются. Видели бы Вы, когда я читаю свои рассказы дома.

Жена плачет, внучки тоже, хоть и малые, а соображают, а у меня у самого глаза на мокром месте и платок — хоть выжми. Жена удивляется, спрашивает: «Петя, как ты мог! Неужели это правда?» Да что говорить! Хоть бы у соседей спросили, которым я давал читать мое собрание сочинений, так сразу бы напечатали.

А Вы понаставили в рукописи всяких вопросительных знаков, штрих-пунктиров всяких и так прочее. Зачем? Кто Вас просил? Не понимаю, чего такого Вы нашли в предложении: «Однажды поздней ночью из противоположных кустов раздавался громкий крик о помощи». Или: «Грохот душевных треволнений эхом прокатился по склону безлюдного яра». Или вот: «...пошла в воду, дразнительно шевеля крутыми бедрами стройного стана. Жора притих, сидя на песочке, и умственно ощупывал детали ее очаровательной грации». Вы там даже написали, что такого не бывает. Много Вы знаете! Замкнулись в кабинете, отгородились от жизни гадаете: то ли Ваня, то ль не Ваня, то ли любит, то ли нет. А вот как раз и бывает. Сам молодой был, имею сознание, что к чему и как. У Вас даже совести хватило совсем зачеркнуть многие места. Например: «Он мечтал за науку, а Марина через это страдала, и ее страстные вздохи по ночам заглушало шелестение кандидатской диссертации и шептание научных слов». А того не знаете, что это как есть из жизни или, если точнее, то из семьдесят пятой квартиры. Там живут молодые, недавно поженились, он на кандидата учится и на жену ноль внимания, а она от него за это гуляет.

Я скажу, что Вам не нравится. Во-первых, необычайность, несмотря на то, что в нашей стране очень много необычайного, а Вы этого боитесь и не желаете замечать. Во-вторых, Вы завидуете вниманию читателя, которого я всемерно завлекаю и в глубине своей души отдаете корыстный отчет за популярность неизвестного лично Вам автора. А добавочно Вам любой скажет, что исправлять рукопись от самого начала невежливо, и если б Вы были действительно культурный человек, Вы б это не сделали.

Вы даже до того доходите, что будни советского пенсионера, ушедшего на заслуженный трудовой отдых, называете праздным временем и советуете мне бросить это дело. Никогда! — вот чего я Вам отвечу. Я был, есть и буду заниматься литературным творчеством. Я чувствую, как у меня с каждым днем нарастают силы, и я добьюсь, всеми силами своего таланта заставлю общественность признать меня за автора. Советский гражданин всего может добиться в нашей стране, если сильно захочет. Советую Вам, молодой человек, быть более уверенным в нас, старых писателей.

Извиняюсь за откровенный разговор, но Вы меня обидели отказом, а я старше Вас и у меня больше опыта. Может, Вы

бойтесь быть первым? Ведь меня еще никто не печатал. Не бойтесь, ничего не будет, сейчас всех печатают, даже кто что на собрании сказал — подправят и печатают. И за гонорар не волнуйтесь, все будет в пределах нормы. Сам я материально не нуждаюсь, а мой старший зять работает в мебельном магазине, где недавно поступили финские гарнитуры. Если Вам что требуется, сообщите по имеющему у Вас адресу. Лично мне ничего не надо, лишь потомству сказать, что были люди в наше время.

Настоящим посылаю вторично рукопись рассказа «Удар с бугра» и советую прочитать внимательно. Когда рассказ напечатает, пошлю Вам историческую повесть, называется «Москва и Наполеон», которую я недавно закончил специально для Вашего журнала, каковой является моей настольной книгой и священной реквилией.

С искренним уважением и надеждой,
прозаик-пенсионер П. Гумозин.
(Псевдоним — М. Горькин-Победов)

Симпозиум

Их очень много; собрать всех, так, пожалуй, душ сто с лишним наберется. Конечно, столько сторожей для одного предприятия, любой сказал бы — накладно, да к тому же и тайна государственная: дойдут эти сведения до честных граждан, и они сразу же подумают: «Ну, задача! Это сколько же воров надо полагать при такой охране?!»

Вы, небось, думаете, что сторож — это родимая дикость и темнота средневековья, а его положение в обществе — дно, ниже которого не утонешь. И охота вам заблуждаться, отсталый вы человек! Это прежде так было, а ныне у сторожей, если угодно, и табель о рангах, и движение туда-сюда, и возможность карьеризма, и всякие общественные шевеления вроде собраний, занятий, повышения квалификации... Книжки они читают, в политике разбираются, жалобу могут составить такую, что вы только ахнете... Словом, нынешний сторож не чета прежнему бирюку, что был, как собака на сене, — «и сам не гам и другому не дам», а воспитанный товарищ, который и сам живет, и другим не мешает.

Помещение большой кубической емкости. Много людей, усевшихся на переносных топчанах. Перед ними массивный под зеленым сукном стол наподобие бильярдного, но без бортов и луз. На столе пюпитр для выступлений, графин с водой и эмалированная кружка с инвентарным номером, чтоб не украли. В президиуме за столом трое.

Лицо первое, бездешествующее: Семен Ильич — майор в отставке, лет около шестидесяти, начальник военизированной охраны крупного предприятия. Лысый, мягкий, круглый и очень похож сразу на двоих: и на Винни Пуха, и на артиста Леонова. Слов не произносит. Вертит в руках карандаш, чтобы иногда почесать за ухом, ответственно топырит губы, а когда к нему обращаются, кивает головой с таким прискорбием, словно кому-то царствия небесного желает. Ему запрещено волноваться по причине гипертонии и трех пережитых инфарктов, поэтому он никогда не шумит, предпочитая худой мир доброй ссоре, если обнаруживает близ себя человека не совсем податливого: «Слушай, давай по дружбе: ты подаешь на увольнение — я пишу тебе хорошую характеристику».

Лицо второе, бездействующее: товарищ Кочергин — капитан в отставке лет за пятьдесят, заместитель Семена Ильича. Тихий и серый, как зимородок, с физиономией абсолютно без каких-либо примет и словно бы стершейся от частого употребления, — можно сто раз увидеть его и не запомнить или, наоборот, ни разу не увидев, подумать: а не тот ли это официант из ресторана, что берет слишком большие чаевые? Голова у него покрыта бесцветным детским пушком, напоминающим явление ауры, — изредка оттуда вылетает моль. От начала собрания до конца занят тем, что отмечает в списке присутствующих, опоздавших и отсутствующих. На внимание не претендует, потому что быть на виду ему не выгодно. Имеет обыкновение подкрадываться к сторожевой будке и захватывать постового если не спящим, то, по крайности, врасплох, и ему тогда нужно дать пятерку, чтобы премию не снял. Игра эта до того ему нравится, что по праздникам он взимает дань с вохры, как князь Игорь с древлян. Дважды в него стреляли из карабина, но оба раза мимо, и с тех пор он в облавы один не ходит, а берет кого-нибудь из своих. У него самый большой стаж. Он пережил добрый десяток начальников, пребывая в замах, считает себя обойденным и завидует Семену Ильичу, который того гляди в ящик сыграет, а он, Кочергин, так и останется замом, потому что на место этого упыря опять, поди, полковника найдут отставного. От зависти и критического ретроспекта у него сложились и принцип жизни, и служебная заповедь: «Человеку никогда не угодишь».

Лицо третье, действующее: Витёк — старший лейтенант запаса, лет около сорока. Фамилия неизвестна. Должность тоже. Это тип социального паразита, обязанности которого вытекают из характеристики, а характеристика из обязанностей, каковых насчитано две: проводить большую общественную работу и пользоваться заслуженным авторитетом. Дважды в месяц в дни аванса и полочки ведет занятия с коллективом по любой теме. Обалдуй, каких поискать. Притом глубоко верующий человек, так как искренне верит, что приказ первичен, а материя вторична, — идеалист, стало быть: прикажут ему сделаться умней академии наук — сделается, прикажут выступить перед писателями — выступит. Был бы приказ, а за исполнением дело у него никогда не стояло.

Все трое воруют соразмерно занимаемым должностям. Семен Ильич по-крупному и среди бела дня: это вор на паях, большой, государственный, перед ним же и закон пасует. Кочергин, помимо штрафных обложений, имеет еще и неплохой навар от продажи некоторых штатных должностей. Никто эти должности отродясь не занимал из-за крохотной их оплаты, но расписываться в ведомости постоянно приезжают какие-то подвыпившие варяги, которые червонец оставляют себе за паспорт и роспись, а остальные отдают Кочергину. И, наконец, Витёк.

Этот уже ничем не брезгует, — и фарцует, и водкой торгует, и портовых девок обирает за вход и с оборота. «Трое суток на судне была, не журналы читала. Одежду твою из одной каюты в другую узлом передавали, — думаешь, не знаю, сколько стоишь? А ну, гони четвертной, пока я тебе личный досмотр не устроил». Если же девка пригожа лицом и прочими местами, Витёк заводит ее в кабинет, закрывается и воспитывает не меньше получаса, а воспитывать он умеет, это по его части.

Остальной народ, если посмотреть от двери, представляет собой не лица, а затылки (сперва до пятидесяти, а к концу занятий более сотни): круглые, плоские, дамские, мужские, молодые, старые, плешивые, волосатые, вертлявые, спокойные — всякие. Принадлежат начальникам смен и караулов, дежурным, вахтерам, стрелкам, охранникам, привратникам, постовым, — короче, трудно даже вообразить, как сложна и разнообразна стала работа сторожа в период развернутой борьбы за эффективность и качество. По ходу занятий среди них временами возникает волнение, точно ветерком потянет среди спелой нивы, и Витёк это волнение энергично подстрекает или пресекает, уж там как придется.

Чей затылок догадался переиначить занятия в симпозиумы, нельзя сказать даже при наличии паспортов, а впрочем, это не суть важно. Много важней, что народ, падкий до этикеток, вмиг перенял понятие и стал обозначать им любые сходки, а Витёк ощутил в нем определенный прогресс и потребовал, чтобы вохра являлась на симпозиум выбритой, причесанной и опрятно одетой.

Витёк — натура ядреная и пассионарная. Единственный, можно сказать, типаж в полный рост. От него за версту разит народностью и еще чем-то до того чистопородным и беспримесным, что вопросы о социальном происхождении, образовании и прошлой деятельности отпадают сами собой. Голова у него, может, и тяжеловата малость, зато четкости граверной и экспрессии беспримерной. Вовсе не то, что говорят: «Семь дыр в голове — пиши парсуну», — нет. Тут детали на месте и все неспроста — губы, скулы, челюсти, и каждая подробность крупным планом. А морщины рельефной глубины прямо-таки вопиют, что данная личность сформировалась при сильном ветре в спину и оттого-то все так устроилось: что спереди, что сзади, что взгляд, что слова.

Слова оставим на потом; сперва приходит в движение лицо. Самонужнейшие размышления, от которых Витёк и в обеденный перерыв не в силах избавиться, теперь еще глубже проступают дюжиной продольных борозд во лбу и означаются в междубровье краткими поперечными выводами. Вслед за верхней частью начинает двигаться то, что внизу: щеки, уши, рот, нос. Наверное, для цельности собственного образа Витёк хватает графин и на глазах у публики выпивает кружку воды, сильно

работая кадыком. Вот он отер ладонью рот — лицо поехало вбок и медленно сползло обратно. Вот он, поворачивая белками, пустил левое ухо торчмя и плоско прижал правое. Получилось внимание с ожиданием, — если уж, дескать, сейчас зрелищно, что же затем последует? В самом деле, не будь повестка симпозиума наперед известна, поди угадай, что будет: затянет ли Витёк модную песню, покажет ли карточный фокус или попросту чихнет в зал и сам себе здоровья пожелает. Однако ни чоха, ни фокуса, ни песни не получилось; вместо них произошли слова настолько серьезные, насколько и своевременные.

— Сегодня у нас занятия «Борьба со стихией», а чтоб всем было понятно, объясняю подробно. Мы с вами сейчас разберем, что такое стихийное бедствие, почему оно возникает и как его избежать согласно плана работы.

Товарищи! Наша страна имеет двенадцать тысяч километров в длину и больше пяти в ширину. Учтите, это одну землю мерить, а с морями и океанами от Северного полюса больше наберется. Признаться честно, таких размером и таких богатств не имеет ни одно государство, как наше. У нас есть всё. Леса, горы, реки, болота, пустыни, если кто знает. Различные климаты и больше ста народностей на разных языках. В общем, по-народному, нас не трогай, мы не тронем, — вам это известно.

Исходя из вышеизложенного, вы должны это понимать, что в мире нет такого стихийного бедствия, чтобы его не было в нашей стране. Землетрясения — пожалуйста. Наводнения — сколько хотите. Даже вулканы. Или вот, далеко не ходить, возьмем засуху. Прислал брат письмо. Факт, конечно, не особо, но показательный для стихийного бедствия. Пишет: задействовал обком посевную в твердый срок, а тут засуха и ни капли дождя. Теперь все выгорело. Значит, что? Фруктов нет, хлеба нет, зубы на полку, газету в руки. А пересевать поздно. Вот что я хотел вам сообщить.

Главное, наука еще пока бессильна остановить стихию на сто процентов. Поэтому любой поймет, сколько б мы тут ни рассуждали, а положение так и остается, как об стенку горохом. Вы уже проходили по гражданской обороне, и я вам еще тогда сказал без всяких-яких: «Дорогие товарищи, друзья! Если так вышло, что на голову падает атомная или, допустим, водородная бомба, вам уже ничего не поможет, — ни я, ни кто другой». В стихийных бедствиях мы имеем одинаковое положение, но не с иностранной агрессией, а с природной, я бы сказал.

А что прогноз? Что прогноз? Прогноз — это еще не все. Есть у нас прогноз, не волнуйтесь. Но пользоваться им я бы врагу не советовал, не то что вам. Ну, сами подумайте: предположим, я вас предупреждаю, что через полчаса произойдет землетрясение, а? Что будет? Тут вас у меня перед глазами, наверно, душ пятьдесят, а должно присутствовать сто двадцать три. Что значит «местов мало»? Молодежь постоит — больше вырастет. Мы

в молодые годы, чтоб хоть один доклад пропустить — что вы! — необычайное приключение, чепе. По-моему, Семен Ильич, пора принять меры и ударить по премиальным. Решение месткома есть? Есть. Какое? Хочешь получать премиальные, будь добр посещать мероприятия, а кто не посещает, тот не ест — основной закон социализма.

Без вас знаю, что к делу, что к чему. Пить не надо безо времени, товарищ Портнов, так оно лучше будет. И вообще. Я это к тому, товарищи, чтобы вы усвоили одно: если вам сказать заранее, что землетрясение состоится, так вы же один другого в дверях передавите и через минуту половина из вас будут трупы. Люди вы взрослые, вот и скажите — можно вас информировать о таких происшествиях, как землетрясение, наводнение, неурожай, эпидемия холеры, обвал в шахте или хотя бы крушение поезда, — можно или нельзя? Правильно, Дзяворук. По-моему, тоже нельзя.

... Сколько раз было говорено, чтоб меня не перебивали. Думаете, ставить лекцию просто так, взял и поставил, да? А ты иди на мое место, Кочура, если ты такой умный, и расскажи нам согласно утвержденного плана — что и чего. Пришел слушать — слушай, а выпендриваться всякий умеет. «Про наводнение в Пакистане газеты писали!» Правильно, писали, ну и что? Почему писали? Что такое Пакистан? СССР и Пакистан — разница есть? То-то и оно, что глупое твое замечание. Соображать надо. «Пакистан! Пакистан! Наводне...!» Дает дрозда! Пускай он, этот Пакистан, хоть залется, — нам-то чего? Еще раз повторяю специально для таких, как Кочура: о подобных вещах в нашей необъятной стране никаких сообщений ни по радио, ни в газетах, не говорю уже про телевизор, никогда не было и нет. Чтоб не сеять панику. Для вашей же пользы. И не ждите напрасно, что по-другому будет.

Особое значение среди стихийных бедствий играет пожар. Что значит пожар? Пожар — это огонь, когда он выходит из-под контроля человека и уничтожает все на своем пути. Как это понимать? А понимать надо так, что в такие моменты горит всё: нефть, лес, фабрики и заводы, живая сила и техника. Люди — само собой. Огонь, он не разбирает, где чего, а прет — мамочка родная!

Вот на югославском танкере (я тогда отдыхал возле Туапсе на курорте) произошел пожар. Нефть горит, судно горит, море горит, прыгать некуда. Вся команда, пятнадцать человек, молдцы один к одному, как будто их выбирали...

Ваш пост, товарищ Вешкина, как раз на нефтебазе, так, нет? Доведись в случае чего такое дело, вот вам и пожалуйте. Кому-кому, а вам не то что слушать — конспектировать. А вы? Семечки лузгаете. У вас и будка самая грязная, зайти противно.

Почему, интересно, так получается, — кто скажет? А потому,

что нефть легче воды и всегда наверху. Вот и результат: кругом «аж два о», а плыть — разве на дно.

А то еще, может, кто слышал, под Москвой торф горел. Ну, известное дело, столица нашей родины, центр прогрессивного человечества, одних жителей семь миллионов без приезжих, а тоже перестали за город на природу ездить. Это ж представить жутко! Идет-идет человек по траве, мечтает, цветы рвет, а тут — шурх! — провалился, и никто не знает, куда и зачем. Заживо. До узнанаемости.

Почему такое получается? В чем причина? Повторяю: причины могут быть разные. Гроза, ветер, короткое замыкание по линии, самовозгорание и так дальше. Тут имеет место конкретно объективная причина, то есть, когда человек видит, соображает, но ничего не может поделать. Против объективных причин даже наука не выдерживает, а постовой и по давню, даром что вооружен. Ясно, никакого взыскания ему за это не полагается.

Могут спросить: как так, что вооруженный часовой как бы остается в стороне? Отвечаю в рабочем порядке. Предположим, стоите вы на посту, а кругом вас бушует природа, это самое, — дождь, буря, гром. Молния бьет в материальный склад. Что делать будем? Стрелять? Хоть из пушки. Жаловаться по начальству бесполезно, в суд подавать — тем более. Ваша обязанность в этом вот конкретном случае сохранять спокойствие и словечно доложить по телефону, а уже потом официально подать рапорт для списания товарной продукции и прочих мер.

Другое дело — причина субъективная, как, например, промасленная ветошь, а ее на кораблях сколько угодно. Они, как пришвартовываются, сразу для безопасности выкидают этой трухи по центнеру из машинного отделения куда попало: в мусор, так в мусор; на берег, так на берег. С них какой спрос? Своя рубашка и — наша хата крайняя. С одной стороны, понять их можно. А с другой? Попадает такой хлам на территорию, где лесопиломатериалы, бочкотара и тому подобное горючее. Через несколько часов, ну что ли, возникает пожар. Гибнет общее богатство. Стране как бы наносится огромный материально-политический вред. Ваша святая обязанность не допускать подобных случаев, благовременно ликвидировать очаги возможного загорания, а если уже горит, то сообщать, — начальство вам за это только спасибо скажет.

Мы, между прочим, как-то сообща заспорили (Семен Ильич, я, парторг и местком), кто по специальности может стране больший вред причинить. Плотник? Нефтяник? Шахтер? Капитан первого ранга? Профессор наук? Ничего такого. Сторож, вот кто. Ежели он, к примеру, пожар натворит или проспит по пьянке, весь порт может сгореть за мое-мое, как у Райкина, в два приема. Вот почему у сторожа самый большой удельный вес в народном хозяйстве. Этим надо гордиться, потому что нам

оказывают почти такое же доверие, как дипломатам, если не больше. Наша задача это доверие оправдать, а мы за это зарплату получаем... А ничего, что маленькая. Советский человек за длинным рублем не гонится. Зато деньги, которые ты действительно заработал, их и получать приятно, хоть бы и маленькие...

Тут надо что? Бдительность. Все об этом вроде знают, и на занятиях сколько раз проходили: и на технике безопасности, и в стрелковом кружке, и на гражданской обороне, и на международном положении. Без этого никуда. А в должностной инструкции что сказано?.. Точно, постовой — лицо неприкосновенное. А еще?.. Какие ваши обязанности, кто знает?.. Вот так, Семен Ильич, несерьезно относимся к работе. Лишь бы время отсидеть, в ведомости расписаться, денежки получить и — по домам. На прошлых зачетах Побежимову спрашиваю: «Расскажите, товарищ Побежимов, затвор карабина». Молчит. «Как же вы, — говорю, — не знаете собственного родного оружия?». Смеется. «Ведь это ж, — говорю, — любой ребенок в детском саду скажет: стебень-гребень-рукоятка», — подсказываю, значит. Не понимает. «А проситесь на высший оклад из вахтеров в стрелки. Кто ж вас переведет, Побежимов, с такими знаниями? Расширьте кругозор, узнавайте новое, передавайте узнавшее своим товарищам, личный пример покажите, закачав рукава, тогда и денег будет больше. А на зачетах комиссия по всей строгости закона спросит, вспомните меня, да поздно будет».

Напоминаю еще раз. Обязанности постового нужно знать, как дважды два четыре, даже если когда вас разбудят. «Не спать, не дремать, не читать, не писать, не курить, не сорить, не пить, не допускать перебрасывать через забор предметы, узнавать начальство, бдительно охранять, стойко оборонять и не оставлять своего поста, пока не будет смены или снят, хотя бы и жизни угрожала опасность». И все. Коротко и ясно. Как видите, бдительность нам нужна везде и повсюду, а ежели у кого ее не хватает, тогда, — извиняюсь, конечно, — вы не постовой, а токарь-лекальщик и ошиблись адресом. Бдительный охранник всегда на хорошем счету. Конечно, среди нас пока еще нет Героев Советского Союза или депутатов Верховного Совета, но будут, это я вам точно говорю. Мы с Семен Ильичем уже соображали насчет этого дела... Вот вы спрашиваете, Малиновкер, а я вас обратно спрошу: у нас какая работа, трудовая или же боевая?.. Вот видите, сами прекрасно знаете, а думать не хотите. Героя Соцтруда нам не положено, это на заводах, понятно?..

Итак, что называется «бдительность»? Она бывает в разных видах. Приведу практический пример, а кто давно работает, тот помнит. Стрелок Пудач стоял на посту... Ага, спасибо, что вы меня учите, а то я хуже вас знаю, нормальный или кто. В су-

масшедший дом его только через полтора года сдали, когда он еще чего-то натворил. А тогда к нему отец, выпивши, полез. Тот, значит, и матом на него, и по-всякому, — нет, не помогает. Применил оружие. Наповал. Подчистую. Так ему мало того, что родного отца убил, еще и благодарность объявили. А что? Наше дело, как на фронте: «Стой, ни с места, стрелять буду», — раз, предупредительный вверх — два, по цели — три. Бдительность? Бдительность. А где бдительность, там порядок.

Однако не все у нас такие, и не только у нас. Вот в Польше дело было, как сейчас помню. Капитан нашего безмерте. Как мы его, собаку, прохлопали, и сейчас непонятно. Скольке из-за него людей пострадало, и какие ребята — орлы! Прошли огонь, воду и медные трубы, на сопле осклизнулись, — надо же! Значит, спутался он там с одной. Сначала мы думали как всегда: с кем не бывает, пятое-десятое, а какая у моряков мораль, не мне вам рассказывать, вы сами каждый день наблюдаете. Считали, в общем, что это у них так: мы вашим, вы нашим, и пошабашим. А он, сволочь... Девка, правда, — я тебе дам! — первый сорт и выше, куда ни поверни, кругом шестнадцать. Короче, удрал с ней в Швецию. Бросил корабль, двух детей...

Мы потом требовали, чтоб его вернули как изменника, но со шведами у нас пока нет договора по возврату таких субчиков. С ними разве договоришься? Капитализм, страшное дело! Но, товарищи, тут завидовать нечего. Иностранная разведка из него ценные сведения выманит, — оборудование какое, план-улов, фамилии экипажа, — а больше он им не нужен. И девка его бросит. У нее таких, как он, до Москвы раком не переставишь. Потом будет унижаться, чтоб обратно пустили.

Чего?.. У вас, Пармет, я заметил, всегда политически малограмотные вопросы, будто вы с луны. Можно подумать, тут ликбез, объяснять вам. Как это «наши бегут, а от них не бегут»? Спрашивать тоже требуется не абы как, а с умом. Почему к нам не бегут? Потому и не бегут, что не пускают. Неправильный ваш вопрос... У нас нет безработицы, это главное, и я вам докажу, не сходя с места. Сторожа Шевчук, Зубарев, Трофимова, встаньте. Ладно, садитесь. Вы поняли, Пармет? Вышнее образование или еще какое — не в том дело. Важно что? Что люди работают, несмотря на образование, куда их поставят. Что они не безработные и у них есть завтрашний день, понятно? У нас всякий труд в почете, не то, что у них.

При чем тут ваш брат в Англии?.. Подумаешь! Уехал — перо ему в одно место для легкости... Значит, с образованием, если две машины... Без образования? А здесь он был кто при немцах?.. По-ли-цай! Еще в буржуазное время, раньше немцев, значит? Что ж вы молчали? Ясное дело, нагробил тут всего и смылся. Видали мы таких... А хоть и без чемоданов... Эх, Пармет, сказал бы я вам пару ласковых, если б вы были не женщина. Для денег что, много места надо? Набил карманы-

пазуху, будь здоров, Иван Петров, живи... А в гости к вам не хочет ехать, так правильно делает. Бойтся загреметь лет на пятнадцать. Лично я на его месте тоже не поехал бы... Ну, амнистия, предположим, не всех касается. Законы придумывают для пользы общества, а не для таких бичей, как ваш брат. У нас не проханже. На то и щука, чтобы караси боялись...

Вы какие, Пармет, газеты выписываете? Молчите? Так я сам скажу: собачий журнал и программу для телевизора. Вам и трава не расти, только чуждые фильмы из Хельсинок смотреть да собаками спекулировать в частном порядке. Два раза в год щенков продаете по восемьдесят рублей за штуку, — позор! Еще хвастаете тут: «Моя собака больше инженера зарабатывает». Верите, Семен Ильич, зла не хватает. Моя воля, утопил бы весь ее выводок, чтоб другим завидно не было, ей-бо.

Вы, Семен Ильич, сами видите, какая сознательность у некоторых, я извиняюсь, кадров. И так каждый раз. Терпение лопается. По мне лучше десять раз в ООНе выступить, чем... Это ж не сторожиха, а чистое бибиси, даром что институт не проходила. Еще угрожает: «А что вы мне сделаете, когда я свободно в любое время могу устроиться, хочу — дворником, хочу — уборщицей». Вот и построй с такими коммунизм. Совести у людей нет.

Не секрет, думают некоторые из вас, будто там, за границей, мед ложкой и суп с фрикадельками. Это смотря кому. Если, к примеру, наш крупный ученый в Америку убежит, конечно, ему предоставят все условия, давай только работай, на то ты и ученый. Но, во-первых, таким людям и у нас неплохо живется, а если кто с жиру бесится, так наша общественность давно на него большой прибор положила с ноль-вниманием.

А вы? Ну, кому вы нужны? Вас же ни один капиталист не возьмет. Будете там под забором околачиваться, как миленькие. Думаете, у них своих сторожей мало, да? А работаете вы как? Трудиться все время не хотите, сто грамм показать — вы на территорию черт-те кого пропустите, а за бутылку — и говорить нечего. Вам еще благодарить, что держат, а семьдесят рублей в месяц тоже не одна копейка.

А сколько ж вы хотите, чтоб вам платили?.. Ну, тогда ты, Петровна, жить слишком хорошо будешь, — чего захотела! Если вы газет не выписываете, так хоть плакаты читайте без очков: «Чтобы лучше жить, надо больше работать», — на каждой улице написано, слепому видно. За что ж вам платить, спрашивается? Вон, охранник Киселев винтовку вместо доски положит, сам на нее сядет и читает книжки на иностранном языке. И час, и другой... «Когда ж тебе, — думаю, — надест?» Уже и вечер подступает, а он все сидит, как сын, а за спиной девки через забор перелезят. Хотя б наши книжки, не так бы обидно, а то французские. И ему, значит, за это еще добавочно

платить, так, что ли, по-вашему? Советские деньги за французские книги.

А для особо нуждающихся местком есть, местком. Что-то много тут нуждающихся, как я посмотрю. Пора бы знать, что нуждающиеся в помощи и надеющиеся получить ее без работы понапрасну надеются... Ну, «мало-много» — мы тут разбирать не будем, и так время не терпит. Вам бы все урвать, а нет — чтоб честно, сколько их там набежало, и на том спасибо, — так я понимаю, Семен Ильич? А вы ударно работать не хотите, всем завидуете, — у соседа, мол, всегда толще, чем у нас, а сами по чужим карманам в раздевалке, — пальто с мелочью не оставляй. Я прошлый месяц дубленку повесил, одиннадцать рублей в кармане, как сейчас помню, и — с концами. Хорошо, хоть дубленка еще осталась. Спрашивай не спрашивай, никто не видел, не заходил, никто ничего не знает, — сторожа, называется. Ух, жулики! А Кочергина сколько раз чистили: то пятерку, то трояк, то двадцать семь копеек, — постыдились бы мелочиться. Я теперь в нашей бытовушке, Семен Ильич, не раздеваюсь и знакомым не советую, а отсюда как выхожу, обязательно карманы проверяю. Эти хоть кого, не отходя от кассы...

Дальше возьмем: сознательность у вас какая? Никакая. Воскресник показал... Вот вы не знаете, Трегубов, а спорите. Местком предупреждал, что, хотя это дело добровольное, каждый, кто не явился, должен предоставить извинительный документ: болел или в военкомат вызывали, или еще чего. Такие мероприятия, как субботник и воскресник, только потому и проводят, чтоб лишний раз проверить сознательность. Как товарищ — достоин или нет? Наш или чей? А работы с вас один ляд, как с козла молока. Все бы вам за деньги!

Газеты надо выписывать. Повсеместно идет борьба. Рабочие встают против угнетения. У империалистов кризис, они даже не знают, как быть. Скоро по всей планете установится наша диктатура мирного существования, которая находит поддержку в классовых битвах против эксплуатации человека человеком. Наш долг помочь, а как? Бдительной охраной государственной социалистической соб... соб... способ...

Ты чего цветешь, Заморин, как майская роза? Думаешь, я не я, кандидат наук, предоставьте мне: «а» плюс «бе» сидели на трубе в квадрате... Тебя и из научного института выгнали за это самое, и отсюда б давно поперли, если б Семен Ильич, скажи спасибо, не заступался. «Самые несчастные люди, — говорит, — которые кандидаты, и никому не нужны, потому — ничего путем не умеют. Жалко. Куда он пойдет? Пусть остается». Вы меня, конечно, извините, Семен Ильич, сознаю, что волноваться вам врачи запрещают, но ради правды мы все здоровые теряем, такая у нас работа, и вы меня знаете, я без правды не могу, я за правду с женой развелся... Так вот, про этого кандидатского минимума, чтоб вы знали, кого приютили по своей

доброте. Подхожу на прошлой неделе к центральной проходной, смотрю — машина Лембита Аавовича, шофер весь в мандраже, руки трясутся, слезы на глазах, а этот кадр всюю в машине шурует. Я аж побелел. «Ты что ж это, — говорю, — клизма ведерная, делаешь? Ты кого проверяешь? У тебя в какую сторону мозги фунциклируют, направо или налево. Кто тебя просил? По какому праву?» А он говорит: «Проверяю, — говорит, — согласно инструкций несмотря на лица». — «Да хрен бы с тобой, — ему говорю, — на лица можешь не смотреть, ты на номера смотри. У тебя ж на столе перед носом утвержденный список машин, которые не подлежат. А ну, поднимаю быстро шлагбаум!» — говорю. А он мне акт проверки, ты ж понимаешь. Ну, акт я порвал, перед водителем извинился, — недавно, мол, работает, неопытный, начальство еще не изучил, туда-сюда, короче, замаял. А ему говорю по-товарищески: «За такую, — говорю, — твою бдительность нас всех поразгоняют и правильно сделают. «Вы что, — скажут, ребята, Советской власти не доверяете?»... Да нет, ничего не было, порожняя машина... Что? Какая семга? Какой угорь? Каких пять ящиков? Ты что, Заморин, совсем уже обнаглел? Лосось, угорь... Товарищи, прошу зафиксировать оскорбление... У меня свидетели есть... Пильвик, ты с ним был, ты эти ящики видел?.. А ты, Грицаева?.. Тоже нет... Видите, Заморин, в каком вы смешном положении очутились? Как раз на мели. И никто не подтверждает, потому что правда, она всегда наверху. Допускаете тут клевету на честного руководящего товарища, который даже депутат, и ждете, чтоб вам поверили... Эх вы, краснею за вас перед коллективом... За это под суд... Ну, иди, иди, никто тебя за штаны не держит, тоже мне, принципиальный нашелся... Закрой там кто-нибудь за ним дверь...

Это, Семен Ильич, еще не все. Уж вы разрешите мне до конца... Веду я, значит, с ним профилактику и объясняю: «Как же ты посмел? Какое имеешь законное право? К нам, — говорю, — сам товарищ Лахе лично заезжает, — может, ты и его?.. «Подними, — скажешь, товарищ Лахе капот, открой багажник». — «А кто, — он мне говорит, — такой товарищ Лахе, чтоб я на него глаза закрывал?» Ну, тут я уже совсем из терпения вышел. «Дурак ты, — говорю, — и не лечишься. Товарищу Лахе вся милиция честь отдает, задницу оттопыривши, — волокешь? Товарищ Лахе на красный свет прет, как на зеленый, — усек? У него вся машина в нулях, — неужели трудно сообразить, кто он такой?» А Заморин засмеялся и говорит: «Не с того края знатоки следствие ведут. Повыше надо, — говорит, — повыше, где рыба с головы протухла». Вы ж понимаете, Семен Ильич? «Из-за таких, как твой, — говорит, — Лахе, вся страна в развале». Я как стоял, так и сел. «Ну, — думаю, — все. Раньше за такие слова сперва стреляли, а потом уже судили. А сейчас, значит, трепись почему зря, никто тебе ничего, — не может

этого быть». Хотел я ему это сказать, но воздержался. «Нормальный, — думаю, — так рассуждать не будет, а за чокнутого отвечать — я извиняюсь». . . В общем, от работы я его устранил. «Иди, — говорю, — домой, Заморин, ты разволновался, устал, придешь в четверг». И я вас особо, Семен Ильич, предупреждаю: он, точно, с приветом. Такой всех заложит, никого не пожалеет, — какая с ним воспитательная. . .

Я у него еще раньше спрашивал, чем он там у себя в институте занимался, так вы не поверите — чем. «Крысами», — говорит. «Ну, — говорю, — у нас в порту этого добра хватает, не переловишь, не перетравишь». А он говорит: «Я, — говорит, — того и пошел к вам, что их тут много, за дежурство до пяти штук отлавливаю, домой беру, на все выходные хватаю». У меня аж сердце остановилось. «А дома, — спрашиваю, — чего с ними? Дрессируешь, что ли?» — «Нет, — говорит, — режу». Тут мне стало противно, я плюнул и спрашиваю: «Неужели, — говорю, — прямо в домашней обстановке, рядом со щами, — дети бегают, жена стирает?» — «А у меня, — говорит, — других условий нету». — «Да кто ж тебе их, — говорю, — даст, условия для крыс? Нет чтобы коров или курей или по сельскому хозяйству, а крысы твои, кому они нужны. Их и так девать некуда, не знаем, что делать». — «Ну, — говорит, — долго рассказывать, да и ты в этом деле, как чабан в кибернетике». Это я, значит, чабан! «Да у меня таких гавриков, как ты, побольше сотни было, я из них людей делал, а ты сам кто такой будешь?» — я так ему и сказал. И наука у него ненормальная, и правильно из заведения выгнали. Вы не подумайте, товарищи, что я против науки. Я не против науки, я против людей. . . Вот Дударева взять. . . Встань, Юра, когда про тебя старшие. . . Тоже с высшим образованием, а разница — небо и земля. Скромный, честный, играет на гитаре. «Ночью, — говорит, — проснусь и думаю: скорей бы утро да на работу». Сознательный. Ни одного субботника не пропустил. Всегда, как говорится, чисто выбрит, слегка выпит и гитара при нем. С праздничком всех за руку поздравит, — это уж обязательно. Веселый, общительный товарищ. Садись, Дударев, молодец. . . Такие кадры на вес золота. А Заморина, я сказал, чтоб на седьмой пост назначили. Там никого нет, одни крысы, пускай ловит. . . Я за вас, Семен Ильич, боюсь: случись чего такого, опять по экспертизам затаскают. «Держите, — скажут, — материально ответственных людей, а им место в дурдоме». . . Понял вас, Семен Ильич, сейчас перехожу.

Начинаем продолжать, товарищи. Думаю, в целях экономии обойдемся без перерыва. Мы остановились на чем? Точно: бдительность при пожаре. Разрешите мне в таком случае зачитать, что постовой обязан делать. Тут прямо сказано: «При обнаружении пожара или очага пожара вблизи охраняемого поста или на территории порта немедленно докладывает по телефону на-

чальнику караула и принимает меры к его ликвидации. Запрещает разведение костров не менее, как на пятьдесят метров». Неправильно понимаешь, Клименков. Не начальника караула ликвидировать, а пожар, или, научно, очаг загорания.

Конечно, раз на раз не приходится. Взять, — дядя Коля Ковал. Это не беда, что с него песок сыпется и глухой, как пень. а нюх у него как у молодого кобеля. Звонит мне по телефону. «Витёк, чую, где-то чего-то горит, а где чего не разберу». — «Ты, — ему кричу, — бормотуху с утра чем заедал?» Божится, клянется: ни сном, ни духом, ни в одном глазу. Прихожу. Туда-сюда помыкались, унюхали: ватник. Промасленный аж домокра, лежит тлеет. Сам, значит, возгорелся, самовозгорание называется. А рядом — ёлки-моталки! — строевой лес на тыщи кубов. Я ужаснулся. Молоток, дед! Спасибо тебе от народа за твою природную чуткость. Великое дело бдительность... Ну, мало ли что! Чего это ради, сам запалил?.. Ну, знаете, желаю, как говорят, и вам того же и быть начеку. А поблагодарить — не вещь, это мы всегда сумеем. Верно, Семен Ильич?

Но это до пожара. А если пожар шурует на полный ход, бдительность уже не помогает, а помогает героизм, находчивость и смекалка. Хорошо, если там есть пожарный кран. Вы тогда его откручиваете, берете в руки трансбой и направляете струю в нужные места. А если нету?.. Возьмем для представительства такой несчастный случай, когда загорелся постовой при исполнении служебных обязанностей. Дежурная Черватых! Горит порт, горит ваша будка, и вы тоже горите. Расскажите, что будете делать и как? Спокойно, подумайте... Как это, по телефону звонить? Вы горите... Кричать мало, криком пожар не тушат. Кто скажет? Бирюков? Кокко? Аринушкин? Топало? Говорите быстро... Правильно, Зайцев. Набросить на горящую Черватых одеяло или пальто... Одеял у нас нет. Значит, пальто. Таким макаром.

Товарищи об чем шум? Если вы человеку жизнь спасли, он вам за это не одно, а три пальта купит... Само собой, когда человек насмерть сгорит, какие с него взятки? Это даже смешно... Но не забывайте, что наша мораль всегда ставит личное на последнее место, тем более польта какие-то... Сам пропади, но стране помоги — основной закон, а иначе — ни в коем разе.

Многие из вас на постах курят в нарушение инструкции, распивают спиртные напитки, а женщины варят пельмени и плитку забывают выключить. До пожара — ой, как недалеко! Так вот, зарубите хоть на носу, хоть на чем угодно: если сгорит сухой док или состав с горючим, еще можно кой-как отбрыкаться. Но когда ваша будочка сгорит, тут вы прославитесь на весь Союз через «Крокодила», — это я вам гарантирую. Субъективная причина потому что, — я уже объяснял.

Необходимо учитывать, что пожар бывает разный. Как он протекает в нормальных условиях, в период мирного, так ска-

зять, отрезка времени, вы теперь знаете. А вдруг война, тогда что? Прошу не забывать, товарищи... Реваншисты, вон, тридцать лет бряцают оружием, а мы терпим. Они добряются себе на голову, сволочи... Товарищи, товарищи, минутку внимания. Все вопросы — после лекции, а то мы не кончим. На следующих занятиях у нас будет «Наводнение и борьба», а с «Пожарами» нам надо сегодня разделаться.

В военных условиях тоже — товарищ Мухин!!! — бывают пожары и еще какие. Дым, бомбежка, газы, — представляете? Тушение пожара ведется огнетушителями в спецодежде и в противогазах. Разберем все по порядку, но сперва противогаз. Противогаз состоит из трех частей: шлем-маска, коробка и графированная трубка.

Симпозиум длится еще некоторое время. Затем люди быстро встают и бегом выстраиваются к кассе, перешучиваясь и переругиваясь, как школьники на перемене.

Месяц спустя кандидат биологических наук Заморин Андрей Степанович был уволен из сторожей, как систематически не справляющийся с работой. В коллективе этот факт не произвел никаких сенсаций, если не считать разговора двух пенсионных бабок, коротавших небылицами ночную смену.

— А за что ж его, Кузьмовна, болезного? — спрашивала одна сторожиха другую.

— Да как же! А без разрешения крыс ловил, — отвечала сведущая Кузьмовна. — Это кто ж потерпит? Начальство-то у нас есть или нет? Ты сперва, милоч, начальство спроси, потом лови, а он, стало, без спросу. Это что ж будет, если все начнут без спросу. Да еще, рассказывают, живодерничал. Ножик возьмет и чекрыжит по кусочку: то хвост, то лапки, то кишки...

— Ой, ой, не говори! — запричитала испуганно сторожиха, затеявшая беседу. — Ну, скажи, какой изверг, кто бы подумал! А с виду культурный из себя, непьющий, тихий, не слыхала, чтоб матерился при женщинах...

— И-и, Петровначка, милая! — убеждала Кузьмовна легковерную свою товарку. — Да ить не зря говорят: тихая вода мосты рвет, — ох, не зря! Вот оно и этот культурный тоже... Все они такие, — переучились сверх ума... Ты ему сто рублей дай, так он и человека... Время, подруга, подступает, — ох беда!..

Утро над заливом разгоралось быстро и празднично. Уже стало совсем светло, только одна яркая звезда никак не хотела тускнеть в багрянце неба, предвещавшем восход. Это была та самая Венера, которую сто лет тому назад Авророй называли и о которой нынче размышляли и спорили ученые умы, успеет ли она достаточно поостыть, чтобы в свой час принять нашу цивилизацию.

Родные и близкие

Я не верю, что детство счастливое, всё это одни слова. Вы тоже не верьте, мало ли что там наговорят: золотая пора, пройдет не вернется, всё б за него отдал, уж так жаль, прямо плакать, да ветер сушит. Самое трудное время, если честно признаться. За себя постоять сил не хватает, всем ты поперек глотки воткнулся, а работы на тебе — и уроки, и дом, и колхоз — пупок натрое рвется. Мне пятнадцать лет и я знаю точно, что хуже, чем теперь, никогда в моей жизни не будет.

Я хожу в школу, живу в станице, нигде пока не был и говорят обо мне родичи, что взбредет безответно: на губах молоко, под носом сопли, женилка не оперилась, каши мало ел, смеленого волка не видел, жареный петух в задницу не клевал, а то, бывает, запросто плюху навесят и скажут: «Терпи, казак». Родни же у меня всякой в будний день на улице не разминуться, а о праздниках и говорить нечего. Это потому что мы — коренные, всегда тут жили, то есть, не всегда, конечно, а с тех пор, отец говорил, как при Екатерине Второй Запорожскую Сечь в эти края перевели. Деду моему только рюмку в себя за столом перекинуть, сразу заведет по-хохлацки: «Ой, спасибо тий царыци, що дала нам тут зэмльци». Дед говорит, будто каждый человек обязан знать, от кого по фамилии происходит до седьмого колена, а если не знает, то такой человек считается ненадежным, вроде как дерево без корней, и дружить с таким не нужно. Своих я знаю до девятого, до самых, выходит, Запорогов, и дед говорит, что я молодец.

А с Азамом я все-таки дружу. Он сам осетин, мы сидим на одной парте, а отец у него колхозный председатель. Я спрашиваю: «Зямка, ты свою фамилию до какого колена знаешь?» — а он говорит: «Я, — говорит, — свою фамилию переменить хочу, на что мне кого знать». А фамилия у него, точно, нехорошая — Бледоев. Про его отца колхозники говорят, что он и по фамилии Бледоев, и по характеру тоже такой. И еще я спрашиваю: «Зямка, как ты считаешь, десять тысяч рублей, это много?» — «Чего тут «много»? — отвечает. — Подумаешь! У меня у самого на книжке двенадцать тысяч, папан положил. Паспорт получу — мои будут совсем». — «Врешь ты, — говорю, — и не краснеешь». — «Чего мне краснеть? — говорит. — Была охота!» Он потом показывал сберкнижку, и я своими глазами видел, что правда. А все равно, для Зямки это, может, и не

деньги, а по-моему, десять тысяч — это много, любой спросит, где взял, потому что такие деньги не для всех. У нас тоже столько собралось за раз, так из этого целая история получилась, — я потом расскажу.

Из родства, кроме родителей, я еще деда с бабкой люблю за правду и за понятность, а остальных — ни одного терпеть не могу, потому что все придуряются, завидуют, хвальбуны и без обмана шагу не ступят. Они ко мне так же, как я к ним. Это, по-моему, нормально, что я им не нравлюсь. Отец им тоже не нравится. Он никогда не пьет, поэтому они говорят на него — жадный, денег на водку жалеет. Я спрашивал у отца: «Почему вы не пьете? Денег вам жалко?» — а он говорит, что есть много такого, что ему понимать нужно, а с пьяной головы какое понятие? Но это все я говорю просто так, для знакомства, а теперь хочу рассказать, как отец по облигации десять тысяч рублей выиграл. Дома у нас особо не шумели, хотя всем было весело, потому что за эти деньги отцу надо было четыре года работать: и не есть, и не пить, и ни на что не тратиться. А дом старый: отец давно хотел другой купить, но не хватало денег. Если строиться, тогда, конечно, дешевле, только воровать нужно, а он брезгует и не умеет.

Случилось это как раз под Рождество, так что на другой же день мамка сварила кутьи и велела отнести деду с бабкой, а они с теткой Параской на дальнем краю станицы жили. Я отнес, поздравил и про облигацию сказал, а они вместо того, чтобы радоваться, перепугались вусмерть. Бабка принялась креститься на иконы, дед встал по стойке «смирно», лишь руки растопырил и бубнит все время: «Это что ж теперь будет? Это что ж теперь будет?» — а тетка Параска посерела, позеленела, прилипла к стенке и стала колотиться об нее головой, а сама рыдает и кричит, не перестает: «Чтоб вам холера всем, вы мою жизнь загубили! У кого есть, тому и Бог дает! У кого есть, тому и Бог дает! Чтоб вы сгорели! Чтоб ваша корова пропала! Чтоб у вас свинья сдохла от рожи!» Так кричала, так кричала, я такого крика не слышал даже по покойникам.

Меня тут же разом в сенцы выпроводили. Бабка меня хватила и шепчет тихо, как от посторонних: «Тетку не слушай Папке—мамке передай: спасибо, слава Богу, слава Богу. Пусть вам допоможет Царица небесная. Иди, Миша, с Богом до дому». Дед говорит: «Ты, Миша, папке не рассказывай». А я зачем буду рассказывать, когда отец и без того знает. Мне деда жаль. Больше всего на свете он боится достатка и денег. Это у него еще с тех пор, как раскулачивали. Тогда у них семья была двадцать душ, и держали они две коровы. А по закону считалось, что, если две коровы, то — кулак и враг народа. Поотнимали коров, из дому выгнали, за малым до Сибири дело не дошло, — разбрелись они кто куда и жили кто как. С того времени мои родственники, чтобы прожить и придуряться научились, и бре-

хоть не глядя, и тоже вот так злобиться, как тетка Параска. Это я понимаю.

По дороге зашел я к дяде Петру, — он отцу родной старший брат. Я, правда, не к нему заходил, а к ихней Симке, — она мне сестра двоюродная, совсем уже девка, школу кончает, и я через нее хорошие книжки достаю, не про шпионаж, а другие, серьезные. Пока я к ним шел, всю дорогу думал, что теперь не буду говорить про облигацию, а они, оказывается, уже без меня знают. Тетя Марыся сразу с меня пальто дерг-долой и рассыпалась, не остановишь:

— Раздевайся, Мишечка, проходи, садись на лавку, как здоровычико? как дома? что так мало нас проводишь? может, улицу забыл? родство теряешь, загордились, теперь вы богатые, а мы бедные, нам теперь тебя и привечать не знаем чем, да мы не обижаемся, пусть другие сладко живут, а мы как-нибудь своим трудом, своим горбом, по копейке, по рубчику, ты уж нас не презирай за нужду, что хлеб до рук доедаем, бедность — не грех, не всем же тысячами считать, как вы, надо ж кому-никому и слезьми обливаться, мы на счастье не надеемся, наше счастье пёши с сумой по чужим дворам ходит, счастье — оно того любит, кому горя нет, кто всю жизнь как сыр в масле...

Слушать ее было очень противно, а тут еще дядя Петро командует директорским голосом:

— Это правда?

— Что «правда»? — спрашиваю.

— Что! Что! — перекивил он меня. — Что Лёнька на облигацию выиграл, вот что!

— Правда, — говорю.

Тут он сразу же перестал со мной строго разговаривать, а вздохнул широко и сказал:

— Вот это да!

И пошли расспросы: что да как, да чего, но я больше отмалчивался, чем говорил.

— А не рассказывал папка случаем, — дядя спрашивает, — что он с ними собирается? Ну, там, купить чего, или там, еще чего?

— Нет, — отвечаю, — не рассказывал.

— Так-таки он тебе и скажет, — отплюнулась тетя Марыся семечками. — А то ты Лёньку не знаешь. У него снегу зимой не выпросишь, а ты про деньги.

— Ну, не брешь, — заступился дядя Петро за отца. — Снег снегом, дело прошлогоднее. А такая куча грош, — что ж их, потвоему, солить? Куда их, ну? Посоветоваться не мешает. А ему с кем советоваться, как не с нами? Чужих людей в такое дело только пусти, они тебе насоветуют... Нет, тут, главное, чтоб все свои и по справедливости... — А ну, Симка, — обернулся

он к дочке, — мотай до дяди Васюни живо-два, одна нога тут, другая там. Передай: папка сказал, хочет по срочности...

Дядя Васюня примчался потный, дымный, кожух внакидку, мотня настежь, — спешил, застегнуться часу не было. Он еще снег с валенок обивал на пороге, а уже хрипел басом, пугая рыжего Мурзика:

— Вот повезло, так повезло! Ох, и молодец же Лёнька, ох, и молодец! Я так и знал, что он еще всей станице покажет, кто мы такие, какого заводу. Вот это капиталист! Вот это герой! Всесторонне!

Они уселись за стол и принялись один поперед одного у меня выведывать, когда и как все это было, да что мамка сказала, да что папка присказал, да кто из других эту облигацию видел или где она у нас сохранялась, но я знал мало и отвечал тоже в час по чайной ложке. А им не терпелось и они не так меня дергали, как меж собой переговаривались, что такие деньги лучше получать крупными, чем мелкими, чтоб легче прятать; что замки в доме надо теперь все переделать, а дядя Петро и дядя Васюня с дорогой душой помогут отцу их переделать; что нашего старого кобелька Дозора в самый раз обязательно поменять на молодого и позлей, а дядя Петро с дядей Васюней знают, где достать стоящего барбоса, — настоящий волкодав; что теперь нам надо держать ночью на всякий случай в сенях топор, в кухне ломик, но для горницы лучше культурно завести берданку, а дядя Васюня с дядей Петром знают, где есть продажная, десятый калибр, центральный бой; что теперь Лёнька (мой отец, значит) никуда от своих не открутится, ежели ему по закону положено развязать загашник и выставить для родни смазку с горючим, лучше конечно, денатурат, чем водку, потому что и дешево, и сердито, а дядя Васюня и дядя Петро знают, где добыть настоящий денатурат, кашинский, а это совсем не то, что калининский... Они и дальше бы рассуждали, если б я нарочно не проболтался, что отец денег не получил, а выдали ему сберкнижку и в ней написали: столько, мол, и столько рублей.

— Видал, смекливый какой! — сказал дядя Петро и криво усмехнулся.

— Всесторонне, — добавил дядя Васюня и задумался.

Некоторое время они ездили под столом ногами и молча сопели, будто им не стало о чем толковать, а стоило тете Марысе вмешаться, дядя Петро тут же ей сказал:

— Цыть, не шебурши, твое дело телята, — и послал в погреб за самогоном и кислой капустой, потому что у них при любом разговоре самогон — это первый контакт. Когда закуска и выпивка были на столе, дядя Петро опять заругался, что тетя Марыся поставила чарки, а не стаканы, а у них, он сказал, дело крупное и не наперстками его мерить. Оба немедленно приняли по стакану вонючего первака и, как зайцы, захрумтели капустой.

Потом дядя Петро по-хозяйски приказал тете Марысе и Симке мотать со двора, куда хотят, на время, потому что сейчас пойдет мужской разговор и женщинам тут не место. Я тоже хотел с ними, но он меня не пустил и сказал дяде Васюне так:

— Я позвал тебя, Васька, чтобы ты знал, что я с тобой душа в душу, как с родным, а также для уважения, и если ты меня еще презираешь, то глубоко ошибаешься, даю тебе слово.

На это дядя Васюня ответил:

— Я тебя уважаю, Петро, как брата, хотя ты, паразит, с позапрошлого года мне должен, когда сдал моего бычка за своего, а своего за моего, а в моем было живого веса, любой бы сказал, на полцентнера больше, но я тебя за это не презираю, а уважаю и прощаю тебе, Петя, твой долг от чистого сердца, потому что ты старше и не время сейчас вспоминать.

Высказавшись, он закрылся рукой и от жалости к бычку заплакал. Дядя Петро схватил его за шею, и они сидели в обнимку, плакали и с таким причмоком целовались, точно станичную грязь месили по мокроподошвице, растабаривая между поцелуями, что бычок — тьфу на него, а главное — это не терять уважение друг к другу. Я хотел незаметно уйти, но меня опять силой придавили на лавке и сказали:

— Терпи, казак, атаманом будешь. — Они разом утерлись, а дядя Петро выдрал из симкиной тетради два листа, взял карандаш и сказал совсем сухим голосом, будто и не плакал вовсе:

— Теперь, значит, вот Мишка говорит, что Ленька выиграл на облигацию вагон монет и, как я правильно понимаю, обязан с нами на днях поделиться, если он, конечно, брат. Чтоб он не сомневался, вроде это я сам, без никого, я и пригласил тебя, чтобы все это дело честно, между своими, по совести и никого не оскорблять. Кроме того, мы с тобой старше, и он это должен учитывать, что лучше, чем мы с тобой, ему ни одна душа не посоветует, потому как братья, общая кровь и все должны в трудную минуту горой стоять.

— Всесторонне с вами согласен, — сказал дядя Васюня.

— Так вот, — продолжил выступление дядя Петро. — Хочу задать тебе один вопрос: есть у нас такой закон, чтобы брат брата не уважал?

— Нету такого закона, — решительно отрезал дядя Васюня.

— А у Леньки еще есть братья, кроме как ты и я?

— Что ты, какие братья, ежели б не мы?

— Это во-первых, — прозвонил дядя Петро по здоровенной бутылке карандашом. — Во-вторых, чего ему делать, скажи, с такими деньгами, как нас не отблагодарить? Мы кто? Коллектив. Огромная сила. Если всех, как мы с тобой собрать, что он один против нас сможет? Ни хрена! Потому и закон гласит всегда на стороне коллектива. Теперь рассуди обратно с другого боку. Взять, хоть бы ты. Если б тебе привалила, сказать,

такая сумма, ты разве б забыл про меня, про него, про ваших-наших? А? Неужели б не вспомнил? Не поделился? А, Василь?

— Да чего там! — отмахнулся дядя Васюня. — Всегда. Ну, сам подумай, на кой мне одному такие деньги. Что я на них, — на курорт или за границу? Мне и тут не дуется. Тебе бы дал, Параске, Якову, кому еще, а лично мне ничего не надо, только бы у вас было, — правильно? Мне и так хорошо.

— Тоже такого мнения, — кивнул дядя Петро. — Я б еще не так сказал: «Вот дорогие братья и сестры, досталось мне нечаянно столько-то дурных денег. Я их не заработал, не добыл, ничего из хозяйства не продал, а вроде наподоим по дороге валялись, — верно говорю? Теперь вы их промежду себя по-хорошему делите, а я пошел домой». Вот что бы я им, Василек, отмочил.

— Это ты всесторонне, — согласился дядя Васюня.

Я уже сообразил, для чего у дяди Петра карандаш и бумага, — деньги отцовские делить. Мне стало обидно, что я в компании с ними заодно, и я сказал:

— Если вам, дядя Петро, своих денег не жалко, для чего ж вам чужие? Вы ж их все равно отдадите кому попало. Потому что чужие — тоже одинаково, что на дороге. Уж лучше тогда в фонд фестиваля молодежи и студентов, чем кому зря.

Они посмотрели один на другого, выпили, и дядя Петро стал грустно на меня жаловаться дяде Васюне: «Видал, — говорит, — Вася, какой буржуазист нам с тобой на подмену растет? Как же он будет управлять-руководить, ежели с малых лет против старших? — Он повернулся ко мне и стал меня стыдить. — А еще комсомолец! Какой же из тебя, к свиным, авангард, когда ты так рассуждаешь? Учат вас, учат, никак не научат. . . А ну отвечай, что главней, общественное или же свое?»

Я ответил, что в школе учат, будто общественное главней, но я лично еще не решил, так это или не так. Тут дядя Васюня не выдержал моей грубости и заплакал, а дядя Петро начал его уговаривать, чтобы он себя понапрасну не травмировал из-за таких оглоедов как я, и что меня, мол, жизнь за это жестоко накажет, и всякие, в общем, приводил успокоения, но дядя Васюня долго не желал успокоиться и обижался сквозь слезы, что жить не может на таком белом свете, а как посмотрит на поколение подрастающих, так и горько ему делается, так и плачет он по ночам кровяными слезами в подушку, потому что такие как я, обязательно доведут страну до ручки и тогда будет неизвестно, за что они с дядей Петром всю жизнь боролись и для кого наш народ построил Волго-Дон. Потом он вцепился мне в плечо и завопил:

— Как же ты не знаешь, когда я у тебя русским языком всесторонне спрашиваю: что, например, важней, колхоз или мой дом?

Я сказал, что дом важней, потому что в колхозе только ра-

ботають, а работать везде можно, а дома и живут, и спят, и едят, и хозяйство держат, и всё. Они стали доказывать, что я неправ, что в колхозе техника, план, мероприятия, дворец культуры и многое другое, а дома одна лишь корова, да и та яловая, но мне было непонятно, как бы они ночевали во дворце с крысами, а выпивали б на тракторе, и капуста бы у них стояла под ногами, где сцепления и передачи, а четверть с самогоном и вовсе поставить некуда.

Они видят, что я им не верю и принялись напирать, что я еще молодой, недопонимаю политику и конституцию, и даже недопонимаю, что государство прежде всего, а люди уже потом, так как, если с людьми плохо, это не имеет особого значения, а когда государству трудно, то от этого страдает весь земной шар и все негры. Но я сказал, что это мне понятно, и опять же повторил, что пусть лучше отец вернет деньги государству, чтоб неграм веселей жилось, чем всем подряд, абы кому. За это они на меня здорово разозлились, выпили еще по стакану, а дядя Петро обтерся, припомнил мне жареного петуха и прочитал лекцию, что у меня молоко, мол, на губах им указывать и что, когда я вырасту, то пойму, что государству эти деньги даром не нужны, потому что государство наше стоит сейчас на таких крепких ногах, как никогда, и будет стоять, пока такие, как дядя Петро с дядей Васюней не перевелись, а мне пора уже расширять свой кругозор и допонимать, что мы «их» всесторонне ракетами закидаем, если «они» на нас нарвутся.

Я засмеялся, потому что подумал, будто наше государство — высокий до неба мужик: одна нога у него — дядя Васюня, другая — дядя Петро, а они уже оба под булдой, и мужику с такими ногами лежать способней, чем ходить. Из-за моего смеха они еще сильнее обиделись и стали меня упрекать, что я бескультурный, в отца пошел и старших не уважаю, а вот когда они были в моих годах, то всех старше себя подряд уважали и никогда не спорили, а слушались, что старшие скажут, и все их хвалили и по голове гладили, — какие, мол, хорошие ребята, интересно, чьи это они такие? — а меня хвалить не за что, потому что много о себе воображаю, будто я умней всех, а на деле — дурак дураком и уши холодные.

Мне с ними уже порядком надоело и я сказал:

— Раз я дурак, то меня и держать нечего, хочу домой, — но дядя Васюня сгреб меня в охапку и пересадил между собой и дядей Петром, чтобы я не удрал, и дал мне из капусты моченое яблоко, а сам сказал, что, мол, ихняя Симка брешет, будто у меня по математике круглые успехи, но это еще надо доказать, что я за «профессор», и они это сейчас проверят, потому что у них тоже планируется высокая математика. Дядя Петро сразу взял листок и написал вверх единицу с четырьмя нулями. Я понял, что это отцовские деньги и сейчас их начнут делить, кому сколько надо.

Сперва они потолковали, что деду и бабке ничего не надо, так как преклонный возраст, одной ногой в могиле, а туда всех бесплатно пропускают и так далее, это — раз, а во-вторых, старикам сколько ни дай, они их в тот же день тете Параске за жалобные глаза отдадут, — «болезная, несчастливая, доли нет, муж бросил», а с ней ни один мужик не уживется, потому что жадная, почти как мой отец, из-под себя жрет и всё говорит «мало». Самой тете Параске в наказание за жадность назначить пятьдесят рублей и — будет.

Тетя Танька жила в городе, а там промышленность, универмаги, такси, рестораны, штук двадцать всяких кинотеатров и, вообще, что твоя душа желает, не то, что в станице, где за каждую копейку надо гнуться Курской дугой и биться Сталинградской битвой. Дядя Петро записал ее вторым номером и выделил сотню, но дядя Васюня сказал, что Параска обидится, если Таньке больше дать, и устроит скандал, так что главное тут не деньги, а справедливость, чтобы всесторонне, по-честному, безо всякой зависти или обиды, а это значит поровну. Не возражая против, дядя Петро вычеркнул цифру «сто» и нарисовал «пятьдесят».

Вслед за тетей Танькой дядя Петро записал себя с дядей Васюней и определил каждому по две тысячи. Дядя Васюня засомневался и спросил: «Не много?» — но дядя Петро ответил: «В самый раз. Еще больше половины остается. Куда при таких деньгах «много»!

Они поразговаривали некоторое время про уважение дяди Петра к дяде Васюне и взаимно дяди Васюни к дяде Петру, и про отца, который им доводится — младший брат и по закону должен их категорически уважать, как они его уважают, хоть он и жадный, — «всё себе да себе, а другие пусть, как хотят». Мне они посоветовали не слушать отца, который даже беспартийный и ничему хорошему не научит, а брать пример с них, тогда всё у меня в жизни будет путём и всесторонне передово.

Все же после разговоров они повели дележ осторожней и не тысячами уже, а сотнями, но это, может, потому, что дальше пошла двоюродная, троюродная и прочая шушваль — «сбор блатных и шайка нищих», как дядя Васюня высказался. Я — кого знал, кого нет, потому что станица большая и людей много, но от меня и не требовалось всех знать, а только лишь сидеть и слушать, как старшие порешат. Я вовсе, к примеру, не знал, что есть племянш Сеня, который будто бы сказал про отца когда-то: «Я за дядю Лёньку отдам хоть самого черта», — и вообще, услышал о нем только теперь, когда дядя Петро начислил ему за это обещание пятьсот рублей.

Дядю Яшку я, правда, знал, даром что он мне четвероюродный. Его все знают. Он, как выпьет, так, первым делом, лезет на крышу хаты и кричит прохожим: «Граждане, стой! Слушай мою команду! Доклад ставит Бажан Яков!» Этот дядя еще лет

двадцать назад сказал отцу: «Учись, Лёнька. Выше-среднее образование, это — всё. Ума не станет, у науки займешь, а науку достигнешь, кусок хлеба будешь иметь». Поэтому дядя Петро и дядя Васюня рассуждали про него, загибая пальцы, что если б не дядя Яшка, остался бы отец без выше-среднего образования — раз, не сделался бы агрономом — два, не заимел бы облигацию — три и, значит, ни шиша бы не выиграл — четыре. В целом, за разумный совет дяде Яшке полагалось четыреста отцовских рублей или по сотне за каждый загнутый палец.

О детях вспомнили. У дяди Петра был сын Витька, у дяди Васюни — дочь Сонька, мне двоюродные брат и сестра: он — женат, она — замужем. Оба жили отдельно сразу, как поженились, но все одно — не чужие. Соньке выделили сто сорок рублей, а Витьке сто шестьдесят, потому что Сонька только еще ходила беременная, а у Витьки уже Сашок бегал, дяди Петра внук, такой шустрый и зубатый, что все удивлялись. Вот Сашку и положили по рублю на зубок, поэтому Витьке вышло больше, а Соньке меньше.

Потом шел сват Федя, бывший дяди Васюни сосед и друг «не-разлей-вода», который подался на заработки и уже лет пять от него не было ни слуху, ни духу. Свата Федю включили в список под вопросом и договорились послать ему сто рублей смеха ради, когда адрес достанут. То-то он удивится да подумает: «Вот тебе на! Поехал за деньгами, а они меня сами ищут»... Так как народу было много, одного листка не хватило и перешли на второй.

Никогда бы не подумал, что у меня столько родственников и что отец всем им так сильно задолжал. Наверное поэтому отца записали на другом листке в последнюю очередь, тридцать каким-то по счету, когда всех достойных перебрали. Дядя Петро жирно подчеркнул столбики имен и цифр, налил себе и дяде Васюне, чокнулся, — чуть стаканы не побились, покрасовался на список, выпил и во всю глотку затынул:

— Собира-а-ались козаче-е-еньки-и-и...

Дядя Васюня подбасил. Пока они пели, я высчитал. Получилось пятнадцать тысяч восемьсот сорок пять рублей. Дядя Петро взял листок и самолично отнял от этого числа десять тысяч выигрыша. Он переглянулся с дядей Васюней и сказал:

— Что за гадство? Откуда они берутся? Обратное больше половины осталось.

— Нормальное дело, — отозвался дядя Васюня. — Деньги идут к деньгам. Это всегда так, — ты что, не знаешь? Раскинь, что там есть на двоих и будет всесторонне.

— А Лёнька? — спросил дядя Петро.

— Ну, на троих, — ответил дядя Васюня. — Что нам жалко? Брат, что ни говори. Дай Бог, чтоб и он к нам так же всесторонне, как мы к нему в трудную минуту.

— Тут что-то не то, — мрачно сказал дядя Петро. Раскинул.

Получается у нас у троих чуть не двенадцать тысяч. А их всего десять.

— Щцетовод из тебя, — гусакom прошипел дядя Васюня. — Не можешь — не берись. Дай сюда! — Он вырвал у дяди Петра листки с расчетами и кинулся проверять, но у него то же самое вышло: троим братьям в складчину полагалось больше, чем было в кассе. Он швырнул карандаш, ухватил меня за шиворот и обдал самогонным духом:

— Ну, студент наук? Это что ж такое, а?

Я сказал, что по правилам отнимать надо от десяти тысяч, а не от пятнадцати. Они стали делать, как я велел, но у них опять ничего не получилось, потому что уменьшаемое было меньше вычитаемого. Я им объяснял и объяснял, пока не вдолбил, что денег на всех желающих не хватает и, чтоб хватило, надо скостить или деньги, или желающих.

— Это почему скостить? — взревел бугаём дядя Васюня. — По какому такому закону? Это ж сколько людей из-за одного пострадают! За что? — Тут они стали, было, кочевряжиться и норовили всё свалить на отца: он-де недовыиграл, пусть сам и расхлебывает, но потом видят, что дело так не пойдет, и согласились, даже подобрели вроде.

— Молодчина! — похвалил меня дядя Петро. — Голова! Инженер-электрик! Переводим тебя в будущий класс без экзамена.

Началось вычитание. Сперва решили скинуть по полсотни с каждого, кроме дяди Петра и дяди Васюни, а я наблюдал, как вместе с деньгами полетели из списка знакомые и незнакомые родственники: тетя Параска, тетя Танька, кум Иван Первый, кум Иван Второй, шуряк, свояк, зятек, ятровка, золовка и прочая шушваль.

Список до того перемазали и вывозили, что трудно было складывать, но я все ж таки сладил и сказал: надо ещё скинуть, а то опять денег не хватит. На этот раз решили удержать со всех по сотне без поблажек, в том числе с дяди Петра и с дяди Васюни тоже. Скостили. Выбыл из строя лучший друг дяди Васюни, сват Федя, так и не дождавись денежного перевода. Вылетел покойного двоюродного деда Кузьмы троюродный внучок Сережа, очень толковый мужик, но, как сказали дядя Васюня и дядя Петро, не особо нуждающийся, потому что завсклад. Ушли двоюродные Сонька и Витька, а с Витькой и зубатый Сашок по такой причине, что у них, мол, вся жизнь еще впереди. Дяде Яшке из четырехсот целковых оставили только-только на папиросы. Заодно вспомнили что-то нехорошее про племяша Сеню и не дали ему ни копей, вычеркнули всего. Таким манером наисключали душ десятка полтора. В общем, черкали много и вскоре на бумаге стало ничего не разобрать, кому сколько. Я сказал, что теперь денег хватит приблизительно на всех, только я считать больше не буду, потому что намарали,

а кто марал, тот пускай и переписывает, если нужно, чтобы в точности.

Дядя Васюня хотел переписать, потому, мол, что он на голу крепче и сколько ни выпьет — море по колено, но дядя Петро сказал, что у него зато почерк лучше, хотя я сразу догадался, что почерк ни при чем, а просто дядя Петро смухлевал и забыл у себя отобрать, когда у всех по сотне отнимали, а скостил за двоих с дяди Васюни и хотел, чтобы проскочило, так как у него тогда больше будет, чем у других. Он хоть и пьяный, а хитрый: прикинется, будто спит, а сам все слышит, что говорят. У него и присказка с него ростом: «Давай сперва твоё, а потом каждый своё». Они оба такие: пьют до одной точки, а дальше того не хмелеют, лишь красные и соображают тугу, если у них что спросить...

Вот дядя Петро переписал все набело (на одном листке поместилось, немного, правда, коряво, но для пьяного очень даже подходяще) и подает мимо дяди Васюни, а сам улыбается, как подлиза, моргает мне дальним глазом, чтоб я помалкивал, и спрашивает:

— Ну, как?

Я посмотрел, посмотрел...

— Нет, — говорю. — Наверное, отец не согласится. Ему тут меньше всех причитается.

— А это мы добавим, подмогнём, это в наших силах, — расщедрился дядя Петро. — Верно, Вася? Давай с Лёнвкой поделимся, с младшим нашим, единотрудным, единопробным... И выпьем за него по целой.

— Всесторонне с вами согласен, — говорит дядя Васюня. — Только мое такое мнение: денег уже теперь не трогать, а лучше скостим ему выпивку, какую он нам должен поставить по такому случаю. Это ему рублей на пятьсот прибыль, если посчитать, сколько мы списочно выпить можем, а то и больше.

— Совсем, — я говорю, — не больше. Какие пятьсот? Тут отцу всего получать по списку двести тридцать рублей. Это разве деньги? Вы, когда свою Соньку замуж отдавали, даже глухому Захарке пастуху в рот кричали: «Полторы тысячи! Полторы тысячи!» Думаете, я не понимаю, да?

— Каких двести тридцать? — таращит глаза дядя Васюня и привстает. — Ты чего мелишь? — а сам... хвать! у меня листок и ну, — ревизия. Потом набычился и к дяде Петру поворачивается:

— Так ты себе, значит, две тысячи, а Ваське тысячу восемьсот и, мол, будет с него, перебьется. Васька, мол, таковский, лыком шитый, мешком из-за угла стукнутый. Ах ты, жулик, паразит! Привык на чужих харчах заедаться! А это видал? — Дядя Васюня скрутил крупную дулю с загогулиной и сунул ее дяде Петру прямо в сопло. — На, пососи и больше не проси! Ушлый какой нашелся, — Митькой звать! Думаешь, если стар-

ше, так на мне воду возить? Думаешь, я тебе рябого своего бычка так и простил? Аферист!

Завязалась у них свара. А тут и тетя Марыся подросла, тоже влезла, как затычка в дырку.

— Стыд и позор тебе, Васька, за такие слова! Нужен был нам вашдохлый бычок, как я не знаю чего! Мы чужого сроду не брали, хоть у кого спроси. Нас все до райкома-крайкома знают-уважают. Мы не крадем колхозное сено по ночам, как ты.

— Херов, как дров! — выверился на нее дядя Васюня и, ни к селу ни к городу, приплел мать Христофора Колумба. — А ты забыла, морда странная, что я тебе этого сена краденого целую скирду наметал? Забыла? Думаешь, как твой Петро народный контроль, так... Раньше я, значит, Васюня был, а теперь Васька?... Да я вас, падлы, всесторонне презираю до одного! Да я вас за три копейки всех...

— Меня?! — вскипел дядя Петро слюнями. — В моем доме! За мое добро?! Презираешь?! Ах ты, зараза! Марыська, а ну носи топор, я ему голову срублю, — не брат он мне на сегодняшний день!

Пока они ругались, я под столом пролез, шапку схватил, пальто и — ходу! Только за двор выскочил, стекла зазвенели битые и тетя Марыся дурняком заголосила:

— Ой, ратуйте! Ой, люди добрые! Ой, убивают! Ой, милиция!

Вот и всё. Конечно, никто никого не убил, только окна да посуду переколотили. А денег отец так никому и не дал. Он продал старый наш дом, еще добавил, что раньше набралось, да облигация помогла и купил кирпичный. В станице можно хороший дом купить, так как все образованные хотят жить в городе и туда переезжают, а отец не хочет, «потому, — говорит, — что землю люблю». Я тоже хочу любить землю, когда выучусь. Очень хочу. Как отец.

На старости лет

У Филимона Никитича Серсаева, известного больше по прозвищу «Ёкарный башмак», чем по имени-отчеству, случилась беда: значок потерялся. Досада, конечно, страшная. Иной раз, бывает, карандаш потеряешь, и то переживаний на весь день, а тут значок, не шутка. Не какой-нибудь из ларька за тридцать копеек, а наградной, с номером, даже как бы лауреатский, «Отличник культуры» назывался. Филимон Никитич его и разносить не успел, как посеял. Тем обидней, что в длинной снижке наград значок был последней заслугой Филимона Никитича и горю старика не было границ, так как он знал, что теперь его уже никто ничем больше не наградит: годы не те, силы не те, а ордена без разбору не дают, их заслужить надо.

От расстройства он заболел и пролежал всю неделю, а отлежавшись, надумал выпросить в министерстве новый. Вначале ему просто показалось, что там не откажут, а потом, осмелев, он и вовсе решил: «Пусть лишь попробуют!» Только писать он не умел. Всё другое умел: и читать, и речь держать, и расписываться, а вот писать Филимону Никитичу как-то не доводилось, и он не умел. По таковой причине он и пригласил к себе Владика Чмырёва, местного спортивного комментатора и грамотея из треста столовых.

Пока жена Филимона Никитича с невесткой собирали на стол, Чмырёв осматривал помещение и не скучал. Старик жил особо от семьи и комнату свою отделал под музей, — там было что смотреть. Первей всего Владик отметил малиновые галифе, потраченные молью; они были распялены гвоздями прямо на стене, и их кожаный зад сразу же согрел гостя жарким самоварным глянцем. Рядом, на ковре, висело оружие, побряцывая и перезваниваясь надписями. Ножны говорили: «Смотри клинок», клинок говорил: «Смотри ножны»; кобура говорила: «Смотри ливер», а ливер, револьвер, значит (прозрачный, как стеклышко, без барабана и без бойка), давал списочный отчет: где, когда, кого и сколько. Пара гранат-лимонок рассказывала, что ими пользовались орлы такого-то кавполка «также для добычи провианта», а горский тесак числился «подарком друга».

— Ты его тоже зарезал? — поинтересовался Чмырёв у хозяина, не слишком чинясь.

— Сам пропал, слабак, — ответил Филимон Никитич, догадавшись, о ком речь. — Застрелился, башмак ёкарный.

В комнате было много всяких предметов, но они запоминались не так сразу, как впоследствии. А впрочем, вид у музея был вполне обжитой, может быть, от добротной, хотя и устаревшей мебели, именуемой «трофеями». Вскоре хозяин с гостем уселись за стол, и Филимон Никитич начал толковать о деле, но так издали, что Чмырёву было не понять, — какой Гридин? при чем Гридин? за что старик невзлюбил этого Гридина? чем Гридин ему насолил?.. Владик его не перебивал, потому что сразу же принялся за еду, а мелочи жизни рассчитывал выяснить по ходу разговора с «ёкарным башмаком», то бишь, с Филимоном Никитичем.

— Я еще раньше, — говорил Филимон Никитич, — еще когда думал. И аппетит у меня стал — веришь? — никак. Не то, что аппетит, ну не могу, ёкарный, ничего есть, хоть убей, понимаешь, кукрыниксы какие. Совесть замучила. А чем он, думаю, за тебя, Серсаев, лучше, Гридин этот? У него и полстолько подвигов не наберется, как у меня. Дуб дубом, а пенсия тож персональная. А спроси, на что она ему, так он и сам не знает. У него и зубов... А у меня — гля! — все зубы целые, а у него — кхе! — и зубы подёргали, и сам того, ёкарный твой, желудком болеет, видишь, какая штука, желудком, да. И почки тоже. Врачи говорили: «Там уже, — говорят, — не почки, там, — говорят, — полно камней, не почки, — говорят уже, — а камней очень много». Во, милок, дела, — прямо на стенку лезь. Давай, говорю, Серсаев. Жми. Бери, не зевай, а то другие возьмут. Тебе тоже права дадены не последнее дело. Вот и скажи: имею право, как думаешь?

— Гумаю, га, — сказал Чмырёв, остуживая во рту вареник.

— Значит, сообрази, раз такой вакант. У меня права какие? Вон какие! — показал Филимон Никитин на галифе с кожаным задом. — Революция за кого? За меня. Сколько я, Владь, пользы ей принес, один я знаю. А как же! Советскую власть, думаешь, кто делал? Серсаев. А гражданская? Серсаев. А троцкизм или колхозы? Да я... да мне, бывалыча... ликвидировать, изъять, уничтожить... Кто? Я. Серсаев гремел — о-о-о! Того и делов: «Серсаева к командующему! Где Серсаев? Найти хоть живым, хоть мёртвым!» Являюсь, «Есть!» — говорю. «Садись!» — «Есть, садиться!» — «Слушай, Серсаев, давай, ехай, организуй, тудавой-сюдавой, срок до вечера, за невыполнение — сам знаешь, не в первый раз». — «Есть!» — говорю. И-и, — «Эскадрон! Мелкой рысью! Даешь мировую и так дальше!» Понял? Сам Фрунзе меня потом перед строй и принародно: «Побольше бы таких, как Серсаев!»

Пришла пора как-то отреагировать и Чмырёв сказал:

— Ну, прямо-таки сам. Шестерка, небось, из штаба, а ты уши развесил.

— Сам! — отрубил Филимон Никитич ладонью по трофейному столу. — Сам, говорю. Лично в глаза. При всех. Это, как

мы с тобой. А как же! Тамбовские не таковские! А ты думал! Мне Климка в штабу сколь раз говорил: «Капитальный ты, — говорит, — парень, Филя, в рот пароход». Привычка такая: чуть чего — в рот пароход. «Есть, — говорит, — в тебе, Филя, наш боевой красный фарт, и ты, — говорит, — Филя, дай знать, ежели не того. На таких героях...» — и так дальше.

Чмырёв пустил вскользь по пищеводу, не прожевав, маринованный груздь и поллюбопытничал:

— Климка, это кто?

— Как это «кто»? — обиделся Филимон Никитич. — Хорошенькое дело! Ты что, башмак, Ворошилова не знаешь?

— А-а-а! — длинно удивился Чмырёв и пресек удивление пирожком с капустой.

— Или хоть бы, взять, Будёный. Тоже, — ух, мужик! Нашим не уступит, — во, мужик! «Руби, — говорит, — до седла, остальное развалится». Слово поперек — сам отведет, сам расстреляет. Змей! Боялись его, как огня, уважали еще больше. Оно, конечно, лучше за них за всех Котовский был Григорь Иваныч. Мне под ним хоть и не довелось, но повидал. Отчаюга — первый сорт и деваха при нем. Говорили, — каждый день разная. Падкий был до них. На том и погорел. Адъютант застукал со своей бабой и... Там и порешил, прямо на месте.

Владик бросил перемалывать голубец и наострил уши. Ему показалось, будто Филимон Никитич вот-вот доберется до вождя и тот тоже скажет что-нибудь знаменательное. Он угадал. Старик поубавил голоса и подался грудью к столу.

— Самого видал, — сказал он. — Век не забыть. — Тут он ненатурально выпрямился на стуле и сделался очень похож на колун для дров; его взгляд остекленел и уперся в потолок, а голос приобрел подозрительную бойкость, какая всегда отличает читку газеты вслух от живого, непринужденного общения. — Наиболее яркое впечатление моей юности и, вообще, всей моей жизни — это то воодушевление, та готовность, тот подъем, с которым мы, первые комсомольцы молодой советской республики, собрались в тысяча девятьсот незабываемом восемнадцатом году на свой первый съезд. Я сидел в четвертом ряду. Невозможно передать словами, как горячо и вдохновенно забились в груди наши пылкие сердца, когда на сцену вышел величайший и гениальнейший из всех, кого знала мировая история...

— Стой! Стой! — замахал руками Владик. — Ты, дед, совсем уже того... — и повертел вилкой у виска. — Да и непохоже... А доклад свой пионерам толкнешь, — молодец, что выучил. Они тебе в ладошки похлопают. А со мной давай по душам, а то взаимности не будет. И не выдумывай, понял?

— Я ж не выдумываю, — стал оправдываться Филимон Никитич. — Это мне так написали, чтоб выступить когда... А я, Владь, ей-бо, в четвертом ряду сидел. Всё дочиста видел... Собой кургузеный. Пиджачишко на нем так себе, картузик,

ёкарный, под наших и пошел: ить-ить! ить-ить! Ну, чисто покати-горошек. А хитрый — у-у-у! Я после него таких уже не встречал. «Вот вы, — говорит, — пока еще молодежь, а чрез двадцать лет, — говорит, — в коммунизме будете, как у тещи на блинах. Но для этого, — говорит, — ебятки, надо кье-э-эпенько воевнуть, чтоб, значит, наша диктатура зацепилась». А сам так головкой на-бочок и запромётывает, так и запромётывает. Я помню . . .

— А Сталина не встречал?

— Сталина? — обрадовался Филимон Никитич. — Ну, как же! Раз три. Один раз — веришь? — при разговоре с ним состоял, при разговоре в Москве, говорю, да, при разговоре. Я тогда начальник погранзаставы был и привез на съезд ключ, весь медный, блестит, башмак твой, и килограмм на двадцать весом потянет, а по ключу, ёкарный, вся конституция насечкой мелко записана. «Вот, — говорю, — как граница наша теперча на надежном рабоче-крестьянском замке, то передаю ключ в руки нашего цык и лично родного и любимого Асса Рионьча, который есть лучший друг любого пограничника и всегда знает, когда чего открыть, когда закрыть . . .» — и так дальше. А он ключ берет и смеется: «Адын, — говорит, — я нэ магу, пускай прэзидиум памагайт».

— Балшой чалвэк! — заметил Владик, подделываясь под кавказский акцент. — Ы сапсэм прастой.

— А то! — взбоднул воздух Филимон Никитич. — У этого простого не залежится. Этот уламывать никого не будет; сказал, как завязал, а если ты чего спросил, значит, неправильно понял, а вождя кто неправильно понимает, — угадываешь? Во-о, про то тебя, башмак, и на суде спросят. Тйгра! Две капли и не отличишь. Видел тигру, какая? Вообще, оно все люди на зверей чем-чем смахивают, но Асса Рионьч на одну тигру похаживался и больше ни на кого. Вся выходка . . . Вот кого народ любил без памяти.

Чмырёв засмеялся, потом спросил:

— А еще кого знал?

— Хе, милоч, — осмелел Филимон Никитич. — Спросил бы, кого я не знал.

— Дуньку с трудоднями ты не знал?

— Нет, ты спрости, спрости.

— Ну, а кого ты не знал?

— А всех знал. Да ты на грамотки глянь, на справки, на подпись, а тогда спрашивай.

Справки Владик видел и читал. Они купно помещались в углу и гласили примерно об одном и том же: что товарищ Серсаев с такою-то по такой-то период мог в любое время дня и ночи входить в любой дом, становиться на все виды довольствия и делать все, что велит его ревосьесть, пользуясь всем арсеналом горячего и холодного оружия, каковое могло быть полез-

ным для экспроприации, экзекуции и ликвидации, а гражданам — всем! всем! всем! — предписывалось оказывать товарищу Серсаеву прямое, посильное, возможное, всяческое и прочие виды содействия вплоть до чего угодно. При таких мандатах творить подвиги мог далеко не всякий слабак, а этот высохший Геракл с глазами лешего и руками душителя натурально их творил, — сомневаться не приходилось.

— Верю, старче, — сказал Чмырёв. — Сгодятся на случай. Кому-кому, а тебе эти мертвяки обязаны. Только живых не трожь, они этого не любят. В общем, не грусти, Маруся. Твои расходы, мои труды.

— Милоч! — кинулся Филимон Никитич разливать водку по рюмкам. — Не бойся! За мной не пропадет. Да ты пей, пей. Я-то вровень не могу по возрасту, а ты давай, наливай, чего там между своими, какие кукрыниксы.

— Ну, договорились. Ноблес облиз! — поднял Чмырёв рюмку.

— Как, как? — не понял Филимон Никитич.

— «Договор дороже денег». Поговорка такая у французов, — показал Чмырёв пальцами и приналёг на яшню с салом.

— Французы, эти могут, — поддержал Филимон Никитич. — Они такие. Я тебе про них анекдот расскажу интересный, — обхохочешься. Встрелись, значит, один наш, другой француз, а курить — уши опухли. У нашего махорка на две закрутки, у француза одна спичка. Ну, сторговались: мой табачок, твой огонёк, — вроде того. Скрутили, ёкарный, по цыгарке. Вот француз спичку запалил и культурно сначала даёт нашему прикурить. Наш прикурил, на спичку — фффу! — и пошел своей дорогой. Хе-хе-хе-хе! Понял, как надо? Чего не смеешься?

— А можно? — спросил Чмырёв.

— А то чего ж! — разрешил хозяин.

Владик рассмеялся, но вовсе по другой причине.

— Так вот, я и говорю, — продолжал Филимон Никитич — Пили мы на «кто кого». — «Ну — ребятёшь мне, — давай Филя, не подгадь». А я молодой был, горячий, как чёрт, меня перебить, бывалыча, хоть кому в заду не кругло. Это я, Владь, состарился, а раньше... Да ты прикинь, какой я был-то! — старик сделал рукой жест «широка страна моя родная» и вынудил гостя ещё раз взглянуть на обрамленные фотографии.

Карточки Владик тоже успел посмотреть. На них молодой и стройный Филимон Никитич то попирал хромовым сапогом лафет пушки; то, обнажив саблю, глядел вдаль бесстрашными пуговичными глазами; то восседал, умный и серьезный, за столом с группой таких же умных и серьезных, как сам; то в модной кожанке с ремнями крест-накрест и кубанкой набекрень выступал где-то, когда-то, перед кем-то...

— Угу, — промычал Чмырёв, придвигая олады в сметане.

— А раньше!.. — расходился Филимон Никитич. — Ёкар-

ный башмак твой! Как сейчас перед глазами. Кругом разруха, голод, люди мрут на ходу, а у нас чего только нет: крупчатка, сахар, чистый спирт, — ректификат назывался. Девки — хе-хе! — только помани, любая даст и еще «спасибо» скажет, — во дела. В общем, ешь, пей, гуляй и — аллюр три креста на выполнение задачи. Во, когда нас ценили. Особенно, кто в первых рядах. А я, Владь, честно скажу, за идею стоял беспощадным примером.

Чмырёв сыто икнул, обтерся краем скатерки, закурил и пошел к оружейной экспозиции. Постоял, взял гранату, опробовал на вес. «Для добычи провианта», — это как? — спросил он. — Рыбу, что ли глушили?

— Это, милочка, как когда, — усмехнулся Филимон Никитич. — Когда рыбу, а когда и не рыбу. К примеру, в Белой Калитве, скажу тебе, брали мы колбасню. Так мы сперва в нее с десяток таких вот закинули, а потом уже брали. Фурманок десять взяли. На одну по одной — во улов! А окорока, Владь, были — ммм! А колбаса — что ты! В спецмагазине в обкомовском и то — слабо такой колбасы. Сейчас хоть бы на зубок...

Выкрутившись винтом на каблуках, Чмырёв одарил старика свежим взглядом и спросил:

— Слышь, дед. А тебя, часом, никто не того?.. Ну там, ножиком под бок или, хотя бы, гирей, а? по темечку. Уж больно идейный ты мужик был, как поглядеть. Рисковал, одним словом. Так-таки никто тебя и не пырнул? Врешь ведь.

— Мало чего, пырнул — не пырнул, — заёрзал Филимон Никитич. — При нашем деле не ворон ловить. А где они, кто пырлял? Вот видишь. А я сижу на хаузе, чай с вареньем, беседуя, живой-невредимый, — во. И зубов у меня ещё полный рот, и желудок варит, что ни кинь, и всё хоккей, как в Америке. А возьми Гридина — чуть живой, скоро загнётся, говорят. Да чего там! Прошлый месяц меня тоже, было, на тот свет наладили. На полном, ёкарный, ходу чёрная «Волга». Как я от неё сиганул, сам не знаю. Под колешками проскочила. «Ах ты, контра, — думаю, — на старого большевика...» Глядь! — а там Андрей Сволыч самолично. Будка — за раз не удаляешь, ротяра — во! И смеётся, паразит. Пошутил, значит. Я тоже засмеялся. А что ты с ними будешь? Они ж прут без разбору, хоть на красный, хоть на какой. Раньше такие гоняли на рысаках. «Падди! — кричат бывалыча. — Поберегись!» А сейчас тихо давят. Ох, шустряки!.. Младший сын у меня в Ташкенте живёт, инженер, инженер, видишь, какая вещь, в Ташкенте инженер. Тоже рассказывает...

— Ну, понес, — перебил Филимона Никитича Чмырёв и махнул на стол с угощением. — Давай, убирай это. Делом надо заниматься. А то тебя до вечера не переслушаешь. Ну, говори толком, ты для чего меня звал?

«Дорогой товарищ министр культуры.

Я, Серсаев Филимон Никитич, бывший революционер с подпольным стажем и большевик, а ныне персональный пенсионер и меценат, обращаюсь к Вам с пламенным приветом и аналогичной просьбой.

Несколько слов о себе. Когда в газетах пишут «ровесник революции» или «ровесник века», я всегда за себя думаю, так как я ровесник того и другого: родился на нулевой отметке столетия, в революцию мне стукнуло ровно семнадцать и, что интересно, свой день рождения отмечаю с шестого на седьмое ноября, как по заказу, число в число.

С родителями имею полный порядок: мать — прачка, отец — революционер, но раньше трудно было на эту специальность прожить, поэтому он был сапожник и подбивал на революцию других. Я им помогал по мере возможностей и бегал за водкой, а они для отвода глаз царских жандармов выпивали и начиналась катавасия: мамаша ругала батю с дружками, те ругали царя и существующий строй, а я слушал и набирался ума-разума. С малых лет я познал кузькину мать эксплуатации человека человеком и сто процентов был согласен с идеями родителя, который говорил: «Все мы люди, все мы человеки». Он скончался во время голодовки двадцать второго года, а тиф голодному не подмога, от него он и помер. А мамаша померла еще раньше».

— Капитально, — одобрил Филимон Никитич. — Даешь, как поешь.

— Ну! — отозвался Владик. — Это тебе не колбасню брать.

«Комсомола тогда ещё не организовали, вступать не было куда, о подрастающем поколении не заботились, и я, по большей части, околачивался, где придется. Это даже удивительно, что я не сбился с панталыку и не пошёл воровать, а даже наоборот. Раз один офицер потерял сумку с документами, и я ему отдал, а он говорит: «Вот тебе, мальчик, золотая монетка за то, что ты такой честный». Понятно, что при таком существовании я не имел будущего, поэтому всей душой встретил революцию и с первого дня влился в её ряды. Уже в семнадцатом году я, напевая «Интернационал», лез по столбу вешать плакат, а командир гарнизона, товарищ Покатило, сказал про меня: «Это наш красный Гаврош». С тех пор это стало моей подпольной кличкой».

— Ты что, у белых был? — отвлёкся Чмырёв от письма.

— Чего я там не видел? — насторожился Филимон Никитич.

— Ну, мало ли. Шпионил, разведку вёл, — я ж не знаю, чего.

— Башмак ты ёкарный! Я с ними боролся всю жизнь, со шпионами, а ты — «шпионил». За красных я был, так и пиши.

— Ясно, — сказал Чмырёв и улыбнулся.

«Моя сознательная жизнь проходила на фронтах: от похода

к походу и снова в поход. Там я увлекся по части культуры и и приспособился, можно сказать, между боями. На моем жизненном пути конармейца мне столько всякого добра довелось встретить, что другим и не снилось. Так как парень я был бедовый и раз от разу выдвигаемый на должности, то мне полагалась отдельная фуражка, где я содержал разные предметы, развивался от них сам и развивал свой кругозор. Сколько уже годов прошло с того времени, а у меня до сих пор обида на сердце, что всё это накрылось на польском фронте, самого меня ранило, быстро отступали, пришлось всё бросить».

— Какие вещи были, какие вещи, — загоревал Филимон Никитич. — И всё дочиста прахом, коту под хвост. Тикали мы, ох, тикали, кто пеши, кто как.

— Изложим? — предложил Чмырёв.

— Не надо, — отмахнулся Филимон Никитич. — Не всем знать.

«После поправки назначили меня по разверстке продовольствия у населения, а я был молодой, энергичный, переверну, бывало, всё вверх дном, а найду. Хотя время было уже не то: народ отоцал, ничем, кроме куска хлеба, не интересовался и ничего наглядного, кроме икон, не попадалось. А мы ещё не знали, что иконы тоже культура; тогда другая была установка и обязаны были выполнять. Если б знатьё, что с иконами такая выйдет промашка, я б их, этих икон, понасобирал дровяной сарай и больше, но в те годы был приказ «Крой, Ванька, бога нет», и всё божественное мы пускали на слом или в огонь, а попов через трибунал и в расход».

— С ними валандаться, — поморщился Филимон Никитич. — Лучше десять простых, чем один патлатый.

— Какая разница, — передёрнул плечами Владик. — Не всё равно — люди?

— А такая, что не всё. Возьми, интеллигент. Тоже «люди». Так он что вытворяет? Сам не свой, бедолага, на колешках плачет, папой-мамой-детьми, сукин кот, клянётся, сапоги тебе, ёкарный твой, нализирует... Или другой, покрепче который. Глазами на тебя зыркает, зубами скрипит и всё время ругается. А попы? Они молятся, понял? И ничего ты для них не обозначаешь, хоть ты их бей, хоть стреляй, хоть чего.

— Интересно, — вырвалось у Чмырёва.

— Интересно у бабы под подолом, — поправил его Филимон Никитич, — а тут тебе никакого, милосердия, интереса. Вот, скажем, поп. А вот — я, значит. И он меня ни вот столечко не боится. Читает себе всякую богородицу, а я, вроде, пустое место, ты ж понимаешь! Положено как? Или ты боишься, или тебя, а иначе порядок не жди. Значит, ежели у него страха нет, значит, моя очередь, — так выходит?

— Ну, тебя на испуг не враз возьмешь, — ободрил Чмырёв Филимона Никитича.

— А то! — возразил Филимон Никитич. — Ещё как боялся, милоч! Чуть не обмочишься. Весь, бывалыча, заряд засадишь, а у самого с думки нейдёт: «А что как встанет?» Не-э, попа с одной пули даже не пробуй. Вредные. Мы народ страшаем, а с него какой пример? Я, вроде того, делаю, и ты делай; я, мол, не боюсь, и ты, значит, не бойсь. Это порядок?

— Да-а, — задумчиво протянул Владик и вытер взмокший лоб. — Большая у тебя жизнь, дед. История. Мемуары писать. Не к ночи будь сказано... Ну, ладно. Поехали дальше.

«Вскоре после этого меня откомандировали по установлению советской власти в республиках Средней Азии, где басмач на басмаче и басмачом подпоясан. Это такой народ заядлый оказался, ничего признавать не хотят и религиозные — нет спасу. Нам приходилось разъяснять и вести большую воспитательную работу, потому что добром от них ничего не добьёшься. Это они теперь образумились, пишут нашими буквами, спекулируют по всей стране, про политику рассуждают, а раньше к ним без нагана не подходи. Сами грязные, некультурные, пишут, как курица лапой, ничего не разберёшь. Мы там уничтожали святые места и все ихние книги подряд, какие попадались, но ничего культурного не нашли, одни лишь ковры и одеяла. Мы им советовали русским языком, чтобы не сопротивляться, а то перестреляем до одного, на расплод не останется, но они думали, что это шутка, и сопротивлялись вплоть до оружия. Тогда мы лупили по ихним кишлакам из орудий, только пыль столбом, и они за это ненавидят товарища Будёного, аж дрожат со зла. Проводя воспитательную работу, я там получил ножевое ранение в живот и долго поправлялся на курорте. Конечно, ковры, они тоже культура, но маленькая...»

— Что ты заладил: барахло да шумтки, — проворчал Филимон Никитич. — Загни, давай, про идейное.

— Не скрипи, — осадил Чмырёв старика. — Сейчас пойдёт идейное.

«В дальнейшем я полностью перешел на работу в органах чекизма, но ещё тогда понял, что культура — это великая вещь, особенно книги. Сколько я их на своём веку проработал, это невозможно, а насчет политграмоты было строго, так что хочешь — не хочешь, а развивайся и никаких гвоздей. От книг я, можно сказать, человеком стал и другим советую. Но главное, что я тогда мечтал, так это оставить по себе след через какую-нибудь библиотеку, где трудящиеся смогут в свободное от работы время работать над собой, успешно отдыхать и меня вспоминать».

— Подходяще, — похвалил Филимон Никитич. — Доходит. Умеешь. Жми до конца. Добровольно, скажи, никто не заставлял и так дальше.

— Не мешай, — отозвался Владик. — Без тебя знаю.

«Когда я вышел на пенсию, то открыл на дому библиотеку

для всенародного пользования, а также именной музей революционной, боевой и трудовой славы и сильно израсходовался. Об этом много писали и в журналах, и везде, а еще передавали по радио и показывали меня по телевизору и в кино. Комсомольцы записали в книге благодарностей, что я, как полноводная река, орошаю посевы, а по мне корабли плавают. Вы про это, товарищ министр, тоже, конечно, слышали и приказали наградить меня значком «Отличник культуры», а я вам за это обязан, что не забыли старинного борца за землю, за волю за лучшую долю».

— Слушай, — спросил Чмырёв, отодвигая бумаги. — Ты где её раскопал, библиотеку?

— В утиле, — усмехнулся Филимон Никитич.

Владик ушам не поверил.

— Где? — переспросил он.

— В утиле, — повторил старик. — У них много. Туда люди книжки сдают, какие негодные, политические. Две копейки за килограмм. А все новые, никто не читает. Чего ж им, ёкарный, пропадать? Я перекупил. Три самосвала привёз.

— А ну, неси сюда свои благодарности, какие есть, — потребовал вдруг Чмырёв.

— За библиотеку? — уточнил Филимон Никитич робко.

— Не за попов же! — огрызнулся Владик через плечо.

Он пролистал принесенную тетрадь, но в ней, кроме записи о реке и о кораблях, ничего больше не было.

— Не шибко, дед, — вздохнул Владик. — Прямо сказать, не шибко.

— Стишок про себя знаю, — застеснялся Филимон Никитич.

— Ну, давай.

Филимон Никитич скосил глаза и прочитал, как на утреннике:

Товарищ Серсаев,
Вы гордость народа,
Мы вас поздравляем
С высокой наградой.

— Сам придумал?

Филимон Никитич скромно кивнул.

— Хороший стишок, — одобрил Чмырёв. — Министру понравится. Они, министры, любят клубнику с малиной. Так, значит, и запишем.

Стишок записали, облыжно приклепав авторство ни в чём не повинным пионерам и школьникам, и перешли к сути дела.

«Награда родины ко многому меня призывала, поэтому я таскал значок везде и всюду, пока не произошла катастрофа, которую я сейчас опишу. Ночью у соседа загорелся дом. Я проснулся, накинул френч с наградой и рванул на помощь. Сразу же я полез в огонь, но мне там стало жарко, и я разделся без внимания. Извините, конечно, что в горячке человеку не до орденов, главное, людей спасти, — я так думаю. Продолжая

спасать людей и материальное имущество, я надеялся, что с минуты на минуту будет пожарная машина, но она приехала, когда от дома остались одни головешки, и мой френч от этого безобразия тоже сгорел. Полдня я ковырялся в золе, думал, найду . . .»

— Погоди, — остановил Чмырёва Филимон Никитич. — Это какой же дом такой по соседству? Гридинский, что ли? Даже не думай! Не побегу я его спасать, пускай горит . . . И вообще не пойдёт. Ты перемени. А то ещё скажут: «Предоставьте справку. Или медаль за мужество». Я её где возьму?

— Не скажут, — заупрямился Чмырёв.

— Да, да, шире карман держи, «не скажут». Так тебе сейчас и поверили без справки. Ты давай, ёкарный, вот чего делай: или нельзя чтоб справку достать, или можно. А это зачеркни, про пожар.

— Оно бы лучше без справки, — почесал за ухом Владик. — Спокойней как-то. Сейчас устроим. Момент.

После кратких переговоров получилось следующее:

«Недавно я поехал в Ташкент проведать сына, а френч с наградой положил в чемодан. И вот, не помню, на какой станции, мой чемодан украли, — просыпаюсь, а его нет. — Я в милицию. «Так и так, — говорю. — Требую шмон по линии, тревогу номер один, проверить удостоверения и так дальше». А дежурный мне что? «Мотай, — говорит, — старик, отсюда, а то и тебя посóдим». — «Я, — говорю, — полковник такой-то», — а он отвечает: «Это ты раньше был полковник, а будешь, — говорит, — покойник, — понял? и чеши, пока не поздно».

— Крест на пузе, — побожился Филимон Никитич. — Сержант один в Ташкенте. Так и сказал, контра. Слово в слово.

«Это что же делается? А ещё говорят «моя милиция». Какая ж она «моя»? Разве с ветеранами так обращаются. Вот раньше было обращение, это да. Ещё батя мне одного показывал. «Гляди, — говорит, — Филька, и запоминай: ветеран Полтавского сражения . . .»

— Трепач твой батя добрый, — заметил Чмырёв без отрыва от письма. — Полтавское знаешь когда было? Триста лет скоро. Это Куликовской битвы был ветеран.

— Ну, переправь, — сказал Филимон Никитич. — Тебе видней. Батя, это верно: швайка, дратва — это он соображал, а на счет чего другого ни в зуб ногой был. Ты поправь, поправь.

«. . . запоминай: ветеран Куликовской битвы». Так его ж на подушках несли! А теперь не то, что подушку, а вообще ничего никогда. А я сам себя не жалел. И вот такая мне благодарность. «Иди, — говорят, — дед, откудова пришел». — «Я, — говорю, — под Перекопом был». — «Вот туда, — говорят, — и иди, под Перекоп». — «Я, — говорю, — Ленина видал на комсомольском собрании». — «Ну, и что с того, — говорят, — что ты его видал?»

— Правда, — заскорбел Филимон Никитич. — Былб. Что былб, то былб. Правда.

«И вот остался я, товарищ министр, как есть на бобах и ничего не радует. Удостоверение у меня имеется, подписанное Вами, но его же не повесишь на шею и каждому встречному не покажешь, что ты удостоен. Я даже не знаю, что дальше будет и для чего была моя жизнь. Ночей не сплю, размышляю, как могло так случиться, что теперь каждый кусок поперек горла застряёт. А еще обидно слышать такие разговорчики, как молодежь ведет. Мы такого про вождей даже подумать боялись, а сейчас анекдоты всякие и никто ничего, только смеются и всё».

— Только смеются и всё, — горестно повторил Филимон Никитич. — Смеются только и больше ничего... Ты, Владь, попроси его, попроси, как следовало. По-интеллигентному, со слезой, папой-мамой-детьми. — Старик всхлипнул и полез в карман за платком.

— Ну, будет хныкать, — ободрил его Чмырёв. — Расклеился!

«И я Вас, дорогой товарищ министр, умоляю папой-мамой-детьми, а также всем святым, что у Вас имеется, уважить мой преклонный возраст, мой стаж и заслуги перед государством, которое я укреплял собственными мозолями от начала до конца. Дайте приказ и пусть вышлют хоть дубликат значка, который мне дорог как признание моих заслуг на пути дальнейшего строительства новой светлой жизни. Моей просьбы прошу не отказать.

С уважением,
Серсаев Ф. Н.,
полковник в отставке,
персональный пенсионер союзного значения,
член КПСС с 1918 года».

— Думаешь, выгорит? — просительно заморгал глазами Филимон Никитич.

— Можешь не переживать, — заверил его Владик. — Ни одна министерская собака не отмахнется. За вкус, дед, не знаю, а горячо сделаем.

— Ну, ладно, — успокоился старик. — Ну, подождем, башмак твой ёкарный...

Долго и зря ждал Филимон Никитич. Уже и время прошло, и пленум состоялся об улучшении работы с письмами трудящихся, и Чмырёва он дважды успел повидать, а ответа всё не было. Ни письма не было, ни значка, — ничего. Вряд ли просьба Филимона Никитича затерялась; просто она залетела в те высокие круги, куда всё идёт и откуда ничего не возвращается... Короче говоря, Владик сходил к знакомому коллекционеру, ку-

пил у него такой же значок и перепродал Филимону Никитичу, а разницу взял за труды.

С тех пор прошло несколько лет, но Филимон Никитич жив- здоров, как прежде. Его даже приняли на службу в одно уч- реждение за то, что он так много всего повидал, и сажали в пре- зидиумы, но вскоре уволили. Дело в том, что старик совер- шенно сошёл с тормозов в смысле контроля речи и стал сдурá- умá проговариваться о таких подробностях, о каких ему лучше бы вообще помалкивать. В конце концов, сам Андрей Сволыч не вытерпел и назвал его воспоминания «идущими вразрез», а Филимона Никитича приказал прогнать. Теперь старик мается от безделья и на всех ворчит, потому что скучно.

А в вёдренный день он выходит в сад, садится под яблоней и сидит часами, думая о прожитом. Когда он один, ему уже не приходят на память грабежи, рубка пленных, пьяные гульби- ца, встречи с вождями, расстрелы попов за околицей, пальба из курносых пушек по грязным таджикским кишлакам, — не приходят, потому что неинтересно. Охотней всего ему припоми- нается, как осенью степь волей пахнет; как по той степи бездо- рожно и вольно ступают лошади; как его самого увалисто в сед- ле колышет; как вдумчиво молчат кони и люди, будто тишину пьют с неба сумеречного, и кто-то, стремя в стремя, протягивает ему окурок, вкусней которого он ничего и никогда не курил. Тут его память начинает пробуксовывать, и он думает: «Кто ж это был?.. Кто ж это был?.. Кто ж это был?..» И не может вспомнить за давностью времени.

Морской пейзаж с одинокой фигурой

Отмель делит реку от моря и уходит вдаль узкой косой. При отливе она вытягивается еще дальше, и река удлиняется вместе с ней до того места, что здесь называют «устья». Однажды сюда забрела лисица. Поселковые мальчишки гурьбой переняли ее бег и выгнали по косе на самую остроконечность. Там ей некуда было податься, и она, замочив лапы, неумело твкала о пощаде, а может, знак подавала, что добром это не кончится. Так и вышло: начался прилив и все кинулись назад, но добежать до суха не было часа. Лиса обогнала своих мучителей, но тоже не проскочила: море сомкнулось с рекой, и огненный лисий хвост последний раз просигналил беду, а детские голоса потерялись в зауспокойном крике чаек. Одного потом нашли в устьях, — нерпы у него нос отъели, а остальные так и сгнули без похорон.

Сюда мало кто ходит. Даже пограничники. Они воткнули столб за рыбокомбинатом, написали «Непроезд» — и всё. А жаль. Здесь хорошо. Безлюдье, покой. Коса, что асфальт утрамбована, — не идешь, а несет тебя. Песок — солнце на небе рисуй, да поярче, чтоб всё внутри озарилось, — такой у него оттенок. От множества чаек он еще теплей на вид, потому что белое ладит и с желтым, и с серым, и с зеленым, а уж о голубом и говорит нечего — красота! Только мало здесь синевы, всё больше серость. Зато воздух свежий до середины прохватывает: вдыхаешь кислород, выдыхаешь мысль, которой родиться тут без помех самый момент; простор — сколько глаз хватает, порядок кругом первоначальный и прибор шумит специально для тех, у кого нервы сдали.

Нервы у дяди Коли в пределах, а возможно, их у него и вообще нет. Сюда ходить он не боится, потому что время знает, не в смысле «Скажите, пожалуйста, который час», а просто: когда прилив, когда отлив, когда луна днем, когда ночью. По ночам он тут, конечно, не шляется, — занят, да и днем не всегда, а так, если в делах перебой выпадет. Вот он миновал столб и идет, глядя под ноги, а движение волн по обе руки мешает определить, то ли дядя Коля от поселка уходит, то ли поселок от него уплывает. Он не оборачивается и ему со спины не видно, какой поселок невзрачный и захудалый, если на него с приволья глянуть. Он, точно, и вблизи не лучше: на зиму в снег зарывается, как крот в землю, а в другое время стоит обшар-

паннный, дикий и похож на заброшенную деревню, если бы по трем его улицам не сновали люди, не брехали собаки и не смердело бы тухлой рыбой от тамошнего комбината. О месте своего жительства люди говорят кратко: «Чтоб ему провалиться!», и у кого ни спроси, все вот-вот уедут на материк, в мягкий климат, в культуру с удобствами, потому, дескать, и не обзаводятся ни машинами, ни обстановкой, ни постройками, — ничем. Да всё как-то не уезжают, мешкают, откладывают, вначале с года на год, а там и вообще.

Один дядя Коля не едет. А куда ему? Трудоустроен, на хорошем счету, работой не брезгует, не отнекивается, все у него путем, — чего еще? Начальство им довольно: в отпуск не ходит, компенсаций не клянчит, не болеет, не пьет, просьбами не докучает и трудится круглосуточно. Честное слово, больше двадцати лет круглосуточно: днем плотничает в мастерских по судоремонту, ночью там же контору сторожит. Товарищ Бураков ручается, что другого такого как дядя Коля поискать: и неграмотный, то есть ничего из секретных документов прочитать не может, и безотказный на совесть: вели ему сто лет не отходить от сейфа — не отойдет, а в сейфе ничего секретного сроду не водилось, если не считать питьевого спирта.

Вот только не наш он. Будь он наш, ему бы цены не сложить, но он иностранец. У него и паспорта нет, а есть вид на жительство, поэтому в выборах он не участвует и собраний не посещает, да и все говорят, что ежели он пропадет ни за копейку, спрос за него еще меньше, чем за чужую печаль. Уж на что профсоюз — дырка, а он и там не состоит. Значит, и пенсия ему выйдет, когда состарится, тридцать дней в месяц или что-то около того. Пенсия — это что! Он о ней не беспокоится. Ему, главное, работа. Он так и говорит: «Работа есь — хоросо есь, работа нет — хоросо нет». И с людьми он побалагурить не прочь, да с ним толковать — не очень-то потолкуешь, особенно про политику. За него и в ведомости другие расписываются, потому что — темнота. Правда, со стороны даже не подумаешь: приличный, аккуратный и стрижкой от него березовой навевает, будто после парной с венником.

В поселке его знают. Тут он, как дерево в грунте: семья, шестеро детей — куда ему, хоть от них, хоть с ними? Нет, он здешний, постоянный и очень давнишний. Как занесло его сюда после войны с мигуками, так он и по сей день живет. Мигуки — американцы, по-корейски. И он с ними воевал, потому что сам кореец. Вообще-то, никакой он не Коля, это его так в поселке кличут, а настоящее имя у него — Ким Бог Знает Как. У них там все Кимы. Президент тоже Ким, — они его зовут «папа». Если у них спросить, к примеру, сколько у президента детей, они говорят: «Мы все его дети». И через плечо по привычке озираются.

Лицом дядя Коля, кого ни встретит, весело морщится, точно

от сильного света, хотя, какая тут погода? — пасмурь, мга и ничего больше. Просто настроение у него всегда одинаковое. Еще он говорит: «Денди есь — хоросо есь, денди нет — хоросо нет». Можно подумать, что у него деньги не переводятся, но это не так. Лишку у дяди Коли не водилось в помине, — опять же семья, кормить надо. Короче, неизвестно, отчего он веселый, но может быть, от характера.

А характер у него такой, что другому и на ум не придет, будто он мог на войне кого не то чтоб убить, а даже оцарапать. Но у него есть медаль за храбрость, и он рассказывал через пятое на десятое словами, остальное пальцами, как дело было. Самолет сбили, и из него мигук высыпался с парашютом, — прямо к ним. Его можно было потом обменять на целый десяток таких, как дядя Коля, но это было неинтересно и мигуку отрезали голову. Сам дядя Коля не резал и даже пальцем не дотронулся, но все кричали «Смерть мигукам!», и дядя Коля кричал изо всех сил, потому что многих за это наградили и его тоже.

Он не любил мигуков. Папа Ким говорил, что это из-за них в стране мало собак и риса, а скоро и вовсе ничего не останется. Зато, мол, если дядя Коля возьмет верх, досыта будет всем того и другого, а героям пообещал отдельные псарни. Дядя Коля поднатужился и, то ли взял верх, то ли нет, но вместо победы получился мир, и папе нечем стало кормить семейство, хоть расшибись. Тогда папа сказал, чтобы те, кто блажит есть доотвала, ехали в Советский Союз, с которым он договорился, а там всего в досталь, что собак, что чего хочешь. Корейцы послушались и поехали. Много-много поехало. Дяде Коле в то время не было и тридцати, а жениться раньше тридцати нельзя, так что он был не только веселый, но и холостой. Подумал он, подумал и законтрактровался на полную десятку. И очутился в поселке.

С тех пор больше двух десятков прошло, а он все еще здесь. На родине о нем никто за годы не почесался; туда сообщили вовремя, что его нет в живых — и дело с концом. Если бы теперь папа Ким спросил: «Где мой кадр? Где дядя Коля? Что он поделывает? Ну-ка, предоставьте его, как договорено», — ему бы ответили, что никакого дяди Коли мы знать не знаем, что дядя Коля скончался на первом еще году от обжорства и не только скончался или похоронен, но даже сгнить успел, — вот так. Что тут придумаешь? Кто врет с утра, тому полагается врать до вечера.

А он не скончался. Он идет по косе и чаек ему на пути попадает все больше и больше. Им не нравится, что дядя Коля сюда пришел. Они ему, конечно, уступают, но с таким трезвонном, хоть уши затыкай, а он, знай свое, идет, пока не останавливается, будто споткнувшись. Потому что прямо перед ним валяется на песке большая рыбина и сонно поводит жабрами.

Это кижуч. Царская рыба кижуч, не рыба, а заглядение: чешуя серебром лется, плавники радугой играют, хвост от русалки, да любоваться некогда, так как гибнет она и, ни у кого не спросясь, еле дышит.

Дядя Коля влезает пятерней в жаберную пройму и волоком тащит рыбу к воде; весу в ней полтора пуда и на руки пусть ее те берут, кого после тройной ухи особливая жалость к природе одолевает. Подгадав промежуток между вздохами водяного царя, дядя Коля бросает кижуча и бегом бежит от прибоя, а затем следит издали, как рыба, несколько раз перекатившись, приходит в себя, как она в воде устраивается и как ползет позмеиному к речному гирлу. Беременная самка это. Самцы, те поглубже идут, а у этих брюхо зудит от икры, и они скребутся, ко дну прижимаясь. Здесь их отлив и прихватывает птицам на потраву.

Если взять ножик поострей и полоснуть такую рыбу по брюшине, из нее сразу же бесплатно вывалится до двух килограммов красной икры, той самой, которая деликатес. Икра помещается в двух чулках из прозрачной пленки, с виду целлофановых. Брать плеву в рот — ни-ни. У командора Беринга кто-то, говорят, из команды в здешних местах на тот свет убыл по неопытности. Сперва икру продавливают сквозь сито с подходящими ячейками, чтобы плева осталась, а зернь проскочила. Потом еще раз. Потом дважды моют на скорую руку и заливают соленым раствором. Минут через двадцать, от силы — полчаса, образуется всем известное по картинкам яство, каким нынче питаются, дай Бог здоровья, правительство, космонавты и за рубежом.

Икру дядя Коля, конечно, употребляет за мое почтение, но на косе у него напрочь отшибает аппетит, как у повара, когда тот, в кухне стряпая, нанюхается всякой всячины. Вдобавок у него еще и вкус извращенный: он считает, будто красивая женщина та, что на сносях, и ничем его не разубедишь. А насчет кижучей он может подробно рассказать, даром что слов у него, если сотня наберется, то хорошо.

Для начала он одной рукой показывает на рыбу, другой чешет живот и быстро-быстро лопочет по-корейски. Это понятно. Потом он круглым жестом захватывает море подмышку до самых устьев и, поочередно ткнув перстом в рыбу и себе в рот, начинает двигать челюстями, точно жерновами, и зубы у него скрипят, будто гвозди перетирают. Резко оборотившись к реке, он вдруг прекращает жвачку, запечатывает рот ладонью и убедительно мычит, показывая, что в пресной воде кижуч перестает есть. Затем его кривой грязноватый палец чертит линию вдоль по реке, за поселок и выше, и круто забирает в тундру. При этом дядя Коля привстает на цыпочки: рука наотмашь, пальцы растопырены и любому ясно, что за поселком рыбы свернут в протоки, каждая в свою, и разбредутся по рукавам,

каждая в свой, а рукавов этих побольше, чем у него пальцев, когда он аплодирует. Перекаты там вообще гиблые, воды местами по дяди колину щиколотку, и рыбе плыть по такой воде — уффф! Он тарачит глаза, пыхтит, работает локтями и делает вид, что задыхается. Лицо у него вытянуто, скулы пропали и он почему-то похож на европейца, а не на рыбу, что ползет по камням, наполовину из воды высунясь.

Наконец, трудности перебороты, и рыба входит в ту же заводу, где сама когда-то из икринки проклюнулась. Отдохнув и поднакопившись, она затевает свадьбу. Что творится! Вода в заводи, как в котле. Дим-дади-дум-дум! дим-дади-дум!.. Манипуляциями, ужимками, прыжками и телодвижением дядя Коля показывает, как это скопище пляшет, бесится и трется друг о друга. Потерев ожесточенно руками, он сначала пристраивает ладонь к собственной заднице и отмахивает ею наподобие плавника, а после этого перемещает руки на срамное место и воображает себя писающим вкруговую с разбрызгом. Это вот что означает: женщины мечут икру, мужчины поливают ее молоком. А дальше... дальше дядя Коля закрывает глаза, безвольно роняет руки, сгибает колени и едва не валится замертво, как рыба, которая подыхает тут же после свадьбы. Если ему не поверить, он достанет нож, порежет мякоть у запястья и, вновь приладив ладонь вместо хвоста, начнет помевать ею и кропить землю кровью, чтобы всем воочию было, как рыба, выметав икру, истекает до капли... Такой он краснобай, дядя Коля.

Он спугивает на ходу скандальных чаек и угадывает, что впереди еще одна такая же русалка, больно уж птиц там собралось, песка не видать. Птицы кижуча раньше срока не тронут. Они знают: эта вот блестящая туша так может хвостом огреть, что кишки вон, и инстинктом ждуть, когда рыба заснет наверняка. А дядя Коля вмешивается, и они громко бастуют, взмывая над ним, как пух из разорванной перины. Чаек дядя Коля тоже едал, но они жесткие и вонючие и их надо сутками в укусе вымачивать. Впрочем, это давно было, когда он только-только в поселок приехал.

Их привезли по большой воде на пяти кунгасах, крытых брезентом. Люди думали, что уголь на зиму, а оттуда корейцы выскочили за малым не триста душ и как один — мужики. То-то было радости, то-то волнений! Поселок позабытый, население — почти одно бабье с рыбокомбината, не жили, а рассказывают, куски сшибали: хоть встречный, хоть заразный, хоть кто, лишь бы в штанах, и вдруг — нате вам, бабоньки! Мигом разговелись, за неделю замуж повыходили безо всяких формальностей, за год детей понарожали, немного, верно, раскосых, но шалых, светлоглазых и, главное, крепких. Тогда же подметили, что свальный блуд в поселке сошел на нет, остался один только любительский, а выручка от продажи алкоголя

против прежнего оставила желать хоть бы какого-нито выполнения.

Гуртовые загулы, конечно, происходили, но уже либо по годовым праздникам, либо невзначай, как с кепом Манько, хотя случай этот совсем особый. Тогда зима была, штормило крепко, и из шести колхозных сейнеров пять, заколодев ото льда, сыграли на море «оверкиль» вместе с командами. Один лишь Манько привел свой айсберг в устья и сел на мель, откуда его и сняли подпорченного умом. Его бы сразу в желтый дом на перекладных спровадили, но народ не дал, пока кеп не пропил сберкнижку с героической звездочкой и не осточертел своей сумасшедшей песней: «Сидор прянет, рыба вянет, Черное море — корыто». Хотя приключилось это уже после приезда дяди Коли и к делу относится не сказать, мимоходом, но, в любом случае, наперед.

Сначала корейцев разместили в черных бараках для сезонников, и они за несколько дней переели почти всех поселковых трезоров. К ним сразу же прискакал митинговать Зуёк из райпушнины. Он ходил по баракам, тряс для вразумления собачьим хвостом и призывал: «Шкуры отдайте, гады. Отдайте шкуры. На кой они вам вашу мать!», — а корейцы отрыгивали псиной и что-то дружелюбно бормотали: не то собаки голые по улицам бегали, не то они их, обрив, скушали со шкуркой. Так он от них ничего и не добился, Зуёк. Впоследствии они перешли на рыбу и на свинину, которая там все одно, что и рыба, поскольку свиной рыбой откармливают, а собаки вновь расплодились и, не помня зла, якшались с корейцами без дискриминаций. Однако и данный факт из жизни животных помянут загода, потому что раньше все-таки состоялась коллективная женитьба.

Их разобрали поштучно. Приходила немужняя молодуха, обсматривалась улыбиисто, перебирала, как на базаре, манила рукой, — что стоишь? пошли, мол! — и вся недолга. Дядю Колю выбрала Натаха комолая, но его у нее отбила Кланя-лярва. Дядя Коля уже совсем было собрался с Натахой, но Кланя закричала: — «Эй, хóдя! С кем идешь, — ты! Глянь лучше, какие у меня ноги красивые!» — и заголилась. Дядя Коля глянул, а ноги под Кланей оказались, действительно, ничего себе, да и лицо не корявое, так что судьба его решилась в один погляд. Кругом все смеялись и орали корейским хором ему с Кланей вдогонку здравицу, очень похожую на «гоп, гоп, до того!»

Натаха и сама без мужа не осталась, другого взяла, не хуже дяди Коли: что непьющий, что понятливый, что работающий. Он даже сам к ней напросился, когда она от обиды расплакалась: подошел, за руку тронул и на себя показал, а она ему засмеялась сквозь слезы. Им тоже «гоп, гоп» кричали, еще громче, чем лярве с дядей Колей. Натаха своего потом жалела, как ни одного мужика, и ходил он у нее обстиранный, гладкий да с таким еще под ручку гонором, что в самом деле подумаешь —

любовь. Жили они душа в душу, и Натаха отблагодарила его четырьмя детьми.

Что до Клани, то у нее раньше этого было двое: один от главного инженера, другой от райкомовского инструктора, и замуж ей надо было ужас, как срочно. Вот она и разжилась дядей Колей, хотя привычку свежака хватать так и не бросила, до самого до конца гуляла. Дядя Коля смотрел на ее проделки сквозь пальцы и всех детей без разбору огребал к себе, не заботясь, кто от кого, потому что в замужестве Кланя третьего родила от заезжего судомеханика, двух близнецов от дяди Коли, а шестого — девочку — страшно подумать! — от мигука. Дядя Коля вынырнул эту американочку в конторе по ночам с такой кротостью и терпением, словно знал о жизни нечто более значительное, чем все кланины шашни, но был бессилён рассказать об этом в своей колыбельной:

«Сипи, сипи, дóси,
Сипи, сипи, Нади,
Твоя папа — хоросо,
Твоя мама — бряди».

Может, оно бы ничего и не стряслось, если б не обстоятельства. Под осень, на шестом уже году дяди колиного семейного счастья, у рыбокомбината со стороны реки ошвартовался американский сухогруз, который велено было набить с походом икрой и отпустить подобру-поздорову. Невзирая, что команде запретили сходить на берег и разрешили в полприщуря поглядывать с борта на заграждения с охраной, всех корейцев подчистую согнали опять в те же бараки и держали взаперти, пока судно грузилось. В такой-то вечер лярва и прошмыгнула на корабль. Мужики дивились: черт ее душу знает, как ей это удалось, а баб интересовало другое: когда она успевала и дяде Коле передачи носить, и того-этого. Доллары у нее, понятно, изъяли в пользу мирного неба над головой и допросили со всей строгостью, но Кланя уже хлопала себя по животу и шумела, что у нее теперь сам Эйзенхауэр в кумовья поверстан, а алименты она себе через НАТО стребует, если захочет, и так далее. Ей резонили, резонили, да ее разве переспоришь? С тем и выпустили.

К слову, с этим сухогрузом крупные нелады вышли. Грузчиков подбирали по партийному признаку, но среди простонародья таких было мало, пришлось комсомол подключать. В общем, сколотили бригаду с бору по сосенке. А чтоб не осрамиться, выдали грузчикам костюмы из шевиота через рыбкооп и штиблеты на скрипучем ходу, так что попервах они выглядели дипломатами, затем — бродягами и уголовниками, а когда пришел американцу час якоря вздымать, это уже такая была шарага оборванцев, на каких глядеть стыд; чужие матросы тюкали на них пальцами и подыхали со смеху. Тогда же и дядю Колю освободили, но было поздно. А стоимость костюмов и

обуви у грузчиков вычли из заработка. Правда, не у всех; много было таких, что отверглись.

Не успел дядя Коля домой воротиться и не успел сухогруз из устьев к рейду выволочься, как на буксире лопнул трос. Старший моторист Лагерев знаками попросил у американцев конец, и они кинули ему линь, на каком хозяйки белье сушить вешают. Лагерев заругался и спихнул его в воду. Американцы выбрали и кинули вторично, показав жестами, — крепи, давай, без разговоров. Тот, матерясь, закрепил шпагатину и дал «вперед помалу». Шпагат выдержал. Лагерев прибавил оборотов. Шнурок звенел струной, но не рвался. Тогда на буксире придавили вовсю и вытянули сухогруз на рейд, словно он там и был. Капроновый линь американцы Лагереву на память подарили, и он свистнул при всех: «Вот так веревка! Крепче, чем советская власть на Камчатке!» — увязав оба происшествия воедино, потому что, когда у грузчиков удерживали из получки за костюмы, Лагерев с треском вышибли из рядов и перевели из старших мотористов в разнорабочие. Только он не дурак; через год опять вступил и в должности восстановился, зарекившись до смерти говорить вслух то, о чем думается. А у дяди Коли о ту пору выдался единственный, будь он трижды неладен, длинный выходной с прибавкой в семействе.

Стащив к морю еще трех кижучей, дядя Коля переводит дух. Оно бы, конечно, сподручней в реку бросить, но нельзя: рыба без памяти — все равно, что больная; ей весь расчет в сознание приходит там, где была, а от резкой перемены стихий она не проснется, а очень просто уснуть может животом кверху. Живую рыбу от мертвой он по зраку отличает, но не так, как об этом рассусоливают защитники среды обитания на зарплате: лежит, дескать, рыба и до того выразительно на тебя смотрит, до того ртом плачевно кривится, как только не скажет: «Помоги, товарищ». Он знает, что взгляд у рыбы безликий и холодный, как рыба кровь, только и того, что есть в нем какая-то искра, пока она живая, а как умрет, искра потухнет и глаз у нее делается точь-в-точь обкатанная морем склянка. И живет она, пока у нее воздушные мешки до отказа не разопрет, как утопленнику легкие. Всю подноготную он о рыбах знает, — не зря провел с ними целый отпуск.

В отпуске он был тоже единственный раз и не милостью месткома, а оказией, когда сроки договора истекли, и папа Ким приказал корейцам возвращаться на родину. Тогда в поселок под вечер опять пригнали кунгасы, а на них взвод солдат с пограничным нарядом. На следующий день с утра вой на берегу стоял дыбом, — страшней, чем когда мужиков на войну в сорок первом забирали. Оно и понятно: там хоть какая-нито надежда была на «авось», а тут уже ничего не было, совсем ничего. Заводилой среди баб с детьми выбилась Натаха комолая, что ни есть смиренная и незлобивая в поселке. Своего корейца она отпе-

вала чистым, тонким и таким летучим голосом, что по всем улицам слышать.

«Ой, кормилец ты мой родненький,
Голубочек ты мой ласковый,
На кого ж ты меня покидаешь?
На кого оставляешь деточек,
Малолеточков своих птушечек,
По белу́ свету сиротами́ рость?
Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а!»

Бабы заходились разом без уговора: — «Ах-ха-ха-ха-ха-а-а-а!» Детвора тоже наддавала до звона в ушах. Да и корейцы с кунгасов не помалкивали: кто скулил, как недобитый, кто лаялся, кто что. Одни только солдаты стояли стенкой, вроде неживые: глядят поверх, воды в рот набравши, разве что «не положено» скажут, когда толпа напрет, и от рук у них земляничным мылом отдавало, а от автоматов — новой мебелью. Из-за солдатской стены два офицера и уполномоченный в штатском наблюдают. Курят, носами водят, Натаху слушая, переговариваются. Несознательный, мол, у нас народ, бестолковый. С таким народом хлопот не оберешься, хоть ты их агитируй, хоть нет. Им лишь раз дай, а в другой раз сами возьмут. Ишь, стерва, выводит! Почище, чем в операх.

«Да какá вражина лютая
На моё счастье позарилась,
Счастье бедное, незавидное,
Кусок хлеба да спокой в дому?
И какá змея подколотная
Разорила гнездо малое,
Разодрала душу надвое,
Из груди сердце повынула,
На посмешку людям кинула?
Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а!»

Но в общем, все обошлось без последствий. Собрали корейцев за минусом померших, погрузили в кунгасы и отправили на пароход, а потом на родину, как договаривались. Двое в устьях вспороли бритвой брезент и — в воду. Одного выловили, а другого отминусовали. Вода — что в реке, что в море — выше плус четырех не бывает даже летом; в такой купели долго не поплаваешь, раз-два и — зачоченел. Конечно, кому охота к псине по карточкам заново приноравливаться? Вот они и цеплялись за баб, за детишек, за то, за сё. Да и бабы не лучше. Не расписавшись, посходились, наплодили детей незаконных, а потом кто-то им виноват. Сказано, нельзя, значит, нельзя, а захотели по-своему, — пусть не обижаются.

Дядя Коля не стал ждать особого приглашения. Как пригнали порожие кунгасы и внутренние войска, так он той же ночью переправился по реке на другой берег и дал стрекача в тундру, — без вещей, без продуктов, как был. Думали, — пропадет, а он, недели три перегода, вернулся живой, невредимый и ничуть не худой. О своем дезертирстве он поведал в обычной

для него манере: «Риба есь — хоросо есь, риба нет — хоросо нет». Как раз кижуч нереститься шел сплошняком, так он сидел где-то у заводи на перекате, резал беременных самок и пригоршнями жрал икру, допреж вымочив ее в проточной воде. Ему не было там холодно и он не бегал до ветру, потому что икра не просто усваивалась, а словно бы сгорала внутри ровным пламенем и не давала отходов: за три недели он столько же раз, почитай, и штаны сымал. На первых порах его донимали от этого разные страхи, но вскоре он понял и успокоился. Он бы и дольше сидел, но «риба» сошла, а помимо нее в тундре ничего доступного больше не было, и дядя Коля побрел в поселок.

Его и еще троих таких же хитроглазых вызвал к себе уполномоченный в штатском, отматерил как следует и сказал, что все они померли согласно отчетности, а это значит, сидеть им теперь в поселке, писем на родину не писать и дальше района не рыпаться, чтоб не засекли. А дядя Коля и не думал рыпаться; взял свой «вид» и продолжал жить так же бесподданно, как до этого жил. Во время переписи его зачислили в коряки, и он не возражал. Только раз еще побеспокоил его тот же уполномоченный, — это, когда с китайцами большие свары у нас были на границе.

В те дни по поселку пронесся слух, будто не сегодня-завтра китайцы отымут у нас Дальний Восток и отдадут Камчатку корейцам, а здешние, мол, поселковые, все уже поделили промеж собой и будут управлять. Дяде Коле, как самому отсталому, достались острова, и он их, наверное, продаст незадорого, потому что власть из него — смех один, никто подчиняться не станет. С ним после того долго еще здоровались и обязательно спрашивали: «Ну, как, дядя Коля, острова еще целые? не продал?»

По этой причине дезертиров опять позвали к уполномоченному. Тот громко сердился, заряжал-разряжал пистолет, советовал одуматься на месте и признаться по-хорошему, а затем расстелил карту и потребовал, чтобы дядя Коля показал ему свои новые владения. Дядя Коля по неразвитости долго не мог сообразить, в чем дело, пока ему земляки не растолковали, в чем. Тогда он сказал уполномоченному: «Турак есь — хоросо нет» — а уполномоченный ему за это сперва в зубы кулаком въехал, а потом выгнал и дядю Колю, и всех.

Все это не иначе, как со скуки. Если должность ответственная, а дела нет, надо придумывать, — вот и получается. И с уполномоченным получилось. Да и то сказать: после отъезда корейцев до того стало в поселке муторно, что если б не разгул с пьянкой, все было бы невыносимо. И пошла жизнь отмечаться, как прежде, не годами, а событиями: то привезли корейцев, то увезли, то Фролин-бригадир семью топором вырубил и сам зарубился, то летом кит самоубийство совершил, на берег кинувшись, то зимой сейнер туда же вынесло, — весь экипаж

перемерз, больше двадцати душ, а локатор, сволочь, показывал до земли полтора километра... А то еще случай был тоже памятный: цунами шел с волной двадцать пять в вышину, а в поселке всего один дом из бетона более-менее. Все, ясно, — к нему. Стук-постук, а там начальство спасается, вертолета ждет от вышестоящих, и милиция даже по партбилетам не каждого пропускает. Хорошо, что волна о дядиколины острова расшиблась и измельчала, да вдобавок ее отливом подсекло и в горочку раскатало, так что больше получилось пользы, чем вреда: окатило поселок, точно половодьем, и всю пакость, какая за годы набралась, одним махом в реку сбросило вместе с курами и мелкой живностью. Такой вышел субботник, что хоть березки высаживай, если б они тут расти могли. А вертолет, между прочим, от вышестоящих так и не прилетел. Товарищ Геласимов, себя жалеючи, плакал в нетрезвом виде и кричал на людей: «Этого надо было ожидать...»

Дядя Коля стоит, понурясь, и смотрит на рыбу. Эта уже — все. Никуда не поплывет и на свадьбе на рыбьей уже ей не гулять. Зрачок у нее потух, и чайки почували, что пора, — совсем вблизи скучились. Он их разогнал, а сам теперь скорбит и, похоже, молится рыбе, потому что — нехристь, язычник. Передать его молитву слово в слово никак нельзя, а ежели по голосу, то он, должно быть, извиняется перед рыбой, что не успел вызволить, рассказывает ей о своем житье, чтобы задобрить, благодарит за икру, которую он у нее сейчас возьмет, утешает ее мертвую, что она не напрасно век прожила, и обещает навещаться сюда, если жив будет.

Он достает складной нож, опускается на корточки, подвигивая кижуча на колено и, прободав жалом, вспарывает по брюху от головы к хвосту. Рыбье сердце уже перестало качать, поэтому кровь не брызжет росно на руки, а еле-еле пачкает острие и нехотя каплет вниз. Из прорехи в пластиковый мешок вываливается икра в родимой плеве, и он, обтерев лезвие о штанину, хоронит ее от рыбонадзора под фуфайку. Вот и все. Но прежде чем отвернуться, он произносит еще несколько языческих sacramенталий, кратких, как ругань, и негромких, как заповедь.

Пройдя косу до конца, он долго стоит, печальный и задумчивый, точно перед дальней дорогой, и ноздри у него подрагивают от йодистой свежести моря, и глаза жмурятся больше обычного. Отсюда до устьев рукой подать, и ему видно, как там нерпы резвятся. Когда в устьях встанет рейсовый лайнер, нерпы вокруг него собираются музыку послушать и слушают, выставив пассажирам напоказ умные свои прилизанные морды. Но сейчас парохода нет, и стая нерп маячит, как поплавки, совсем неподалеку.

На них поохотиться приходил сюда раз Димка Климов из судосборной. Опричь ружья, он взял транзисторный кассетник

для приманки и мечтал наколотить штуки три-четыре под вальсок, а музыкой его снабдила врачиха Люська Шелгунова, — он с ней гулял. На одной кассете, говорит, было написано: Калининков. Он, конечно, устроился, ружье подладил наизготовку и пустил этого Калининкова. Нерпы почему-то не подплывали, и Димка, незаметно для себя, принялся черт знает куда глядеть и черт знает о чем думать, — одну эту лишь пленку и прокручивал, а про охоту забыл. И часы у него, как назло, стали. Так что, когда он опомнился и горизонтом поинтересовался, его курчявая прическа распрямилась и встала торчмя, а шапка на-земь полетела. Он ее не стал подбирать, а тут же дал тягу, бросив заодно магнитофон, ружье и дубленку, чтобы резвей бежать было. Прилив догнал его и схватил за пятки близ пограничного столба, но он кой-как вырвался. Люську он, чудак-человек, тоже из-за этого бросил, что-де она это нарочно ему подстроила. А самое чудное, что он пить перестал, пристрастившись к симфониям, — его от них теперь за уши не оттянешь, а Калининков для него первый человек.

Дядя Коля здорово рассказывает, как Димка драл отсюда во все лопатки. Вообще, он мастер рассказывать, и слушать его — развлечение, только здешний народ не очень-то удивись. Рассказывай им, не рассказывай — все одно говорят: «Бывает». Двое комбинатских дихлорэтана вместо вместо водки хлебнули и сторели насмерть, — бывает. Директор школы с ученицами живет, — бывает. Уёк сутками подряд на нерест шел вдоль побережья и так гирло заткнул, что ни одна посудина не могла к рыбоприему пробиться. И ни один дурак не догадался лов на время приостановить. Рыбу ловили, ловили, да потом тоннами в море же выкидывали дохлую, — бывает. Здесь все бывает.

Только об одном случае так не говорят, потому что случая такого никогда прежде не было и неизвестно, будет ли. Зайцы на поселок напали, — еще до цунами. Тьма тьмущая зайцев, страсть глядеть. Видимо-невидимо. Откуда их столько набралось, — наверное, со всей тундры. Среди бела дня они тучей прошли по улицам и дворам, и никто им не помешал. Собаки притаились и нишкнули. Люди, объятые жутью, позакрывались где попало: дома, так дома, на работе, так на работе. Никакого ущерба зайцы не причинили, только землю пометом обгадили. Они вышли к лукоморью, с быстротой саранчи сожрали завалы морских водорослей и удалились восвояси, предоставив жителям даваться диву сколько влезет. Этот случай дядя Коля отлично помнит, но не умеет его объяснить.

В поселок он возвращается так же не торопясь, как пришел. Когда он добирается до места, где оставил мертвого кижуча, там уже ничего нет, — одни кости да чешуйчатая шелуха. До ближайшего прилива.

Цветы в ломбарде

Отец и сын так походили друг на друга, что любой мог догадаться об их кровном родстве. Лица у обоих были совсем русские, и хотя почти у всех хорезмийцев склад лица сродни нашему, эти двое имели на то свой особый резон. Отец, усто Матрасул, насчитывал в пятом колене родовой номенклатуры весьма подозрительного Пантелея, который «портил» весь правоверный ансамбль и внушал потомкам чувство национальной неполноправности. Мало сказать, «портил»; этот тип вообще за собой никаких предков не оставил, ни ибн Федота, ни ибн Микола, а это обидно. И все же, признаться без обиды, в этом прапра-как-его определенно угадывался скопской беглец, перебравшийся в Хорезм и служивший у Мадамин-хана в качестве топчи, то бишь пушкаря. Здесь он пустил корни и дал густую поросль, но веры, видать, не переменял, иначе зваться бы ему по-другому, а его, хочешь — не хочешь, на годовых мечетных намазах приходилось поминать как он есть: Пантелей.

Невзирая на свойство с нами, усто Матрасул по-русски ни бельмеса не знал, кроме матерной ругани, армейских команд и еще двух слов: «зыдраста» и «паджялиска», хотя в войне участвовал и был отмечен тремя медалями и осколком в легких. Его сын, Шарипджан, знал из русского больше, он ходил в школу, а их там натаскивают. Они вместе стучали в кузнице, и Шарипджан был уже не подручным «подай-принеси», а завзятым молотобойцем с пониманием ремесла. Тогда-то его и женили.

Этот второй по важности факт в жизни Шарипджана произошел как бы в его отсутствие, потому что никто с ним особо не церемонился. Его даже не спросили, хочет он или не хочет, просто отец решил, что семнадцать лет — пора, хватит старой Хуршиде штаны парню застирывать. Отец давно уже прицеливался, глядя, как он молотом отмахивает, как рукоять держит и как поспевающий в горне металл плющится под тяжкими ударами сына, будто лепешка хлебная. Тогда в глазах усто Матрасула замечался посторонний интерес со строгой оценкой.

— Заморился? — спрашивал он с любопытством чужого дяди.

— Нет, — улыбался Шарипджан. Ему не нравилось, что отец так от него отстранился, и он даже думал: остался бы усто таким же ласковым и терпеливым, как раньше, а Шарипджан бросил бы школу и стал бы всю жизнь ему помогать. Но кузнец

не смягчался и добрей не делался, а вновь спрашивал сына, словно убедить его хотел в том, чего в помине не было:

— Устал, говорю.

— Да нет же, — уверял сын отца. Это правда, он не уставал. Он вообще не представлял, как можно уставать. Горн, раздутый мехами, солнечно светился, плечи у Шарипджана белели от проступившей соли, как железо в заморозки, а усталость не приходила, и усто Матрасулу пришлось поверить.

— Ничего, — сказал он. — Женишься, будешь уставать.

— Я не хочу, — ответил Шарипджан, когда они сели обедать, а чтобы отцу было понятней, что речь не об усталости, добавил: — Жениться не хочу.

Кузнец промолчал, но на завтра надел новый чапан, закрутил чалму и отправился на ишаке в соседний кишлак. Вернулся домой затемно. Для чего он туда ездил, Шарипджан не спрашивал, потому что задавать старшему вопросы неприлично, но догадывался по разговорам, а разговоры у отца пошли странные.

— Женишься, — сказал он, как бы продолжая, — будешь уставать. Не научишься уставать — не узнаешь отдыха. А что за жизнь без отдыха, ну? Разве я тебя безделью учу?

— А я вам разве плохой помощник? — спросил Шарипджан. Такой вопрос был уместен.

— Не то, — отмахнулся усто Матрасул и прочитал целое наставление. Оно показалось Шарипджану долгим и нудным, и он его усвоил не сразу, а со временем, когда слова отца стали сбываться так же, как если бы их изрек прозорливец. А сказал отец много чего: что кетменя без железа не сделаешь; что покоча без тревоги не бывает; что плов хорош только вечером; что к достатку без нужды не приходят; что радость лишь тогда радость, когда беду своей рукой отвел, и что, если человека вовремя не женить, он разбалуется. В общем, говорил, говорил и под конец спросил:

— А какое счастье бывает, знаешь?

— Жизнь за родину отдать, — ответил Шарипджан, как в школе учили.

Отец оставил пиалку с чаем, посмотрел на парня и, крепко смазав его по шее, сам же расплакался. Он сидел и враскачку плакал, и лицо у него от слез стало грязным и старым, вроде ему было не пятьдесят, а сто, и заговорил так, будто втихомолку жаловался кому-то третьему:

— Как же так, а? Ничего не понимаю. Меня на войне сколько раз убить могли, — нет, не убили. Я, глупый человек, думал: вот счастье — жив остался. А сын говорит — несчастье. Мой сын, который от меня. Лучше бы мне пропасть, чтобы он был счастлив. Как сирота. Как много сирот. Счастливые! У них нет отцов, а у моего есть. Какое горе! Какая напасть! Жизнь ничего не стоит, а смерть — счастье, это что ж делается?

— Отец, — взмолился Шарипджан. — Я же не про вас, я про себя.

— Бог! — продолжал усто Матрасул. — Ты, не позволивший Ибрагиму зарезать Исмаила, ты слышишь? Он меня утешил. Спасибо. Он меня облегчил, чтоб мне оглохнуть. Он меня успокоил. Женится и повесится. Наплодит детей и утопится. И сам счастлив будет, и других осчастливит. Бесноватый! Моя семья, дети мои — вот мое счастье. Когда ж это было, чтобы я лег спать, их на ночь не сосчитавши? Ни разу. Пересчитаю, потом сплю. И во сне счастье вижу, что все целые, все десять.

Шарипджан корчился от страданий, словно ему печень по кусочку отщипывали. Он уже готов был зареветь, как вдруг отец отёр слёзы и, сделавшись ещё грязней, заорал:

— Кто вбил тебе это в башку?!

Заикаясь и немея от жалости, Шарипджан попросил у отца прощения за обиду и обещал всё сделать по его слову. И проговорил, оправдываясь:

— Только ведь я ее никогда не видел.

— Ничего. Я видел. Не калека, — обнадежил отец. — Очень достойная девушка. Стал бы я, что ли, торговаться заглазно? Очень, очень достойная.

Он умылся над бочкой и погладил сына по щеке прохладной ладонью.

— Сынок, — сказал он и опять стал близким, — я тебя не сильно зашиб?

Шея у Шарипджана побаливала, но он пощадил отца и ответил «нет». Отец благодарно ему кивнул и сообщил, как по секрету:

— Не дорого. Пятнадцать тысяч рублей и пять баранов. Очень достойная девушка. — И, резко отстранясь, заявил, — а в школу больше не пойдёшь. Будет с тебя семи. Научился!

Школа — пусть. Школы ему не жаль. Его беспокоило, какую невесту сосватали. Война недавно кончилась. Девушек было больше, чем парней, деньги были дешёвы, спички дороги, а пять баранов, даже очень упитанных, это всего лишь курдюки и ничего кроме, так что отец мог попросту сплеховать. Оттого Шарипджан и вознамерился увидеть суженую раньше, чем её приведут к нему с пожеланиями плодиться и размножаться. От матери он без труда выведал все, что надо, и укатил на велосипеде туда же, куда отец на ишаке ездил. Женщины ходили уже в открытую, но их лица ещё сохраняли очарование тайны, и мужчины не ели встречных красоток поёдом, а отворачивались. Это сейчас даже очень красивая девушка вызывает не больше чувств, чем козлодрание или цирковой трюк, а прежде — Шарипджан помнит! — женское лицо возбуждало мужчин так же, как нагота.

День показался ему сшитым по мерке, точно сапоги на заказ, и Шарипджан считал его впоследствии самым лучшим в

жизни, — то ли по удаче, то ли по настроению, то ли потому, что добрых людей оказалось больше, чем он предполагал, и вели они себя так, как ему хотелось. Он спрятал велосипед в зарослях верблюдки, а сам пошел в чужой кишлак и опять же очень быстро все разузнал. Как отрадно всё-таки, что при известных затруднениях обязательно сыщутся хорошие люди и толком объяснят, где кто находится, кто во что одет, какие у кого приметы. Она была на поле, и он узнал ее по платью: яркий букет с пунцовыми, желтыми и сиреневыми цветами порхал по зелени хлопчатника и пересмеивался с другими букетами. Он отбил ее от подружек и пустился за ней, ничего не замечая, кроме пучка летящих черных косиц, за которые способно было бы ухватиться, а она не вскрикнула, не позвала на помощь, — просто побежала. Они добежали до делянки с рослыми кустами и, точно сговорившись, пригнулись, чтобы не мозолить глаза добрым людям, впрочем, те дружно глядели в обратную сторону и делали вид, что на поле ничего не происходит.

Молодые засели в хлопчатнике порознь и перекликались, как перепела. Жених окликнул невесту по имени, и та сразу же ответила «ой». Шарипджан понял, что это не испуг, а отклик: «Я здесь», и порадовался своей сообразительности. Но времени было в обрез, и он выпалил сразу, пренебрегши традиционным языком деликатных намеков:

— Меня хотят на вас женить.

— Я не виновата, — отозвалась невеста чуть слышно.

— А я не хочу, — продолжал жених.

— Так не женитесь, — посоветовала она, и в голосе у нее прорезалась усмешка.

— Легко вам говорить «не женитесь», а они уже на задатке сладили. — Кто такие «они» Шарипджан объяснять не стал.

— А я при чем? — сердито спросил дальний куст. («Только что улыбалась, — подумал Шарипджан, — и уже злится».) — Я, что ли, себя продаю для вас нарочно? — («Моложе меня, а спорит».) — Проваливайте отсюда. Забирайте свой выкуп. — («Да еще упрямая!») — Если отец отдаст. — («И насмешница вдобавок. Что же мне с ней делать?») — Я некрасивая. Самая красивая в кишлаке. Хуже меня нет, так и знайте.

— Хочу посмотреть, — сказал Шарипджан.

— Зачем? — поинтересовались кусты справа.

— Если правда, я не женюсь.

— Бедненький! Как же вы будете?

— Не знаю. Может, убегу.

Слева из кустов по нему стрельнули картечным смехом:

— Куда?

Он растерялся. В самом деле, куда? Кому он нужен? Он помолчал и сказал упрямо:

— Все равно. Хочу видеть.

— Нельзя, — ответила она. — Люди кругом. — В голосе у

нее не было уверенности, и он догадался, что ей так же охота на него взглянуть, как и ему на нее. Это его приободрило.

— Пока не увижу, не уйду, — пригрозил он.

— Нельзя, — повторила она смущенно и с сожалением. — Пусть свечереет.

У жениха отлегло от сердца, но он стоял на своем:

— Темно будет — как увижу?

— Сейчас луна, — возразила невеста. — Не слепой же вы? Слепые так не бегают. Как вы гнались! Я думала, вы ноги себе переломаете.

Голос ее звучал со всех сторон, она не сидела на месте; Шарипджан почувствовал, что его обложили. Настроение у нее часто менялось, и в голосе порой так четко обнаруживалось лицо, что он потом божился, будто знал его до черточки раньше, чем она открылась. Между тем, слова звучали ближе и ближе, так что, когда смерклось и они встали под полной луной, их разделяло всего несколько шагов.

У нее была приманчивая серповидная улыбка и ласточкины крылья вместо бровей, а сбоку на шее темнело родимое пятно. Он притронулся к нему пальцем — пятно стало большим и страшным, потому что это был упившийся кровью москит, а он его раздавил и испуганно вскрикнул. Она засмеялась, но не скрыла смеха рукавом, как обыкновенно, и тогда он, опьяненный близостью женского лица, хриплым вороном прокаркал ее прекрасное имя и сказал . . . Это ясно, что он сказал. Все так говорят. Не в том важность. Много важней, о чем он у нее спросил. Она вздохнула и проговорила, словно вслух размышляя:

— Не знаю. Но вы же умный. Разве вам трудно так сделать, чтобы я вас полюбила?

Вот так. Торжество и победа! Его грудь распёрло от радости. Он так и сделает. Конечно, сумеет, что за вопрос! Это в школе его дураком обзывают за неуспешность, а в жизни он совсем другой. Она первая заметила, потому что сама неглупа.

— Клянусь, — сказал он, — что никогда вас не ударю. Чтоб у меня руки отсохли. Клянусь.

— Значит, я всегда буду вас ждать, — сказала она. — Клянусь, что так.

— И не буду с вами груб, — сказал он.

— Вы добрый, — сказала она. — Я тотчас поняла, когда вы из-за меня напугались.

Они стояли и разговаривали, не соприкасаясь. Её слова сверкали новым смыслом, как драгоценности на солнце, и он постигал их талантом вмиг влюбившегося и навсегда влюбленного. Его разбирала страсть, но он переборол себя и, взяв одну из ее тонких косичек, сунул в рот, — она ему позволила. Волосы слегка горчили, отдавая шалфеем и молодой полынью. Вбирая их привкус, он едва не забыл назначить еще одно свидание на том же поле.

Кузнец не узнавал сына. Парень, напевая, пережигал железо и, пританцовывая, раскатывал его на наковальне до полной непригодности.

— Рехнулся? — спросил усто Матрасул.

Шарипджан сгибом локтя убрал со лба пот и тут же выболтал свой секрет.

— Отец! — воскликнул он. — Мне хочется уставать. Мне очень хочется уставать. Мне хочется очень уставать. Очень.

Усто Матрасул не проронил ни слова, но пристально посмотрел на сына и на следующий день вновь заседлал ишака. Ехать было не близко, но хорошие мысли сокращают дорогу, а усто Матрасул думал о женитбе Шарипджана, и это не мешало ему попутно размышлять также о прочих приятных вещах. Сам он был человеком неученым, и мысли у него были проще некуда: что на глаза попадет, то и мысль. Бабочки пили воду из арыка — он думал: «Вот мотылек. Один день живет и все успевает». Летали сойки и стрижи — он тоже думал, что еще год-два, и этих птиц не будет, а вместо них полетят другие. Он оглянулся на прожитые годы, и жизнь привиделась ему краткой и однодневной, как у мотылька, но в этом уже предвечернем дне выпадали мгновения длиной во много лет, и в одном из них, самом запомнившемся, — любовь. Ему легко было сравнивать прошлое с быстрым, как у стрижа, полетом, и он затянул вполголоса песню. Она была очень старая, может быть, старше усто Матрасула раз в десять, но не собиралась умирать, потому что в ней пелось обо всех людях вообще и о каждом человеке в отдельности, и он с наслаждением цедил ее сквозь зубы, точно свежий айран.

«Когда я был молод, — пел усто Матрасул, — люди смеялись над моей бедностью, а я спал на земле и укрывался ветром, и ел черствый, как камень, хлеб, запивая его слезами бесчисленных обид. Но все это прошло, как пролетело. Теперь я богат и уважаем. У меня есть дом, у меня есть жирная пища и сладкое питье. У меня есть земля и скотина. У меня есть достаток и досуг. Чего только у меня нет! И все это я отдал бы, отдал бы, отдал бы за один миг, за один миг, за один миг минувшей, невозвратной, далекой своей...» Старики очень любят устраивать свадьбы, давать советы, оказывать услуги и всячески вмешиваться в дела молодых людей, потому что им кажется, будто они от этого становятся моложе.

А у молодых состоялась еще одна встреча. В поле уже стало белым-бело от созревшего хлопка, но луна была такая же полная, и Саёра почудилась ему чёрным тюльпаном в снегу. Она позвала его издалека, а так как это равносильно признанию, то он бросился ей навстречу сломя голову, и лучшие бегуны устыдились бы своих рекордов, если бы видели, как он бежал. Запыхавшись, он сразу же схватил ее и так приблизил, что между ними совсем не осталось пространства. Две капли ртути

сошлись, — кто не знает, что за этим последует? Шарипджан чувствовал себя как туго натянутый лук, но руки его были полны и заняты, прежде чем он отыскал тетиву. Это был шнурок шаровар; он его схватил и дёрнул.

— Шарипджан, — сказала она. — А если они не договорятся? Тогда «это» откроется, и отец меня зарежет. Я не боюсь, лишь бы вы знали. Зачем вам потом мучиться из-за «этого»? Вот. А теперь — как хотите.

Ей было почти шестнадцать, ему на год больше, но когда приходит «это», люди умнеют и начинают понимать, что «это» лишь на первый взгляд забава, а на поверку — такое же серьёзное дело, как жертва вечерняя. Он вмиг поумнел и понял. И нашел в себе силы отстраниться. И сказал, потирая лоб:

— Я не хочу вам худа — клянусь. И никогда не возьму вас против вашей воли, — клянусь, что правда. Потому что люблю вас, и это тоже правда, клянусь, Саёра.

На востоке вообще часто клянутся, это здесь в обычае, а влюблённые — те на каждом слове друг друга уверяют. Всем, кто познал природу любви, но не постиг ее сути, такие заверения кажутся легкомысленными, и потому часто говорят, что в этом деле, как и во всяком ином, один бывает хитер, а другой глуп. Конечно, эти люди заблуждаются. Им, не постигшим сути, так же трудно понять влюбленных, как рыбе верблюда, умирающего от жажды, и их суждения оттого несправедливы, что люди во все времена происходили не от хитрости с глупостью или обмана, а от любви, даже если она была очень недолгой. Да кто ж виноват? Они не были внимательны к чувству, и оно их покинуло. Вот они с тех пор и говорят: «Слову верь, но не забудь о залог».

У влюбленных всё иначе и слова их — совершенная истина долгого, как вечность, мгновения. Это ничего, что оно когда-нибудь кончается, главное, что оно есть, и человек охваченный цветением жизни и нетленной красотой земли под небом, говорит в душе примерно следующее: «Так будет и сегодня, и завтра, и через десять лет, и вечно, потому что я это люблю». Какой ему расчет себя обманывать, когда он знает, что любовь, кроме надежды и веры, ни в чем больше не нуждается.

Поэтому ничего особенного в том, что невеста слушала клятвы жениха, верила им и плакала от счастья, а затем сказала, что полагалось сказать и о чем немудрено догадаться. И расставание у них было веселым. Они уже оторвались друг от друга, когда Саёра окликнула Шарипджана:

— Любимый! Я буду ласкова с отцом, чтобы он не очень жадничал. Клянусь.

Радость, как убегающее молоко, поднялась у него по горлу и хлынула через край сперва смехом, а потом словами:

— Любимая! Я буду послушен своему, чтобы он не очень купился. Клянусь.

... Когда наступила свадебная ночь, усто Матрасул взял Шарипджана за ухо и, припомнив бабочек, птиц, безостановочное время, а возможно, и еще что-нибудь, шепнул, чтобы никто не расслышал:

— Счастливо, сынок, лететь.

Шарипджан полетел. Он парил над чудесным сказочным озером, то касаясь водной глади, то взмывая в небесную синеву, а летелось ему легко и свободно. Оттого он и решил, что любовь — это полет. Жена не согласилась и сказала, что любовь — это видение: дивные разноцветные полосы, плывущие перед глазами. Но что они ощутили вместе, так это сильный аромат горных фиалок. Цветы эти бывают только по весне, и у них очень нестойкий запах, быстро исчезающий, но они его уловили и поладили на том, что любовь — это весна, хотя какая же весна, когда на дворе стояла глубокая осень и накрапывал дождь.

Детей у них было меньше, чем у усто Матрасула с Хуршидой, — всего девять. Однако покойный отец не ошибся, и Шарипджан в самом деле чувствовал себя счастливым, когда пересчитывал их на ночь. А если в доме никого не было, он иной раз говорил постаревшей, дородной жене:

— А ведь ловко я вас тогда на поле подкараулил, а, Саёрахон?

От бывлой Саёры остались одни брови да улыбка, но он этого не замечал. Люди, долго и ладно живущие вместе, совершенно перестают замечать друг в друге внешние перемены, потому что десять лет у них сходит за год — за такой срок разве переменишься? Она слегка улыбалась и отвечала ворчливо:

— Сумасшедший! Только такой безумец, как вы, способен в своём безрассудстве так пугать честных девушек.

Слова тоже были другие, но он и этого не замечал, понимая всё, как надо: сумасшедший — любимый, безумец — возлюбленный, безрассудство — любовь. Сам он давным-давно стал кузнечным мастером, и все называли его не иначе, как усто Шарипджан. Двух дочерей он отдал замуж, трим сыновьям взял жён. На очереди был четвертый с предстоящими расходами. Его звали Эгамбергён, он служил в армии, где-то в Вышнем Волочке, и вот-вот должен был вернуться насовсем. Дома его ждали и готовились, но тут как раз произошла, не сказать неприятность, но, в общем, неожиданность: усто Шарипджан получил сразу два письма в один день, чего никогда прежде не случалось.

Первое — от сына. Тот писал, что заедет на неделю к другу в Харьков и, стало быть, задержится. Приятного, конечно, мало, но что ж делать? Пускай. А вот другое... Оно пришло неизвестно от кого: обратного адреса на нём не было, и — какая дерзость! — предназначалось не Шарипджану Матрасулову, а Эгамбергену Шарипджанову, — возмутительно. Недрогнувшей

рукой кузнец вскрыл оскорбительный конверт, и буквы заплясали на строчках в неразберихе смутных предчувствий.

«Моему многожданно возлюбленному, который теперь окончил службу и приехал домой из далёкого, цветущего и непобедимого города Вышнего Волочка, — любовь, счастье, привет».

Начало было довольно обычным, но само послание оказалось, конечно, потрясающим: некая бесстыдница пишет сыну, минуя живого отца, и о чём! Какая наглость! Какая беспримерная наглость! Кузнец сердито дёрнул ногой и чуть было не опрокинул чайник. Но дальше:

«Любимый! Это письмо да ляжет вам на руки не раньше того, как вы обнимете ваших глубоко почитаемых мать, отца, братьев, сестер, родственников и друзей, после чего наступит черёд тех, кто вас ждал наедине с дыханием».

По форме письмо как письмо: во-первых, мать. Это правильно и все знают. Кому человек обязан делать добро во-первых? Матери. Во-вторых? Матери. В-третьих? Матери. В-четвёртых? Отцу. Эгам, когда приедет, подойдет сначала к Саёре-хон, а затем к усто Шарипджану, — детям так полагается. Себя она ставит на последнее место, а надо бы ещё дальше. Скромность — украшение девицы, а терпение — ее достоинство. Но как же он, отец, не упас своё стадо? Когда же они успели снюхаться?

«Как здоровье ваших родителей? Благополучно ли доехали? Не болят ли ноги? Не проголодались ли? Не утомились? Не холодно ли вам было? Не огорчены ли чем? Не встревожены ли?»

Всё, как следует, ничего чрезвычайного. И причин писать скороспешно усто Шарипджан не видит. Не успел парень вернуться... нет, в его времена так поступать было предсудительно.

«Любимый! Отдохните с дороги. Вкусите досыта еды. Успокойте сердце хорошими вестями. Развеселитесь в собрании родных и друзей. Приласкайте младших сестер и братьев. Вы приехали — слава Богу. Я так все старательно высчитала, что мое письмо должно достигнуть вас лишь на третий день вашего счастливого пребывания дома. И не сердитесь, любимый, что на большее у меня не хватило терпения».

Начинается. Это скверно, когда терпения не хватает. Конечно, в молодости усто Шарипджану самому бывало невтерпёж, но это было давно. С тех пор он образумился и постиг мудрость: спешка к богатству не приведёт, суета уважения не прибавит. Девушке — тем более.

«Ваше сладостное послание о скором приезде я получила на почте в отделе «Секреты по паспортам», и вы там ещё напишите, что, приехав, будете говорить с отцом о нашем деле».

Что делается, а? Что творится! Секреты по паспортам! От кого секреты? От усто Шарипджана? Чтобы он, значит, не лез устраивать судьбу собственного сына, раз за это взялся какой-

то богомерзкий почтовый отдел. Ну, нет! Он пойдет на почту. Он им покажет секреты. Они там у него ещё запрыгают, сводники. Он им... Он им...

«Любимый! Прошу вас, не торопитесь обсуждать наше дело с родителем. Пожалуйста. Поговорите сначала с теми, кому вы милей дорогой души, кто вас два года ждал с надеждой и верностью и кто теперь ждет со слезами горести и печали, пр...»

Наверное, «простите». Здесь она, похоже, не сдержалась и заплакала, и капля размыла слово до неузнаваемости. Какая там беда! У всех у них беда одна: просватали, замуж выскочила, потому и «простите». Усто Шарипджан обозлился еще больше и загадал в сердцах: «Если она так и скажет, не стану больше читать, порву. Притворщица! Хорошо, что Эгам не знает».

«Любимый! Поистине, весна пришла для завистника и миндаль расцвел для врага. Журавли пролетели в вашу сторону, а я с горя даже не заметила, какие у них крылья. Я берегла вас от неприятностей и о беде своей не писала, пока сама справлялась, а минувшая неприятность и обойденная беда не стоят ваших тревог. Беды мои начались вскоре после того, как вы отбыли свой отпуск и уехали от меня так далеко, что холодно подумать».

Подходяще выражается, красиво. Сердце стало помягче, а от частого повторения слова «любимый» у усто Шарипджана засластило под языком, и он сбил набежавшую слюну большим глотком чая. Если бы можно было по неживым словам определить внешность, как по голосу, он бы на нее при этих строчках взглянул, не удержался.

«Любимый! Отец сказал, что я уже выросла и пора отдавать меня замуж. К нам тогда же приезжали рядиться, но не сошлись в цене: отец просил десять тысяч, а от жениха давали только семь. Я его видела. Он моложе меня, совсем мальчик. Он сидел, ел плов и на меня, жующий и глотающий, не обращал внимания, а его отец посмотрел и прибавил еще тысячу. Отец мой все говорил жениху: «Кушайте, уважаемый! Насыщайтесь, уважаемый!» — и не сбавлял цены по жадности. Мне стало страшно, и я убежала, потому что испугалась: а вдруг он, этот насыщающийся, тоже на меня поглядит и тогда они столкнутся, а мне — закрылись бы глаза его видеть».

В своем несчастье она сделалась привлекательней, в ее словах была улыбка сквозь слезы, и усто Шарипджан тоже нехотя улыбнулся. У нее теперь были заметны внешность и характер; то и другое чем-то напоминали кузнецу его Саёру в молодости, если бы не брать ее в жены из шестого класса, а дать доучиться. Впрочем, кто скажет? Усто Матрасул забрал Шарипджана из школы и был прав, когда сказал: «Хватит семи», а усто Матрасул, да читается его могила, знал, что делал.

«Любимый! Тогда я поняла, что жадность отца — мое спа-

сение, и стала молиться, чтобы Бог благословил жадных и утроил их желания. Я надевала лучшие платья. Я беспечно пела и беспричинно смеялась, так как знала: если буду печалиться и плакать, то стану некрасивой, и отец умерит цену, — разве я этого хочу? Мне удалось. Отец призвал меня и говорил со мной. Его слова: «У тебя на редкость красивые глаза. Это удивительно, что я раньше не заметил. Ты, верно, обрадуешься, если я наброшу по тысяче на глаз и мне тогда хватит на машину. Поздравляю, ты стоишь двенадцать тысяч, ступай». И подарил мне новые туфли.

Он не ошибся: моей радости не было предела. От нас отступились все сваты. Душа моя ликовала, когда я думала: «Кто меня возьмет за столько!» — или слышала, как люди в кишлаке называют отца продавцом с неправильными гирыми».

Усто Шарипджан прикусил палец, но тут же стал смеяться громче и еще громче, пока не расхохотался вовсю. И эта девочка стала вдруг очень симпатичной и нравилась ему все больше и больше за ум, за сноровку, за характер. Пусть только не подумают о нем плохо: она ему нравилась не для себя, а для Эгамбергана. «Крестьяночка, — убежденно размышлял усто Шарипджан, — у городских догадки не хватит. Ради такой можно и не поскупиться». Он был в курсе рыночных цен на невест. Выше всего котировались школьницы, особенно сельские, — пять-шесть тысяч. Второй сорт — студентки и перезрелые девы с дипломом, — две-три тысячи. Наконец, самый отброс — дочери всяких начальников и ответственных руководителей. Ни один благоразумный узбек не давал за них ни гроша зная, что взбалмошная, капризная, раскормленная сноха побежит жаловаться родителям при первой же семейной неурядице и станет позором для дома. «Поэтому, — решил усто Шарипджан, — крестьяночка — лучше всего. Эта подойдет».

«Конечно, радость моя была ложной и должна была когда-то кончиться. Я только и ждала вашего возвращения, только и снилось мне: скорей бы вы приехали, скорей бы вас увидеть, а там как скажете. Я понимаю, что девушке приличней ждать, чем торопиться, и мне стыдно, что спешу, но как же не спешить?»

Любимый! Я больше ничего не могу. В воскресенье приедут новые сваты, а жених — большой богатый человек, не имеющий возраста, и люди его очень за деньги уважают и боятся, говорят, будто он всех купить может. Отец велел мне принарядиться и закупил хны, сурьмы и дорогого розового масла. Мать меня утешает, говорит, что любовь проходит, а дети остаются, но это неправда и несправедливо к бездетным, которые всю жизнь любят друг друга, иначе зачем бы им быть вместе? А я не хочу, чтобы она проходила. Пусть будет. Если она пришла раньше, пусть будет».

Усто Шарипджан дочитал до точки и задумался: тут была

какая-то другая любовь, не такая. Ему сделалось не по себе, когда он, пошарив в памяти, обнаружил, что его опыта не хватает и мера его мала. Он много слышал на веку и уже сам с годами подумывал, что дети — это прекрасно, а все остальное, что с ними связано, гадко, мерзко, отвратительно. Но вот найдется какая-то девчонка и заявляет, что это совсем не так, и Шарипджан незаметно начинает сомневаться и даже думать, что она права. А это значит только одно: его сын встретил столь сильное ответное чувство, которое само по себе и вера, и надежда, и сила, и всё. Это и прежде было редкостью, а теперь и вовсе. Такие, как она, или находят свою половину и всю жизнь не знают старости, или обливаются керосином и . . . Беда!

«Любимый! Лучше бы вам приехать, когда я была дешевле, и для вас не было бы такого разорения. Любимый! Не верьте, что это я сама себя так обозначила. Три года уже с того дня, как вы в саду протянули ко мне руки, и я в них вошла, чтобы не оставить их пустыми. Разве я взяла с вас за постой, как с гостя? Ведь вы были у себя дома. Разве я думала тогда о чем-нибудь, кроме ваших слов? Разве я сейчас забочусь о цене, которую выдумали другие? Вы — моя забота. Ваша любовь мне цена».

Что делать! Проходит время, и все меняется, даже любовь. Значит, в саду. Но почему в саду, когда в поле тоже неплохо: людей нет, от жилищ далеко. А в саду мало ли кому бродить вздумается. Увидят, засмеют, опозорят, «джалыб» скажут. Это про любовь-то! Вай, сколько людей на свете, которые не смыслят. Бедная девочка, как же с ней теперь быть?

«Любимый! В пятницу я отпущусь к тете и приеду в Хиву. Мы с подругой будем гулять от мазара Палван-атá до минарета Ислам-ходжа, и я буду ждать вас днем от одиннадцати до двенадцати, а больше не смогу. Прошу вас, поспешите, спасите.

Боже неумирающий, помнящий! Если любовь, как и все хорошее, происходит от тебя, вспомни людей, которые любили раньше, и взгляни на нас».

Дальше того не было ни даты, ни подписи. Штамп стоял хивинский, позавчерашний, он не примета. Тетя, проживающая в Хиве — тоже. Внизу с двух сторон письма — черточки: невзрачные, бессмысленные, чепуха какая-то. Словом, ничего. А усто Шарипджану надо знать, кто писал. Обязательно. Имя надо знать. К пятнице. Во дворе и на календаре госпожа Вторник. Всего два дня. Мало.

Среду он промолчал. В четверг наспех оделся и первым автобусом отправился в Хиву. Жене сказал, что по делу едет, а по какому, не сказал, да и она и не допытывалась. Дело же намечилось у него вот какое: Хива — город-музей и заповедник, это раз; в нем много знающих людей, ученых, образованных, — два; его там никто не знает и он никого не знает, можно говорить обо всем напрямик, — три: он им покажет письмо, и они

разгадают имя той, что его писала, — четыре; ведь не бывает же так, чтобы человек позвал на помощь и спрятался от спасающих, — пять; разузнав имя, он час в час пойдет к указанному месту, — шесть; по имени он ее отыщет и поговорит, — семь; а о чем ему с ней говорить — забота восьмая. Короче, хлопот было достаточно и само дело казалось запутанным клубком, где не за ту нитку потянуть, значит, запутать его еще безнадежней.

Усто Шарипджан ходил из отдела в отдел. И показывал злощастное письмо. И все его читали. С интересом читали, с оживлением, может быть, потому, что чужая беда от века интересней, чем своя. Он терпел и ждал. Ему отвечали невпопад, кто как. И ни один умник не сказал ему то, о чем он спрашивал: имя.

Начал он с безбожного отдела, словно поддавшись соблазну сперва испытать в подобных делах способности нечистого духа. Должность сатаны, к его удивлению, отправлял благодушный пловный мусульманин, сетовавший на зарплату, зловонно дышавший чесноком и время от времени уснащавший свою речьсылками отнюдь не на классиков научного атеизма.

— Бисмилля́хи рахма́н-рахи́м! Вы что же, уважаемый, вправду хотите двенадцать тысяч платить?

— А вам что за дело, почтеннейший? Я их у вас одалживать не собираюсь.

— Это верно. Да ведь цена, знаете... Не по базару цена. Жаль вас.

— Чужие деньги зачем жалеть?

— Да ведь они, уважаемый, хоть и чужие, а деньги. Аллах акба́р! За полстолько можно сосватать.

— Уж не дочь ли вашу?

— Ну что вы! Моя дочь, машалла́, хе-хе, бутон ненюхан-ный, трижды двенадцать стоит.

— Ой, не купят.

— Подождем, нам не к спеху.

— Вот видите, а мне к спеху. Не сойдемся. По делу что хорошего скажете?

— А что тут сказать? Ля илля́хи-лля! Непристойное письмо, уважаемый, только и всего. Приличной девице совестно так писать.

— Я вас не о приличиях, а о деле. Звать-то ее как?

— Не знаю, уважаемый. Неизвестно.

— А эти палочки?

— Ребенок баловался.

— Они с двух сторон, — видите?

— С двух сторон побаловался. Дети, они — иншалла́! — чего не нацарапают...

Этнографическим отделом заправлял грустный подслеповатый старик, не желающий уходить на пенсию. Он долго мусо-

лил письмо, вчитываясь по складам, как малограмотный, и наконец спросил:

— Для чего ж вам невестка с порчей? Брали бы целую. Не родной сын, что ли?

— Родной. Порчи не вижу.

— А я вижу. Ясней ясного вижу.

— Да ведь не для вас стараюсь.

— Ваша правда. А только сына родного грех обижать. Мало ли чего ей написать вздумается. Употребленная женщина. Года три не на глазах...

— Да хоть десять.

— Ну, если вам все равно... За нее теперь больше двух тысяч никто не даст.

— Почему же никто? Я дам.

— У вас их много?

— Ровно на одно счастье.

— Богатый! Не было бы несчастья.

— Не беспокойтесь. Скажите лучше, как имя.

— Вот об этом в письме как раз ничего нет. Что не девушка, это есть, а насчет имени...

— А эти закорючки?

— Без значения. Кто-то бумагу пачкал от делать нечего да бросил. А какая-то имеемая подобрала и глупости понаписала.

В отделе истории дореволюционного периода на главном стуле восседал молодой жизнерадостный шалопай с институтским ромбом на лацкане, а вокруг стола расселось еще человек пять бездельников с пиалами и анекдотами. Письмо прочитали вслух, резвясь и хохоча до упаду. Затем шалопай сказал:

— Слушай, дядя. А может, это шутка?

— Какая шутка? Разве этим шутят?

— Ха, еще как! От шуток сейчас народ размножается, дети рождаются. Сам женат, знаю.

— И много нашутили?

— Ого! Да ты острослов, я вижу. Надо с тобой по-серьезному. Кроме смеха, гляди сам. Подпись есть?

— Нет.

— Адрес?

— Нет.

— Число хотя бы?

— Нет.

— Вот видишь! Анонимное письмо называется.

— Какое?

— Анонимное. Один человек, сказать, обиду держит на другого. Взял и написал. Для огорчения и скорби. И не подписался.

— Почему?

— Чтoб глупцы, вроде тебя, спрашивали. Если бы тебе на улице кто-нибудь сказал, что твой сын — Мадрайм-хан, поверил бы?

— Нет.

— А говоришь! Анонимное так и есть. Ты его, дядя, порви, выкинь, а на чёрточки-вёрточки внимания не обращай. Баловство это. Шутка плешивых. Вопросы есть?

Вопросов не было. Кузнец без сожаления покинул отдел проклятого прошлого и направился в современность, называемую по-научному отделом советского периода. Его там встретил одинокий джинн средних лет с гладкой прической, блудливыми глазами и носом, свернутым на сторону. Ознакомившись с письмом, джинн выкатил грудь, задрал голову и, называя усто Шарипджана «дорогим товарищем», сразу же нагнал на него страху длинными, зычными заклинаниями, из которых следовало, что нынче сильно возросло число ранних браков, а это приводит наше общество к неправильному пониманию женского вопроса и к идейной отсталости женщин, которые вынуждены день и ночь заниматься детьми и мало работают над собой, что очень вредит движению вперед и вперед. Пусть, сказал джинн, усто Шарипджан срочно разыщет эту кандидатку на умственную отсталость и приведет к нему, а он в свободное от дел время учинит с ней чудо, от которого всем будет хорошо, а усто Шарипджану всех лучше. Виновников же сватовства джинн призвал найти и подать на них в суд.

— Безобразие! — бушевал он. — Уголовное дело! Предрассудки! Двенадцать тысяч! Грабеж! Преступники! В тюрьму их!

— Зачем? — возразил усто Шарипджан. — Многие так женятся. Я так женился. Вы так женились. Тюрем не хватит сажать. Работать будет некому.

— Можно через газету, — не унимался кривоносый дух. — Главное, выяснить, кто по области хочет в воскресенье свататься и к кому.

— Не подходит.

— Ну, по телевизору. Это интересно. Сейчас почти везде телевизоры.

— Не везде.

— Тогда по радио. Радио, дорогой товарищ, это такая вещь! Пропаганда новой жизни и борьба с пережитками феодально-байских отноше...

Бедняга! Он слишком долго просидел в бутылке и перестал понимать живых людей. Усто Шарипджана не устраивали ни борьба, ни пропаганда — ему нужно было совсем не то. И тем не менее, грязный, обшарпанный, лохматый дервиш из отдела археологии посоветовал ему буквально то же самое:

— В пятницу приходите с утра. Зачитаем письмо через микрофон. Пригласим. Весь заповедник услышит и она тоже. Прискачет.

— Прискачет?

— Как джейран. Не понимаете? Она ж бессовестная.

— Как — «бессовестная»?

— Э-э, слушайте. А кто сейчас не бессовестный? Все такие. Где совесть была, там знаете что выросло? Прибежит.

— Ошибаетесь. Она убежит.

— Давайте спорить. На сто рублей.

— Давайте. На стриженую бороду вашего родителя.

— Ну, что вы так! Я с вами серьезно.

— А я разве шучу?

— Так отец же!

— Конечно. Моя невестка хуже вашего отца? А ваш палец толще моих чресел? Кто вам это внушил?

— Да-да, — смутился дервиш. — Как-то не подумал, извините.

Усто Шарипджан извинил дервиша, но страшно расстроился. Это до того было заметно, что в отделе природы ему по прочтении письма так и сказали:

— У вас что, в самом деле, горит? Вам очень нужно? Но, клянусь, из письма ничего не явствует. И эти палочки, — никакой это не иностранный, а случайность. Ой! Погодите. Вы в прикладном искусстве были? Сходите-ка туда и спросите Убайдулла Рахматуллаева. Он, правда, тоже вряд ли скажет, как зовут, но определит по почерку, кто писал: мужчина, женщина, характер, возраст, понимаете?

— Мужчина, женщина, так, так. Прикладное искусство?

— Прикладное.

— Рахматуллаев?

— Рахматуллаев. Он не наш, ферганский. Узнаете.

— Узнаю.

И он, действительно, узнал. У ферганца было веселое, смуглое, скуластое лицо, разлтые брови, краткий, настырный нос и глаза с прозеленью. Он стоял согнувшись, разглядывал кусок резной балки, мурлыкал песню о продавце халвы и был похож на Ходжу Насреддина, отдыхающего после озорства. Усто Шарипджан даже засомневался, стоит ли обращаться к такому веселому человеку по делу, слишком для всех затруднительному, но выхода не было, и он решил: отдал «салям», получил «алейкум», выложил письмо и объяснил нужду. Лицо у ферганца, едва он принялся читать, посерьезнело, но живость не пропала, лишь спряталась в глубине глаз, и песню свою он не бросил. Усто Шарипджан почувствовал неловкость в ногах и без спросу опустился на стул, зорко следя за шустроглазым ферганцем. Тот вдруг поморщился, щёлкнул языком и проговорил, переключая речь песней:

— Девушка писала. Только-только школу закончила. Халвачи, халва... Или кончает, — не знаю. Молодая. Не старше восемнадцати.

— Так, так, так, — пощрительно затоковал усто Шарипджан.

— Характер, уважаемый, как бы вам сказать... Неровный

характер, не выпрямился, а показывает — ох-хо! — сколько показывает. Так прямо и заявляет: да — значит, да; нет — значит, нет. Халвачи, халва...

— Так, так, так, так, так, так, так, — неожиданно для себя подтянул мелодию усто Шарипджан.

— Бай-бой, уважаемый! Шахсанём, Ашик-Гаріб! Тахír, Зухрá! Лейли, Меджнún! Фархád, Ширín! Халвачи, халва! Юсу́ф, Зулейхá! На одну жизнь девочка, уважаемый.

— Говорите, любезнейший, говорите.

— На одну жизнь, говорю. Отдай две ладьи, не отдавай Диларóm. Сыну вашему, уважаемый, или счастье привалило, или...

— Или?

— Напасть. Всем. Вай-дод, какая! Не оберешься. Тому, другому, третьему. Всем! Кроме вашего сына, как уже сказано...

Ферганец опять прицелкнул, всохотнул и запел о халве. Не прерывая пения, он взял линейку и, вымерив текст вдоль, поперек и по диагонали, объявил, что акростиха в письме нет. Потом он разгладил листок на ровной дощечке, повертел ребром на уровне глаз и сказал, что криптограммы тоже нет. После этого ферганец проверил письмо на шифры, которыми пользуются влюбленные для сокрытия тайн. Шифра не было. Тогда он вынюхал листок сверху донизу и фыркнул по-кошачьи.

— У безбожников были?

— Да.

— Худайкúлов из командировки вернулся.

— Не знаю, любезнейший. Он не назывался, я не спрашивал. Дело у меня деликатное, сами понимаете.

— Толстый такой. Он чеснок любит.

— Истинно! Истинно! Не продохнуть.

Оба вдоволь посмеялись, и ферганец продолжил возню с письмом. Он еще долго перевертывал его, скручивал, стибал, считал строчки и даже составил несколько хронограмм, потому что, как он объявил, люди иногда заменяют буквы цифрами, а усто Шарипджан ждал и боялся пошевелиться. Но вот ферганец подошел к окну, посмотрел сквозь исписанную бумагу на свет и пропел о халве без обычной задумчивости.

— Её зовут Ранó, — сказал он.

— Этого не может быть, — воспротивился кузнец. — Откуда... откуда вам... это... известно?

— Взгляните сюда.

Он подвел усто Шарипджана к окну, уложил бумагу на стекло, придерживая ее сверху и снизу пальцами, и усто Шарипджан увидел обыкновенное и удивительное: палочки, закорючки и каракули, написанные с двух сторон и неприметные в строчках, как птицы в листве, теперь проступили со всей четкостью, сложились в буквы, и он собственными глазами прочитал женское имя, то самое, которым сын дважды бредил во сне,

а Саёра подслушала — у нее, как у всех матерей, сон птичий, чуткий . . . Минуту-другую усто Шарипджан обалдело глядел то на ферганца, то на письмо, а придя в себя, сказал с торжеством в голосе:

— Мулло! Вы великий алім! Вы настоящий ученый! Вы нужный человек! Остальные — хе! — зря переводят хлеб и не стоят опивков из вашего чайника. Вы умеете всё. Теперь я знаю, что надо.

Кузнец ухарски сбил тельпак набекрень и прокричал с порога:

— Еще свидимся! Высокая честь! Я приеду! Без вас не сядем! Только по правую руку! Высокая честь! Скоро увидимся! Яхши!

Кино! Усто Шарипджан кричал, махал руками, утратив степенность, и убежал по-мальчишески, а ферганец смеялся зубатым ртом и зелеными глазами до тех пор, пока не заметил на полу бумажку. Как жаль, что деньги глушат песню, прерывают смех и отвращают людей друг от друга, но что было делать Ходже Насреддину, если эта бумажка цвета его озорных глаз превышала полумесячный заработок, — не выбрасывать же ее в урну. Он ее поднял.

Дальше — проще. К назначенному часу кузнец сидел у минарета, и вся улица до мазара Палван-ата была перед ним, как на ладони. Из пёстрого потока прохожих и проезжих ему не составило труда выделить двух подружек и исподволь их разглядеть. Обе были до того хороши собой, как хороша только молодость или весна, или раннее утро, и он так долго на них украдкой смотрел, что наворовавшись, почувствовал себя совсем еще не старым. Это его огорчило, так как он не мог отдать предпочтения ни той, ни другой, а ему нужна была только одна: Ширин. То есть, Диларом. А по нынешним понятиям — Рано. Трудность заключалась теперь в том, что он не мог подойти к женщине, не назвав ее по имени, а кто из них Рано, он не знал. Если бы он был европейцем, то наверняка позвал бы милиционера, а тот сказал бы парочке: «Ваши документы?» — и расстроил бы все дело. Но он не был европейцем и, кроме того, ему надо было устраивать, а не расстраивать. Поэтому он подумал: одна из них должна искать Эгама, — кто? Он следил и не мог отгадать: обе они кого-то высматривали, обе были встревожены и вели себя, как молодые двухлетки, отбившиеся от табуна. Нет, здесь нужны были глаза Эгама, и ни один мудрец в мире не мог его заменить.

Когда усто Шарипджан это понял, с ним произошло небывалое превращение: взгляд вдруг стал мягче (он успел этому даже удивиться), сердце выросло и ткнулось мощным толчком в частотол грудной клетки, дыхание сделалось прерывистым и торопливым, словно он опять гнался за Саёрой по хлопчатнику, на лбу проступил пот, и он стер его несгибом локтя, а как Эгам,

— большим пальцем правой руки. И посмотрел не воровски, а напрямик. И узнал. Это была она, то есть, только она и никто другой.

Он подошел, поздоровался и, не дав опомниться, сказал, будто знал ее раньше, чем с ней Эгам познакомился:

— Вы Рано.

Девушка ойкнула, схватилась ладошками за щеки, и глаза у нее округлились от страха.

— Успокойтесь, — улыбнулся усто Шарипджан. — Я отец Эгамбергена. А как зовут вашу подругу?

— Джумагуль.

— Прекрасное имя. Сходите, Джумагуль, в мазар и сделайте намаз. Большой. За всех, кого знаете. Мы подождем...

— Я прочитал ваше письмо, — сказал усто Шарипджан, когда они остались вдвоем. На глазах у нее навернулись слезы.

— Простите... — прошептала она, и голос ее пресекся.

— Не плачьте, — утешил он ее. — Все хорошо. Вы очень умно сделали, что написали... Когда Эгам в отпуск приезжал, мы с матерью его почти не видели. Это он с вами скрывался?

Она промолчала, будто «да» ответила, и кузнец удовлетворенно хмыкнул, раздавшись усами насколько улыбка позволяла. И все было пристойно. Мимо проходили люди, и никто не посмотрел на них дольше, чем смотрят на отца с дочерью. И разговор у них получился длинный. В самом конце усто Шарипджан не удержался и спросил:

— Почему же все-таки двенадцать?

— Не знаю. Машину отец захотел.

— Он продешевил. Вы стоите больше.

— Я не знаю.

— Конечно, откуда вам? Эгамберген знает. Только не знает, что у нас почти уже все готово, а, детка?

Она засмеялась, и смех у нее был серебряный от счастья.

— Завтра, значит, и приеду, — продолжал кузнец. — К вечеру. У вас заночую. А чего нам воскресенья ждать, когда суббота раньше, верно? И дам отцу выкуп. — В затылке у него шевельнулась расчетливость, прежде чем он сказал: — Десять так десять. — Но щедрость взяла верх, и он добавил: — А двенадцать, так двенадцать. — Что касается благородства, то это чувство нерасчетливо и беспредельно, потому что усто Шарипджан вдруг прихвастнул: — И вообще сколько запросит, столько дам. — Тут вмешалась практичность и положила предел благородным порывам души старого кузнеца, подсказав ему, что есть еще и другие дети. Вот отчего усто Шарипджан дернул себя за бороду и очень ловко выкрутился, шепнув девушке в ухо:

— Только это тайна, и никому ее нельзя доверять.

На следующий же день усто Шарипджан поехал сватать сыну невесту. Сколько он за нее заплатил или они так пола-

дили, был ли торг длинный или короткий, — ничего об этом не известно. Сватовство дело тонкое, и лишних людей туда не пускают. А когда тесть пошел провожать свекра, все видели и понимали, что уговор дороже денег.

Вот, пожалуй, и все, хотя можно и продолжить. Приехал сын, сыграли веселую нарядную свадьбу, было много гостей, а это такой народ, что издалека приходят, если прослышат, что молодые по любви женятся. И зрелищ хватало: дрались призывные бараны, боролись борцы, ходили по канатам акробаты и потешали всех шуточками. И цветы были, и музыка, и песни, и танцы, а в Хорезме танцевать умеют, как нигде. На женихе был моднейший костюм джазового цвета, а невеста была в совершенно диковинном хан-атласе и в бархатном жилете золотого шитья.

После брачной ночи жених, а точнее, молодой муж навещал тестя, — это непременно полагается делать. Тот раскинул по такому случаю новый нетоптанный ковер, и зять, ставши посередине, выразил тестю чувствительную признательность за то, что его дочь оказалась честной девицей, без порчи, без изъяна и безо всякого женского недостатка. Дружок, ферганец, похожий на Ходжу Насреддина как две капли воды, призвал Бога в свидетели и клятвенно заверил тестя, что зять изрек истинную правду. Тесть, в свою очередь, поднялся и поблагодарил зятя за пролитую дочернюю кровь, за которую единственно не взыщут, а в ноги кланяются. Затем ферганец скатал ковер в рулон и по праву забрал себе. Это очень выгодно быть на хорезмской свадьбе дружком жениха с правой руки.

Свадьба длилась целую неделю. Гуляли, рассказывают, так, что запах шашлыка и плова доносился до соседнего кишлака километров за пятнадцать. Другие оспаривали это, утверждая, что до того кишлака вовсе не пятнадцать, а вдвое меньше. Впрочем, находились и такие, что бессовестно уверяли, будто ветер дул совсем не в ту сторону. Это вредные люди. Никто их на праздник не приглашал, они сами пришли, да напившись, наевшись, нагулявшись, стали говорить всякий вздор. Их послушать, так любви-то и вовсе на свете нет. Болтуны несчастные! Кто им поверит?!

Трещина

Домашние на Федосеича по соседям не наплачутся, — надоел, говорят, за год под одной крышей и никому от него спасения: что ни ночь, то он в атаку пошел, а туда с хорошими словами не ходят, все проснутся и слушают, и дети малые слушают, как он немца своего предпоследнего душит — не удушит, а разбудить, он тогда вовсе не спит. У него с войны то ли нервы не в порядке, то ли голова. Савке очень хочется поточней это выяснить, а пока известно лишь только одно: если дать ему перед сном выговориться, он уже не кричит и до утра ведет себя прилично. Вот и ночует Федосеич с мая по сентябрь в саду; сбил там пару топчанов под навесом, накидал сена, укрыл рядом, сверху кожух и ждет Савку сумерничать вместе и слушать, а сам будет рассказывать. Его рассказы необычны и сверх всякой меры удивительны тем, что героизм в них от злодейства ничем почти не отличается, а если отличается, то лишь лишь, и каждый воинский подвиг вследствие этого теряет нравственное величие примера как для подрастающего поколения, так и для всех вслед за ним грядущих.

— Так вот, — начинает Федосеич ровно-гладко. — Заступили мы, значит, в Германию, — и сразу вынуждает Савку насторожиться. — Смотрим, а там никого нет. — И смеется.

Он всегда хватает событие покрупней, чтобы потом вокруг него топтаться на память, а она у него, как рассыпанная мозаика; отдельными вразброс кусками собирает он из нее что-то цельное, хотя картина чувствуется необъятно большая и Федосеич в ней центральный герой, не разовый какой-нибудь Советского Союза, невзначай-зажмурясь живой остался, а постоянный, — полный бант Солдатской у него Славы, вроде Георгий, один к одному — четыре, не считая прочих мирозащитных наград, и за каждым орденом или медалью непременно подвиг, которым он с Савкой для того и делится, чтоб из памяти его долой.

В Германию он заступил танковым десантом в сорок четвертом году и въехал без выстрела в городок, по всему видать, не наш, потому что магазины стояли непограбленные, улицы метёные, дома петушком, и тихо везде, не поймешь, в каком уже звенит. Перед тем, как наступать, Федосеича и весь личный состав строго предупредили быть начеку, так как немецкая тишина — это вражеская тишина, обман, словом, и провокация, а по факту каждый дом — Брестская крепость, шифоньеры —

огневые точки, эсэсовцы засели, не чают подкараулить Федосеича, как тетерку на тяге, и все у них продукты — это ж додуматься! — ядом потравлены, упаси Бог на язык, сперва на немцах проверь, а потом уже сам, — такая стояла перед ними задача. А раз уж прибыли, значит, «За Родину!» и «Ура!» человек по семь — по восемь на каждую брестскую крепость. Связку гранат в дом, дверь закрыли, ждут, пока там рванет, а после уже команда: «Один на выходе, остальные за мной!» — и ну, кто во что: шкаф, сундук, рояль, — может, он, гад, в рояле залег и Федосеичу жизнь прекратить мечтает. По роялям стрелять, ну, до чего интересно! Он весь на лучинку идет — дров не надо, а сам здоровый, гудит, как сатана, только струны лопаются. Надымили, гарь глаза ест: «Хенде хох, — кричат, — Гитлер капут, справа по одному выходи!» И хоть бы собака. Туда-сюда глядь! — ни живой души, а добра... отрезы-мотрезы, ботинки-мотинки, посуда-мосуда... Стоят все, переглядываются, варезжки поразинули, языки в задницу втянуло. Вот где сказать, все есть, так правда, только взять нечего: все в дырках, побито-поломано, наперстка не найдешь целого. Повоевали против ветра наудалую, Федосеич и говорит: «Вы, — говорит, — хлопцы, как хотите, а ефрейтор Воскобойников стрельбу закончил, никакой это не грабеж, одна порча имущества». Автомат за спину и пошел по соседству. И наладил в родные места первую посылку. А в домах никого. И во всем городе тоже.

— Что ж выходит? — сокрушается Федосеич. — Не населенный это был пункт, а совсем даже без никакого населения. — Он поворачивает голову к Савке. — Ты, Савелий, можешь себе это понять? — спрашивает.

Савка хоть и молод, но не из тех, кому лапшу на уши можно вешать, и в необитаемые города он, ясное дело, не верит.

— Не может быть, чтоб никого в целом городе, — возражает он непоколебимо. — Поискать надо было. Как же! Небось, не хутор. Кто-нибудь да был. Испугались, попрятались...

— Ну! — отводит Федосеич взмахом руки возражения. — Была одна всего бабка ветхая годами, лет ей сто, если не с гаком, не знаю, где ее старший сержант располол и на что: не то напоказ, не то для проверки продуктов. Из нее даже кровь не выступила, как он ее автоматом посек, до того старая, — это население, что ли? А продукты не травленные, можно есть.

Топчан под Савкой скрипит. — И сержанту твоему старшему ничего за это не было? — допытывается он у Федосеича.

— А что ему должно? — спрашивает тот, позевывая.

Савка вскакивает. — Как что? — ерзает он по сему. — Как что? Живьем под танк и — первую скорость. Он же бандит! Ты что, не соображаешь?

— По мирному времени — да, — медленно соображает Федосеич. — А по военному — фашистку убил.

Савку аж подкинуло. — Да ты что, в своем уме? — самурайски цедит он сквозь зубы. — Тебя послушать, так на вас и управы не было, и закон не про таких, как ты, и вообще... а-а! — Он валится навзничь и дышит, как после долгой пробежки.

— Управа была, — скребет Федосеич стерню на щеке. — Как без управы? Комендатуру поставят, флаг над ней выкинут, вот и управа. Ходи, значит, в ногу, не сбивайся, соблюдай закон военного положения, — понял? — а то в два счета под трибунал. Но это когда еще рак на горе свистнет, — комендатура! А пока ее нет, я считаюсь в бою и делаю, как мне лучше.

— Да уж столько я волоку, как тебе лучше, — задирается злопамятный Савка. — Мародерничать тебе лучше. Дома грабить. Посылки добывать. Еще что?

— А хоть и посылки, — перекидывается Федосеич со спины на бок. — Да и не грабеж это по-настоящему. Был бы я один, то конечно, а все — какой же грабеж, когда все? Совсем даже не грабеж, а нормальное военное дело. Никого не было чтоб чего-чего не взял. И везде так, — думаешь, только у нас? Война есть война.

Савка удивляется, как ловко Федосеич все это шиворот-навыворот перекрутил, а тот тем временем растолковывает ему, что в нормальном этом деле был свой порядок на три очереди. Первая очередь — серо-солдатская и боевое офицерство. Им что? Одежда-обувь, трикотаж-мрикотаж, часы-фотоаппарат, ну еще аккордеон, это уже на любителя, да и то: в одной руке два аккордеона не помещаются, в зубах не способно и автомат девать некуда, а сидор, он тоже не надувной, больше нормы не лезет. Вторая — командование, штабные офицеры с генералами. Этим — тонкая посуда, всякий там мех-ковёр, бархат-велюр, ложки-вилки-ножи, какие из серебра, картины-мартины, цапки красивые — само собой, пластинки с музыкой, книжки старинные — все, как интеллигенция. Третья очередь — трофейная команда. Эти стригут под нулевку: мебель-рояль-холодильник, завод-фабрика, мотоцикл-машина, короче, — догола. Телефонную проволоку со столбов, и ту снимали. А на станции составы порожняком стоят под погрузку, — «вертушка» называлась. Все за раз не заберешь, вагонов не хватает, вот они и мотаются туда-сюда: из Германии груженные, обратно пустые. Отвезли, значит, разгрузились и по новой. Так по кругу и вертятся, с того и «вертушка». А главное, никто никому не мешает, потому как у каждого своя очередь и отдельный интерес.

— Давай, давай! — посмеивается Савка. — Так я тебе и поверил! Станет генерал руки марать об чьи-то тряпки, — брось!

— Кто тебе сказал — об тряпки? — противится Федосеич. — Об тряпки, ясно, не станет — зачем ему? Он же генерал! Наш генерал, к примеру, исключительно хрусталем интересовался и всегда при себе молоточек содержал специальный. Поставят

перед ним какую-нибудь граненую лоханку, а он по ней молоточком — дин-дилинь! — и слушает: звенит или не очень. А то еще платочек достанет и по краю бокала пальцами впротир — ррраз! — и опять слушает, — как он? стоящий или подделка? Потом каждую штуковину десять раз обернет, чтоб не простудилась, и в ящик. Мы этот ящик в егошний «виллис» кряхтим (тяжеленный, зараза!), а генерал впереди нас чечетку бьет: «Осторожно, ребята, осторожно! Ровней, ровней, потихоньку, так-так-так... На бок не ложь! Это ценности мировых достижений, не любят, когда на боку». Вот так оно.

Минуту-другую Федосеич молчит задумчиво, а затем начинает собирать мозаичную россыпь в верхних сферах батальной панорамы. — Пока на своем воевали, — рассуждает он свободной от цыгарки рукой, — такая была нам политинформация: жили мы, вроде того, счастливой, зажиточной жизнью, а он на нас напал, стало быть, приказ: убей немца обязательно. Потом, как погнали мы его не по нашей территории, новый приказ: освобождаем Европу, громкая нам за это слава. А на проверку? Освободить-то освобождаем, а приказ немцев убивать не отменили. Вот и возьми, чего негу: мы их освободить, а они от нас дралалá. Город, другой, третий, а освобожденных никого, перед союзниками неудобно. Выпустили тогда обратный приказ: Гитлер пускай уходит и не остается, а немецкий народ пускай не уходит и остается под вечной охраной наших бронетанковых частей. Стали они оставаться, но нам от этого не легче...

«Не легче» Федосеичу от обыкновенной зависти. Придя в Германию, принялись наши солдаты ругать немцев и удивляться на перекурах — «чего они, гады, на нас полезли?» и «что им, сволочам, не хватало?», а о своей довоенной зажиточной жизни уже никто ни гу-гу. В политотделе, ясно, не дураки; кроме ушей, глаза у них, как у всех, и добра трофейного прорва... Придумали тогда новую политинформацию, чтобы обнадежить, — вот, мол, разобьем мы их не сейчас, так после, а отсюда все под метлу и будем жить: мы, как они, а они пусть, как мы попробуют. Генералы тоже: «Сломаем, — говорят, — врага, и наладится у нас, товарищи солдаты, не житье, а крещенское катанье, — каждый воин на собственной машине три раза в день, надо лишь поднажать немного, чтобы все это исполнилось». Особо вышел приказ не стрелять по люстрам и по роялям, потому что это теперь наши трофеи, после войны их честно поделят и каждый получит свою долю: кто люстру, а кто и рояль, если заслужил, конечно. Федосеич — мужик хозяйственный себе во вред делать; для чего ему по роялю, например, стрелять, если рояль этот к нему же после войны вернется. И перестали рушить имущество. — Эх! — исходит Федосеич завистью. — Живут немцы, нам бы так. У нас какво? Где едят, там и детей плодят. А у них каждому изволь отдельную спальню, да еще столовка или там горенка с роялем, и на случай гостей —

тоже пожалуйста. А то ночевал бы я тут, кабы отдельная комната. Что ты! У них даже для книжек помещение...

— А посылки? — напоминает ему Савка.

— Посылки посылками, — говорит Федосеич. — Это отдельно, ты их сюда не путай.

— Сам же говоришь, — оставаться народ стал. Как же при людях? Неприлично, вроде, — убеждает Савка Федосеича. Злость в нем перегорела, но желание поддеть не прошло. Спустив ноги с топчана, Савка сидит, глядя в сторону освободителя, и сторожит каждый шаг его походов по Европе.

— Пускай остаются, — милостиво разрешает Федосеич. — Мне, главное, что? Ты мне мое отдай, и я тебя знать не знаю.

Видный мужик Федосеич, прочный весь, подобранный, поглядеть дорого, как у него шея прямо из плечей растет, точно дуб из земли корневищами. И силой Бог не обидел: бычка года на полтора за рогá возьмет, ногами покрепче упрется, голову ему вывернет и на землю уложит. Савке, бывает, страсть нравится на Федосеича глядеть, и он думает: вот бы нарисовать кого! Правда, художник из Савки больше умственный, — по кучевым облакам взглядом тешиться да по морозному окну лето вообразить, а все ж таки приятно ему поразмыслить, каким бы он Федосеича намалевал. Ну, как он при мирной жизни с бычком возится, про это не нужно, — другие картины есть, военные, вроде той, где Федосеич сидит где-то под Ельцом в сорок первом году на убитом немце и ест макароны по-флотски. Фашистов чуток попятнили, позицию сменили, закрепиться не было когда, а тут кухня приехала, обед, значит. Щи не довели, расплескало прямым попаданием, а на второе были эти самые макароны, которые по-флотски. Сесть не на что, снег кругом, холодно. Смотрит Федосеич, — фриц лежит мертвый, он на него и присел. Сам торопится, чтоб не остыло, сам краем глаза на своего мертвеца поглядывает, а у того лицо совсем от мороза белое, глаза открыты, рот тоже, а во рту мерзлый конский кизяк и зубы до самых десен кто-то прикладом обстучал. И думает втихую про себя Федосеич, что фриц этот, могло быть, голодной смертью замерз, тяжело раненный. От нечаянной этой догадки приходит Федосеичу на ум сказка страшная, — еще при царе бабка ему, мальцу, сказывала: «И пришли к нему три погибели разом: одна от голода, другая от холода, третья от каленной стрелы. И помер враг в чужом краю лютой смертью, и земля его не приняла, и никто не поплакал». Смекает тогда Федосеич, что это мудрая бабкина сказка на глазах у него происходит, — от этого схватывает его дробная, мелкая трясучка и противно знобит за пазухой. А народу кругом топчется, шуточки, смефуэчки: «Эх, мама родная, сесть бы где, подвинься, дядя, на полприбора!» — «Со с мясом тебя, Федосеич, ха-ха, с дохлятинкой!» «Ну и корещ, Вань, под тобой найтский, — что жрать не просит, что при нужде не бросит». И политрук туда

же: «Неплохо устроился, Воскобойников, молодец, везде дома». А он не дома. Совсем даже не дома. И никакой не молодец, потому что на холостого горлохвата Ваську Тёркина ничем нешибается. Мысли его одолевают, настроение — морду бы кому набить, аппетит весь немец мерзлый себе забрал и нутро тоскует. Порченный он потому что. Не сказать вовсе, а мало-мало есть. С третиной у него душа. Маленькая такая третишка и неровная, как зазор. Он ее, понятно, скрывает, а она, так ли, этак ли, а все равно дает себя знать и не всегда ко времени. От третины той одна есть у него слабинка: не переносит он со стороны никакой к себе жалости, и тот, кто его пожалел, пусть на себя пеняет. Савке это известно, и он тут же подбивает его на ссору, потому что наглая федосеичева снисходительность к обобраным немцам окончательно выводит Савку из терпения.

— Вот где стыдуха, чай-поди, а? Федосеич? — притворно соболезняет он. — Я тебе сочувствую. Не свое, как-никак. Ну, безлюдно крал, никто не видел, Бог судья, а при свидетелях, — это ж сколько переживаний, не каждый выдержит. И все на тебя, небось, как на холерное говно: «Вот, — думают, — крохобор, кусочник, откуда он взялся, не сеял, не пахал...»

— Это я, что ли, не пахал? — вскипает Федосеич, тоже садясь, и его красивая шея, наверное, впотьмах багровеет. Он возмущен, страшно рассержен и на каждое почти слово у него вдвойне приходится тех же непристойностей, из-за которых он до желтой осени в саду живет. — Я-то не сеял? — горячится он от возведенных на него Савкой поклепов. — Думаешь, ефрейтор Воскобойников всю войну сенца подмостивши... А с арт-подготовкой не хотел? А по грязюке до колен наобгонки, — это тебе не пахал? А от дома к дому, кубарем-пригнувшись, да из подвала на крышу, — это как? сеял или не сеял? А с немцами в жмурки бегом марш, — кто кого первый увидел, тому повезло, а кто зевнул, того теперь нет, — понял? Да знал бы ты, я в одной Германии три разá переформировывался. Выкосят половину, кого в землю, кого в госпиталь, кого куда, — новых добавят. Опять выкосят — опять добавят. Нас таких знаешь сколько осталось, постоянных? — раз-два и обчелся. А ты говоришь! Не ровная дорожка четыре года лоб в лоб бодаться. А что я тряпок там набрал ихних своим послать, так то еще мало. У меня четыре ранения за ордера, их отоваривать костюмов не хватит.

Он до того расхотелся, что Савка без труда представляет его в бою и не узнает, потому что Федосеич уже не Федосеич, а какая-то хищная образина с глазами, как у василиска: на кого посмотрит, тому смерть, и оттого своих он не видит, лишь врагов замечает, как немца, у которого с шеи крест содрал. Шикарный крест, рыцарский, таких солдатам не выдавали: белая эмаль, торжественный окаём и два меча тевтонских на звезду тянут восьмиугольную. Увидел Федосеич этого рыцаря, подо-

шел, нагнулся, возможно даже подумал: — «Ну, поносил — дай другим», — и рванул на себя... А все ж таки, как он ни разобижен, а Савку не прогонит, — некому тогда слушать. Что до Савки, то он, своего добившись, и сам не прочь на мировую.

— Так Федосеич, — заводит он просьбой-лаской, — разве ж я против? Я ж, вроде, ничего такого особенного... Вроде, ну... поздравить хотел... ну, с этой, чтоб тебя... с победой, вроде бы... да-а, а больше ничего такого... И ты, конечно, отчасти прав на сто процентов, — что я, не понимаю?

Если Савка понимает, то Федосеич тоже не без понятия. Отходит он быстро, как после траншейной схватки, лишь обида чуть-чуть еще в горле булькает.

— Стыду-у-ха! — перекашивает он Савку на-голос. — Много знаешь, у тебя забыл спросить. Совсем даже никакого стыда. Что я, — разувал, раздевал, из зубов вынал? «А ну, — команду им, — взк отсюда до одного! А ты, — говорю, — фрау, шнель-шнель! Барахлё, шмотка, шухер-мухер, ферштен? Киндер, — говорю, — киндер». Она с перепугу раздеваться. «Найн, — кричу, — дурья твоя башка, никс ферштен! Не за тем пришел! Киндер, говорят тебе! Там!» Себя в грудь кулаком, четыре пальца показываю, от пола рост отмерил, — такие вот, даю знать, они у меня, — и рукой, значит, откуда сам заявился. Никакого насилия. Доброй волей нанесут сверх даже нормы. «Данке», — говорю. Чего мне стесняться? Это разбойнику Бог слова на миру не дал, а я... да мне хоть по радио, я тебе не то, что на Германию, — на весь белый свет оглашу, что как победитель не могу того допустить, чтоб ихние киндеры сытые, в справной обутке, а мои, босота, сопли жуют, не наедаючись, — где ж справедливость?

— Слушай, — говорит Савка Федосеичу без потачки на героизм или на возраст. — Хочешь, обижайся или как, тебе видней, только ничего этого нигде нету, что ты мне тут загибаешь: ни в книжках, ни в газетах, ни в кино... Нету и все, — понял? Получается, вроде как бы один ты взрослый, а остальные все — так себе, дети в школу собирайтесь, петушок пропел давно...

— Ты смотри, чего захотел! — торжествует Федосеич, ничуть не обидевшись. — Чтоб ему все, как есть, засветили! Да ты что, первый раз замужем? У людей подписки берут на неразглашение правды, а он из нее валенки валять... Какой недоделанный тебе ее... За это, знаешь, — секир-башка и табачку не дадут. Никто ее не напишет, правды целой, жуткая потому что и немилостная. Как приказ под Корсунь-Шевченком: в плен не брать, раненых достреливать. Думаешь, не достреливали? Ого! Еще как достреливали, — кто кого больше. А ну, поставь про это картину, а я погляжу, какая тебе через нее премия выйдет.

Отвергнув литературу и искусство как лжесвидетелей по умолчанию, Федосеич победно закуривает, мало заботясь, что

Савку корчит на рвоту. Он совсем еще молодой, Савка, к тому же книжек разных начитался, а в них чего не понапишут! — раз поверь, два раза оглянись, а то поздно будет. Не так давно заспорили они с Федосеичем чуть не до драки. Савка доказывает, что есть, мол, у нас такой закон, — дважды не расстреливать, а в случае кто после расстрела целый остался, того отпускают на все четыре стороны, даже лечат, ежели задело малость. А Федосеич говорит, что такой закон, может, и был когда, при царе Горохе, а сейчас по другому: берет командир отделения пистолет и каждому расстрелянному разбивает пулей затылок, что с гарантией, значит, и лечить некого. Видит Савка, крыть нечем, и расплакался, потому что обидно ему стало за людей, которые на деле совсем, оказывается, не такие, как в книжках. Вот и теперь мутит его от всяких подлостей, которым Федосеич живой свидетель.

— Мясокомбинат, — сплевывает Савка полный рот слюны. — Скотобойня... Говядина, свинина, человечина, суки паскудные... Неужели же у вас там простого благородства не было?

После взаимных ожесточенных перепалок от первоначальной композиции «Скажи-ка, дядя» не остается следа, потому что слушатель давным-давно вступил с рассказчиком в такие же штыковые отношения, как французы с русскими на Бородинском поле.

— Чего, чего? — переспрашивает Федосеич как глухой и заходится тихим, невыносимым для Савки смехом в кулак. — Это что ж? — он меня по сопатке, а я ему «спасибо»? Не-эт, этого не было. Все было, а про такое не слышал. Он к нам зачем полез? Наших людей губить благородно? А то мало нас... — Федосеич споткнулся вдруг на полуслове и закашлялся. Он, когда смутится, то кашляет, будто жаль ему, что лишку обмолвился. Разговор тогда уходит, как телега в трясину, оба чувствуют неловкость, словно кто-то из них испортил воздух и не хочет признаться. — А не каждый день города без боя брали, — единым рывком вытаскивает Федосеич телегу из вязкой грязи. — И посылку послать тоже не каждому доводилось.

Быстро, как по тревоге, без раздумий и подготовки, собирает Федосеич новый кусок мозаики, — как первая очередь наших ребят за посылками уличным боем в чужой городок вкатывается. Под орудийный перестук, под хлопки мин и гранат, под пулеметную обработку и автоматное крошево, — кто кого раньше заметит. Там стекло звонкое осыпется, там стена глухо рухнет, щебенкой прошумит, где-где крик пробьется, а кто кричал — не спрашивай: гул кругом — уши заткни.

— Обожди, слышь, Федосеич, — прерывает Савка наступательные действия наших войск. — А уличный бой, это, примерно, как что? На чего похож? Ну, шум, это я понимаю, а как? Ты ж там был, обязан знать.

Некоторое время Федосеич думает, затем говорит:

— Примерно, как прошлый год саранчу гнали.

Савка помнит: идет вверху над станцией быстро черная туча не по-за ветром, и тень от нее по земле движется тоже быстро, а в тени, словно от солнца прячась, бегут люди, шумят, стреляют, вопят, бьют в пустые ведра, — такого тарараму Савка сроду не слышал, — а с неба все звуки покрыл сухой, жестяной шелест, от которого не по себе становится. Опустилась туча за станцией в лесопосадку, и через полчаса деревья стали выглядеть, как зимой, а земля страшно вся почернела. Двое суток целый район не спал, саранчу жгли вместе с молодым лесом, и до самой весны никто туда не ходил, боялись.

— Примерно так, — говорит Федосеич, — но, конечно, раз в двадцать послышней будет.

Для Савки «раз в двадцать» обозначает, что уже не яблоки спелые гулко с веток срываются, а бомбы невдалеке падают, и не цикады стрекочут, а пулеметы бьют, и не звезда скатилась, а ракета упала, а сам он — там, в незнакомом немецком городке за Федосеичем наблюдает. И куда ни кинь, все не свое, чужое, век не видать и не состаришься. Дома один к одному жмутся тесно, солдаты в защитном по-за углами с дороги сбились, а дорога — вот она: танк на обочине горит, недосуг чей; федосеичев лейтенант, азейбарджанец молоденький прямо посреди убитый лежит, руки раскинул, а медной головой вперед по приказу командования, и еще кто-то с ним, тоже, считай, смертью храбрых. По такой дороге всю жизнь без ремонта ездить; снарядом по ней шваркнуло броневой, как ложкой каши почерпнуло, колдобинка, корыто непроливанное свиньям помои жрать, еле в нем одному схорониться, а их двое: лично Федосеич, солдат Славы, и Венька Орехов, бедовая голова, лежат впритирку и дорогу нюхают, из чего она, такая непроезжая, сделана. И хоть бы брустверок какой, а то ж задницу девать некуда и затылка не поднять, домик с фасоном мешает: у немцев там на этаже люис колченогий и чешут они из него вдоль по Питерской и дальше. «Ты! Побудь! — кричит Венька Федосеичу в шею. — А я! Схожу! Очки им! Поколю!» На асфальт выкинулся и покато с боку на бок, чисто бревно с горы пошел, а они из кривопятки своей кур кормить ему заследом: цып-цып-цып-цып-цып, — закройся, в общем, сейчас напополам перехватят. А ничего; докатил он до «мертвяка», схватился, побежал, уже его не достанешь, так они прицельно ка-ак вжарят по федосеичевой лунке...

Вник Федосеич рылом в бетон и было ему себя жальчей встать; лежал он смиренно и молился чудной молитвой: «Господи, сохрани! Господи, не зацепи! Господи, бери повыше!», — будто не немцы это стреляют, а сам Господь Бог, в которого все верят, как времячко поприжмет. Сколько там оно прошло времени, неизвестно, только слышит — противотанковая сгрохо-

тала в фасонном домике, и стрельба по его заявке разом кончилась. Поднял он морду окорябанную, смотрит, — Венька Орехов ему рукой с балкона: «Вставай, мол, залежался! — а под балконом трое зеленых ногами врозь. «Держи, — говорит, — на память про веник ореховый, как вместе грелись у Гитлера на курорте», — и дает Федосеичу золотые часы с немца, а на них и день, и ночь, и месяц, и погода, и что твоей душе, — полный метраж нашего времени. Часы эти после боя полковник себе забрал. «На что, — говорит, — они тебе, ефрейтору, тонкая вещь, деликатная культура, что ты понимаешь? с тебя и штамповки хватит, еще загубишь ни за понюх, — жалко! — лазишь, где попало». — «Так точно, — говорит Федосеич, — загублю, товарищ полковник». И отдал. И полковник его за то к ордену. И стал у него полный бант.

— А Веника? — интересуется Савка.

— От жилетки рукава Венику, — говорит Федосеич и несколько раз подряд затягивается сигаркой. Потом, хозяйственно заплевав окурок, поясняет: — Убили мы его.

Потрясающую эту новость Савка воспринял попервах очень спокойно. — Так я и знал, — жмет он плечами. — Вас же там целая банда, разве сладишь? — Дальше он не выдерживает и, хлюпнув носом, срывается: — Он вам скольким жизнь поберег а вы... Ну, спасители мира... — И ничего больше сказать не может от удушья.

— Оно так, — скорбно соглашается Федосеич. — Парень куда там! Что смелый, что надежный, с себя последнее отдаст... Злость его подвела. Злой был докрасна, хоть прикуривай, с того и ума решился. Ну, пока в Белоруссии, там его злость была при деле, а на чужбину пришли, вроде как даже понапрасну стала. Что значит не в своем дому! Встречаем один раз мы пять пленных с конвоем. Так что ты думаешь? Он их всех на землю положил и пострелял на наших глазах. Конвой совсем был еще пацан, двадцать шестой год-призыв, растерялся, плачет, как малолетка, не знает, куда ему теперь идти, как докладывать. Нам это уже тогда не всем понравилось.

Савку тоже трудно порой узнать, — слишком он быстро меняется; только что готов был оплакивать Веника чуть ли не навзрыд, а не прошло минуты и уже ему невтерпех того же Веника собственными руками... и раз, и два, и три... и за каждую поруганную жизнь... и за всякую напрасную смерть... — Ну ты глянь на него! — яростно кричит Савка и лупит себя кулаком по колену. — Не понравилось им! А чего ж едальники пораскрывали, раз не понравилось? Заступиться не было кому, да? Трудно было. Недостало вас десятка с одним управиться.

Федосеич курильщик заядлый, одну сигарку за другой курит почти без перерыва. Он и теперь медленно скручивает новую, слюнявит бумагу, тарахтит спичками, прикуривает и от пламени видно, какое у него невеселое лицо. — Дурак ты, —

спокойно говорит он Савке, задувая спичку. — Думаешь, за кого заступаешься. Люди гибнут тысячами, война, а он... Жалельщик нашелся! В «особняк» захотел? Для таких жалельщиков туда и дорога.

— В какой особняк? — не понимает Савка.

— В такой, — мрачно отзывается Федосейч. — Особый отдел при штабе километров за тридцать от передовой в тыл. Там снаряды хоть и не рвутся, а кто туда попадал, обратно уже не вертался. В отделе в этом офицеры исключительно политические и отделение автоматчиков при них: с ряшки все гладкие, двойной паек, одежда-обушка — высший сорт, каждую ночь с девками спят из медсанбата и, кроме как расстрелять кого, другого дела нет.

Савка ёжится то ли по холодку полуночи, то ли от неприятного чувства. — Ну, ладно, — говорит он, преодолев смущение и возвращаясь к главному разговору. — А за что вы его кокнули, Веника? — спрашивает.

— Получилось, — отвечает Федосейч с жестом полной безнадежности и смотрит в темноту сада. Он слишком долго молчит, и в его молчании, помимо передержки, чувствуется еще что-то личное и тягостное. — Нельзя было с ним по-другому, — вздыхает он, точно оправдывается. — Прямо никак, хоть ты ему кол на голове теши... Мы в Германию как пришли, стал он девок тамошних зашаривать. Ну, по молодому делу да на войне все мы не святым духом питались. А он, значит, что? Девку использует и по мягкому ей из трофейного парабела с причетом: за свата, за брата, за дядю Игната, за двух Матрён, за Кузьму с Петром... Мы сперва думали, — долги платит: кровь за кровь, не забудем, не простим, папа, убей немца, в общем, такое. Смотрим, а у него счет вовсе пошел небрежный и глаза блестят без симпатии, как с лихорадки. «Главное, — говорит, — женский пол перевести, от них вся беда, а мужики сами загнутся». Это раз, другой... «Да ты что, — говорим ему, — совсем опупел, парень? Чего взъелся? Изнасиловал и отпусти. И вообще, кончай, Венямин, свои чудеса, остановись на полдороги». — «Остановлюсь, — говорит, — после войны в варварин день, а раньше того меня ни Бог, ни царь, ни герой, не то, что ты, постники, в пеленках сиську по средам не брали». — «Добро, — говорим, — весь разговор, не тебе обижаться». Недели не прошло — отписал его комбат за свободу и независимость, все, как положено. Своего убить в бою просто, — он же от тебя не хоронится. — Принужденно покашляв, добавляет для пущего спокойствия: — Мы даже не дознавались, кто.

Тут бы Савке в самый раз проехаться по Федосейчу в отместку, сказать: «Слушай, а это не ты ли, часом, Веника очередь промежду лопаток, а?» — но его захватывает совсем другая мысль, — внезапная, сильная и нестерпимая. — Ага! — неприлично радуется он, хватаясь за убийство в спину, как греш-

ник за луковицу. — Пожалели-таки! Пожале-э-эли! Жалко стало! А трепался, — благородства нет...

— Пожалели, — ворчит Федосеич. — Небось, пожалеешь. Собаку бьёшь бешеную, и ту жаль, а тут люди все-таки... А что с ним делать? Не комиссару ж на него жаловаться. Ну, передам я, — так, мол, и так, — а он дальше передаст: «Ефрейтор Воскобойников симпатизирует». И всё. У ребят из особого разговор короткий: измена родины. Запрещалось нам, понял? Нельзя. А ежели пожалел кого, так уноси побыстрее ноги, чтоб не застукали, это тебе не посылку собрать.

Он, лёжа, перебирает в памяти фронтовиков-однополчан, поплатившихся жизнью за доброту, — кто под Вязьмой, кто под Курском, кто в Восточной Пруссии, — но Савка слушает невнимательно и спохватывается лишь под конец, когда Федосеича в сон клонит.

— ... демобилизация стариков первая очередь, да-а! — тянет он сиплым, уставшим голосом. — Нашел я рейку чугунную потяжельше, взял автомат за ствол: «Ну, — думаю, — дорогуша, чтоб тебя тыщу лет никто в руки не брал», — да кэ-эк наверну...

Савка, зажмурившись, не воображает, а собственными глазами видит, как в щепки разлетелось автоматное ложе, распалась казенная часть и покатился по земле диск, — уж больно хорошо собрал Федосеич этот кусок себе на сон грядущий.

«... Никак осколком друга зацепило?» — старшина спрашивает на автомат глазами. «Маленько есть», — говорю. «Надо же! — удивляется. — Вот уж сказать, и начинал густо, и кончил невпророт. В рубашке, — говорит, — что не по мясу, семью мог крепко обидеть. Ну, везучий ты, паря. Везет счастливым!» — «Да уж, — говорю, — на тебе моё счастье с другом впридачу, а рубашку как-нибудь в следующий раз». — «Давай, — говорит. — Друг теперь твой разве в переплав, а все равно... Ишь, угораздило!...»

Язык у Федосеича заплетается; он начинает сбиваться с речи и ритмично сопеть в паузах. Правда, он еще кой-как борется, но уже ясно, что не одолеть Федосеичу сна, вот-вот он его сморит.

— Города пустые, — говорит он тише и тише. — Никто не живет... Окна не светятся... Куда подевались?... Идешь, как по лесу... Ты ночью, Савелий, не ходи... Пустые они совсем... Никого нету... Никого... Одни мы...

Засыпает Федосеич крепко и беспробудно. Дыхание у него выравнивается, только на вдохе чуть-чуть храп, да на выдохе он слегка постанывает, но это пустяки. Главное, что он уже не вскинется в атаку, не возопит фронтовой божбы во всю глотку и никого спросонья не напугает. Кавалер ордена Славы всех мыслимых степеней, ефрейтор в отставке Иван Федосеевич Воскобойников на сегодня стрельбу закончил.

Тамарочка

- А ну, домой, кому сказано? Санька!
- Лёля-а! Лёленька-а! Аушеньки-и!
- Драндулет! Завтра тебе не жить, понял? Не выходи.
- Боялся! Хер ты меня еще догонишь.
- У-у, сатаняка, вывозился! У-у, паразит!
- Не хочу-у-у!
- Ах ты, паскуда!
- Сорока, ворона, деткам кашку варила...
- Я тебе дам «не брал». А кто брал? Убью гада!
- Зубастик, головастик, на веревочке пупок!
- А ты — отщепенец! — Ин-цын-дент! У тебя отец в тюрьме.
- Трепись! Отец — честный жулик...
- Марш!
- Мам, а секс по телику будет?
- Будет, доченька, будет. Все тебе будет, только пойдем.
- Швабра ты облезлая — вот кто. Чья бы мычала...
- Ты мне не тычь! Я с тобой свиней не пасла!
- Ну, котик, ну, зайныка, ну, будь умничка, умоляю...
- Санька, стерва, чтоб тебе распрочёрт! Ты у меня дож-дётся!

Детей загоняют спать. Конец субботнего дня — конец детской вольнице. А дома духота и со двора не хочется уходить. Здесь шумно и весело: тети ссорятся, из окон музыка гремит всякая, машины туда-сюда по улице снуют и дядя Виталька Мотыль орет, с балкона свесившись:

— Тюра, эй, Тюра! Проспорил! Воткнули армяшки твоим грузинам по самые помидоры! Один — ноль для поддержки штанов, — ха-ха!

Под единственным во дворе взрослым деревом десятка полтора мужчин, кто сидя, кто стоя. Над ними белым светом сияет сайровая лампа на гибком шнуре. Вокруг лампы вьется столбом насекомая нечисть и, ожегшись, осыпается на головы и на стол, который трещит от жестоких ударов по его дощатой поверхности. Разговор всеобщий, но размеренный, под перестук:

- Сам поеду и товарища прокачу.
- Как всё хорошо начиналось. Вызывают в Москву. Еду.
- Голым задом по дороге. — Бац! — Цепляйся за двоеч-ный.

— Обойдется. — Бац! — Так вам, говоришь, Павлик и денег не высылают?

— Штырлиц сунул руку в карман и подумал: «Это конец. Сажусь». — Бац!

— Ничего. Где сел, там и слезешь. — Бац! — Ставь баян.

— С удовольствием. — Бац!

— С удовольствием дороже.

Бац! Бац! Бац!

— Благодаря мудрой политике...

— Я ж сказал: главное, не сцать и усиленное питание. —

Бац! Бац! Бац! Бац! Бац!

— Макар Иваныч накрылся.

— Пламенный привет покойникам. — Бац!

— Колхоз поможет.

— А догонит, еще поможет.

— Ха-ха-ха, как он его кинул.

— Телись скорей, чего тянешь?

— Себе думаю. — Бац!

— Индюк думал. — Бац!

— Ну, делай по и — вся.

— Он ее где возьмет? От сырости?

— В Московском институте международных отношений —
МИМО!

— Не по росту женился. Не достанешь.

— А мы ее с тубаретки.

Бац! Бац! Бац!

— Товарищ Провезенский.

— Еду, еду, еду к ней...

— Да на, на. Для друга у меня навалом.

Бац! Бац! Бац! Ба-бах!

— Официант, счёт!

— Бабки!

Играют в домино на интерес и на высадку. Смена состава. Звяк пятнашек и двугривенных в консервной банке. Беззлая ругань. Перекур. Сумерки. В домах огни вразброс. И жарко. Асфальт и здания за день накалились и будут остывать до утра. В подмышках у всех сколько и противно. Детвора и женщины понемногу расходятся. От наступившего затишья больше слышна жара и крепче запахи от пивной будки. Досугу, однако, это не мешает, и конца игре раньше, чем за полночь, не видно.

Этот незатейливый и весьма по субботам обыкновенный кавардак нарушается, не сказать, чтобы, громко, но как-то протяжно и свежо:

— О-ой! О-о-ой! Ой-ёй! О-о-о-э-а-а!

Голос женский, вялый, с ленцой и как бы через силу, будто несчастную режут тупым ножом и никак до крови не доберутся. Хорошо, когда знаешь, что это не так, а доведись тут кому быть впервые, завидовать нечему: самочувствие, как в лесу,

и голова полна всякого вздора, что, мол, жизнь есть жизнь, и каждому в ней — одно из двух: если мужчина, то — палач, если женщина, то — жертва, которую надо время от времени оборонять, вызволять и на первых порах поддерживать материально.

— Ой, изверг! Ой, мучитель! Ой, зверь! Ой-вай!

Это Тamarочка из сорок седьмой. Квартира у нее на втором этаже — палаты трёхкомнатные: потолок под «слоновую кость», вместо обоев ковры и, вообще, чего-чего нет, а она там царица мира: ни мужа, ни детишек, ни родни, сама себе хозяйка плюс простор — полста метров на единственную тамарочкину душу. А кричит по делу, это ясно. Без дела так не кричат. Наверное, негодяй какой с улицы забрался. Теперь она от него отбивается, что мочи, и соседям даёт знать, как трудно молодой, интересной женщине сдюжить с нахалом, особенно, когда такой живодёр попадётся, у которого, поди, шерсть на плечах свалжась от дикости.

У доминошников перебой. Играли-играли и — «ничья», как в шахматах. Кто-то уже задрал руку, чтобы ахнуть как следует по столу и провозгласить «рыбу», но поймал зов Тamarочки, сник, расклеился и куда что девалось. Остальные тоже. Все стали похожими, словно родные братья или любители птичьего пения в момент какого-нибудь заковыристого коленца: голова набок поехала, рот открыт, глаза прижмурены, дыхание выключено.

— Задавил, кобель, задавил! Да что ж ты делаешь?! Ой, душа с телом прощается!

У Тamarочки, видать, много чего внутри накопело, и она норовит разрешиться крещендо и скороговоркой. Получаются стихи. У них, правда, нет складу, зато есть лад, вольготность и ритмическая качель, а для стихов это первый признак. Об их содержании говорить было бы преждевременно, так как возглас Тamarочки «Ой, хорошо!» разъясняет, что дело, в действительности, не так уж скверно, как могло показаться вначале. После краткого, жизнерадостного вопля наступает перерыв, тоже краткий, и слушатели быстро-быстро обмениваются замечаниями; время не ждёт, а человек отзывчив, — этого у него не отнять.

— Забирает...

— Даёт стране угля...

— Погоди ещё...

— Кто у неё там? Горсовет?

— Не. Гаишник.

— Во, стручок. Повадился.

— Какой гаишник? Прораб...

— Гаишник. Абдулла видел.

— Абдулла, ты видел?

— Ну.

— Чшшш! Тихха!

Пауза отмечена до черты, за которой вновь звучит соло стрелями и воркованием, где каждый переход — игра мечты и трепет воображения. Раньше кой у кого была задумка опорожить Тamarочку, подловив ее на слове или предсказав очередной комплимент, но спустя время пришлось это занятие бросить; легче оказалось угадать цифру в спортлото, чем прогнозировать сиюминутное будущее.

Она тут живёт не так давно. А до этого проживала в таком доме, в таком доме, что, по её же словам, — ой-ой-ой! — только молодой месяц в верхней точке стояния мог бы засветить, что за дом, что за дом, что за ёлочки кругом. Женщин там не было, были дамы. А мужчины, — ну, такой народ расчудесный! — стаж вместо возраста, костюмы из авторитета и большие мастера по земле языком ходить. Многим из них ввиду преклонного стажа и подорванного тяжелой работой здоровья пришлось проходить у Тamarочки курс натуральной терапии.

Являлись они к ней вялые, ни дать ни взять утопленники, и грустные, как десятая свадьба. Она тут же брала их в оборот и возрождала, то есть, откачивала, отхаживала, ставила на ноги и, что больше всего удивляет, не делала из своего ремесла никаких таких особых секретов.

— А мы ему а-та-та! А мы ему массаж! А мы его за границу! А ну, айда-поехали! Париж, Рим, Берлин... Ать-два, ать-два, левой! Сперва пулемёт, потом миномёт, потом пушка... Вот партизан! Вот молодчик! А мы его на курорт! Батуми, Сухуми, Сочи, пересадка, Гагры, Алупка, Херсон... По шпалам! По шпалам! Через Житомир в Пензу!.. Вот, голубчик, красавчик, селиванчик! Во какие мы стали образцовые: два раза ухватить, раз укусить!..

Только глухому было невдомек, что с клиентом деецца ренессанс. Всего полчаса, как этот самый клиент поступил к ней — краше в гроб кладут: обветшавшая голова, замшелое брюхо, ноги со скрипом в суставах, короче, мамалыга-мамалыгой, и вдруг начал резвиться, точно молодой шимпанзе или здоровый сельский тузик. Дело явно шло на поправку, и Тamarочка информировала об этом всех, имеющих уши слышать:

— Жеребец ты мой! Племенник ты мой! Бычок в три обхвата! А притворялся сковородки мазать! У-у, озорник! У-у, производитель! Ой-ой-ой-ой-ой-ой!

Она честно делилась накопленным опытом и говорила, что иначе с ними нельзя, надо обязательно сулить, поощрять, славить и всячески прищипывать, чтобы хоть какого толку добиться, потому что мужчинки из них — оторви да брось, квыелые, а то и вовсе никудышные. Впрочем, что бы Тamarочка ни говорила, а после нее деятель чувствовал себя как штык, и уже к завтраму готов был заседать, где попало, и выступать, сколь-

ко придётся, зная, как своих пять пальцев, кому и чем он обязан.

В том большом кружевном здании свили ей двухкомнатное гнездо с кондиционным воздухом, и жила бы она там по сей день, да сильно взъелись на неё дамы и дня не чаяли со света сжить за то, что она лучше их. Чем? — сказать мигом не скажешь, только лучше — и всё. С собой она вовсе не набивалась к верстовым красоткам из модных журналов и была им противоположна решительно по всем приметам, но эти приметы как раз и заставляли мужчин с положением подбирать животы, косить глазами, вертеть шей и выглядеть приличней, чем на практике. Если назвать Тамарочку красивой, нелишне добавить, что красота у неё была какая-то ржаная, пшеничная, одним словом, хлебная, и волосы тоже были урожайные, под цвет спелого поля, и в синих глазах по жаворонку. Моды с фасонами ничуть ее не красили. До обеда она трудилась лаборанткой на санэпидстанции и в простеньком халате смахивала, самое малое, на снежную королеву. Да и вообще, нельзя, казалось, придумать наряд, который бы ей не личил, будь он хоть из мешковины, потому что в любой одежде и при любой погоде Тамарочка была так же приглядна и заметна, как, предположим, Рязань в Аргентине без поправки на климат. Характер у нее тоже был замешан на дрожжах и давал себя знать чуть что:

— А чего мне «потихе»? Чего «потихе»? Ты губы не очень-то распускай! Какое твое воблое дело? Я ж к тебе не лезу? Тебе нравится, как рыбы в аквариуме, — ну и что? А мне другому нравится, понятно? Ишь, нашла на вкус и цвет товарища... И не заедайся, дёта, глаза заплюю. Твой-то, может, только и слов хороших послушает, что у меня...

В конце концов, это ее и погубило. Скандал, не скандал, а коллективка в ажурном дворце назрела, можно сказать, на все сто. Дамы фыркали, закатывали истерику, падали в обморок, приходили в себя, визжали «бандерша!» и опять теряли сознание, а мужья говорили «яблоко раздора» и думали-гадали, куда оно котится, и что с ним, наливным, делать. Закон, он что? Строгий. Если ты какой ни есть, а руководитель, так он тебе укажет прямым параграфом: «Как же ты, дорогой товарищ, будешь ответственную должность отправлять, когда у тебя в семье дым коромыслом? Нет, товарищ дорогой, уж если ты с женой не сладишь, то с государственной службой и подавно. Поди-ка ты в частном порядке»... Так то в частном, а тут, шутка ли, дом с фундамента на крышу пошел, учреждения заколебались. Пришлось Тамарочке откочевать. А она и не жалела, потому что было ей там не житьё, а чистая каторга и никакого простору. То ли дело здесь, на улице имени 26 Бакинских Комиссаров в доме имени Фиолетова номер пять дробь тридцать четыре.

— А ну, давай, первернись! Ногой, говорю, голосуй! Ножкой, ножкой! Ещё! Не спеши! Вот так! И я за него! Ну, пошёл...

Вот это конкретно! Вот это я понимаю! Вот это с прокрутом!.. Ну, зафургонил, засупонил, задул!.. Ох, чтоб тебя!.. Ох, никогда так не было!..

Окна Тamarочки изнутри чуть-чуть подкрашены мягким лиловым светом, но он слишком слаб и далек, чтобы создать какие-либо проекции по части борьбы, которая там происходит. А приемов у нее всяких побольше, чем во французской классической: решето, бутерброд, такси, ножницы, восьмое марта, какой-то двойной Самсон — со счета собьешься!..

Здесь женщины тоже ее сперва не влюбились и сдуру составили кляузу: мол, так и так, безобразия, у нас дети и прочее, просим привлечь — в таком духе. Конечно, дом склочный, сволочной, коммунальный, как большинство, а при двух выходных мало чего кому взбредет в голову: один то, другой это, у третьего день рождения... Пишут, пишут, а что пишут, сами не знают, лишь бы писать. Они и раньше писали вплоть до Москвы, будто там дураки сидят безграмотные, газет не читают. Лишь спустя время сообразили, что в обход нынче куда ближе, чем напрямик.

К холодам жильцы заметили, что в доме стало теплей, чем в прошедшем или в позапрошедшем году. Бывало, что ни зима, ребятишки сопли точат, взрослые бюллетенят, а лабухам за похороны с музыкой сто рублей отдай как хочешь, и вдруг — теплынь, ну, прямо, живи, цветы и пахни. В других домах, почти рядом, колотун, хоть собак гоняй, а фиолетовцы телевизоры повключают и сидят в одном исподнем. Короче, заметить заметили, а объясняли кто во что: заботами партии и правительства, медицинским экспериментом на выживание в масштабе города на случай атомной зимы и так далее, и никому не пришло на ум, что это все — Тamarочка, которая вовремя пообщалась с кем надо, но вместо чудного возгласа, командующего высоких гостей «По шпалам! По шпалам!», соседи услышали... А впрочем, пардон. Никто ничего, конечно, не услышал, потому что Тamarочка, зябко кутаясь в пуховый оренбургский полушалок, сказала клиенту совсем тихо: «Или ты, кося, будешь топить, как у себя, или вон тебе Бог, а вон — порог».

Пришлось топить. Даже более того. Отремонтировали подъездные пути-дороги. Поснимали наружные светильники. Поставили детям качели, навозили песку. Потом пришли пионеры с лозунгом «Зелёному другу — зелёный шум!» и под барабанную дробь наглухо блокировали дом молодой рощицей. Тут, понятно, все догадались, что за друг такой, и пошло, и пошло...

— Тamarочка, милочка, это тебя кто вчера съездывал? Не Анафтолий Михалыч, случаем?

А она, оперев руку в бедро, отвечает запросто, по-соседски:

— Он самый. Товарищ Подмарёв. А что?

Не успела поговорить — новый разговор:

— А скажи, милая, хахель твой к тебе так и ездит?

— Который, бабуся?

— Ну, энтот... котик-мурмотик... петушок...

— А-а! Товарищ Дундук. А куда он денется? Бывает, когда скажу.

— Эт хорошо, хорошо. Я уж, было-кесь, напужалась: чтой-то, думаю, машину евонную не видать? Насчёт ремонту я...

Вот и выходило, что и Подмарёв Анафтолий Михалыч, и Дундук-мурмотик могли многое, но Тamarочка супротив них могла вдесятеро. Взять хотя бы пивную будку. Как она ее организовала — это же класс! В воскресенье мужчины хором сказали «Тамарочка», а к вечеру в понедельник на газоне за новенькой будкой трава от мочи пожухла. А ведь сколько трудящиеся просили, писали, требовали... Изнервничались все, а проку? Если б не она, Тамарочка, ходили бы, как прежде, освежаться в тридесятый квартал.

И женщины, — не такие уж они беспонятные, чтобы своей пользы не видеть, — сменили первоначальную злость на ревность, да и то, — больше для острастки.

— Иван! — зовет жена, перегнувшись через балконные перила. — Ваня! Ужинать!

Блажен муж пригибается в толпе, как в кустарнике, и бормочет:

— Меня нет. Я пошел к Артёму.

— Его нет! Он пошел к Артёму! — честно отвечают двое отзывчивых в один голос.

— А ты чего рот раззявил? — слышится тремя этажами ниже, у самой земли. — Свербит? А ты сходи, сходи... Больно ты ей нужен, замазурик. Могать набор она таких не хотела... Там, девствительно, люди, — посмотреть приятно. Беспечут жену! Снабдевают семью! Из-под земли что хотишь достанут! И он туда же, алкаш рублёвый...

Это не злоба. Это мелочная женская месть. Не стоит обращать на нее внимание настоящим мужчинам, которых собралось уже человек двадцать, а то и больше.

— Давай, давай, давай! Ещё! Ещё! Так-так-так-так-так-так! Ещё разок! Ещё! Ну, с оттяжкой! Вот так! Вали! Ровней! Живей! Шуруй! Ах-ха! Ах-ха!..

Когда наступает передышка, толпой правит иллюзия полного соучастия, и каждый старается хотя бы морально подсобить Тамарочке в ее трудном, но живом деле.

— Жми!

— Качай!

— Фугуй!

— Работай!

— Поспевай!

— Внедряй!

— Действуй!

— Претворяй!

- Выполни!
- Осуществляй!
- Реализуй!
- Наддай!
- Пришпорь!
- Прибавь!
- Шибче!
- Круче!
- Ширше!
- Глубже!
- Дальше!
- Не тормози!
- Не подгадь!
- Не части!
- Не мелькай!
- Подтянись!
- Не отставай!
- Попусти!
- Придави!
- Дручком!
- Винтом!

— Вперёд! и так далее, включая реплику младшего брата, с акцентом, но достойно представляющего восторги национальных меньшинств:

— Ай, лубим руски баба! Ай, как лубим! Ай, маладесс!

Как правило, мужчины относятся к Тamarочке бережно, почтительно, можно сказать, благоговейно и взирают на нее так же, как читатели мужского пола на любимую поэтессу, искренне при этом забывая, что она тоже женщина. Тamarочка отвечает им полной взаимностью, имея опыт и взяв за принцип не пакостить соседу в карман, не давать, где живет, и не жить, где дает. За это ее тоже ценят, женщины в особенности... Популярность у нее — куда там депутату Верховного Совета! Да и делает она куда больше, чем депутат. И хоть ее деятельность не изливается благами в три ручья на всех и каждого, фиолетовцы знают, что у нее за спиной, как за каменной стеной. Столько она хорошего для них сделала, столько хорошего... Завтра, к примеру, воскресенье. Доминошники наиграли художественно ведра на два пива, да еще столько же Тamarочка поставит. Бесплатно. На водку она скупая, всех не упоишь, а вот побаловать мужчинок пивком по случаю седьмого светлого дня имеет женскую слабость.

Раза два-три на неделе к подъезду Тamarочки подруливают машины и из них выгружают то цельную баранью тушу в рогожке, то ящики с коньяком и шампанским, а то ковер либо телевизор. Однажды привозили сборную тахту таких сказочных габаритов, что только бабе Яге кувыряться: «Покачусь — повалюсь, Иванушкиного мясца наевшись!» Полдома сбежалось

глядеть, как ее, импортную, втаскивают по частям, и как ее, семиспальную, устраивают в центральных покоях.

Дело обыкновенное: привозят Тamarочке — перепадает много. Худшая часть барана тем, кто мясо редко нюхает. Лишний телевизор за треть цены. Фрукты, чтобы не испортились, многодетным. А уж сколько целковых и трёшниц у нее перебрали без отдачи! — и по нужде, и по слезам, и по крохам, — что говорить, кроме спасибо . . .

Всё-таки женщины не могут пересилить натуру и вести себя прилично, ни одна не может. Есть в них что-то продажное, товарное, рыночное, так бы и сказал — конъюнктура. Когда они глядят, как посыльные молодцы волокут к Тamarочке кучу всякого добра, их либо крупный пот прошибает от зависти, либо губы пересыхают чуть не в растреск, а в глазах одно и то же: «И я могла бы . . .»

— Ой! Ой! Задел! Достал! Зацепил! До печёнок! Ой! Шиколад! Мармелад! Халва! Ой! Милый! Родный! Сладкий! Хорррошенький! Ой-я! Режь меня! Люби меня! Казни меня! Вахрррррр! Кусай! Щипай! Рррви на куски! Ой, подходит! Ой, скоро! Не останавлива . . . а . . . а . . . аааааа!

Долгий резаный крик обрывается на верхнем пределе Тamarочкиного контральто, и сразу же, как шок, чувствуется жуткая тишина, чёрный какой-то провал и пустота то ли в теле, то ли в жизни, то ли в надеждах, то ли шут его знает где. Эти смутные ощущения переживает каждый, потому что никто не уходит, все сидят или стоят заколдованные, пришибленные, неживые, лишь сопят глубоко и шумно. Посмотреть на них мимоходом — собрались люди, молчат, думают, а о чём? О чём думать, когда и без того ясно, да боязно. И непривычно тоже. Так повздыхав, покашляв и помычав, они потихоньку растекаются. Владелец переноски вывинчивает сайровую лампу, сматывает шнур и уходит. Остается ночная темнота и несколько человек, решивших сидеть до победы.

К тому времени, когда наши героини-космонавты включили на небе всё, что включается, и повернули держак к полуночи звёздный ковш, к дому подкатывает «Волга» и дает два коротких гудка. Немного погодя, из подъезда выходит фигура и, не спеша, идет к машине, где в альковном свете подфарников заметна услужливо приоткрытая дверца салона.

Журналист

— Эй, журналист! А ну, выходи!

Нюрка стоит в тощем, словно золотухой побитом садике, собой — длинная, костлявая и замызганная до невозможности. Наметившись белесыми от пьянства глазами на балкон третьего этажа, она машет рукой и напоминает кулачного бойца. Здесь ее место. С другой стороны нельзя; там детишки бегают умытые, женщины под вечер джерси, какие поновей, разношивают, персональные машины с задними занавесками туда-сюда, бывает, проскакивают, мужчины здешние в домино по вечерам надсаживаются и фонтан фигурно выпятился: гипсовый пионер с горном, а из труба вместо музыки должна, по идее, струя бить, но ни разу пока не ударила и вряд ли когда ударит, если воду не подведут. Это ничего. Пусть даже и не подведут, Нюрка рядом с пионером все равно оставляет желать, чтобы ее и духу там не было. С тыльной стороны дома — пожалуйста, другой разговор. Там садик, школьники когда-то насадили. Никто за него не в ответе, никто не присматривает, потому что общий, то есть, ничей, и в нем, среди чертополоха и лебеды, Нюрке торчать в самый раз. Это отсюда она задирается и рукой машет.

Противником у нее Вася Ипатов. Ходит она к нему по сезону и в разные дни, но старается к вечеру, когда народ с работы соберется, а Нюрка, даром что возраст, и сама не без дела, да и Васе до пенсии еще пахать да пахать в сельхозотделе областной газеты. Враг он ей — хуже не бывает, и не отцепится она от него добром, хоть ты ей говори, хоть нет, — это точно, об этом на всех пяти этажах знают. Ее сколько ублажали: «Нюрка, да чхни ты на него. На кой он тебе сто лет приснился, кандей, здоровье на него трагить», — но все напрасно, никого ей взамен не надо, а здоровьем своим каждый сам распоряжается, и нет такого закона, чтобы расходовать его только по указанию. Если Вася долго не выходит, она его подгоняет:

— Ага, супостат! Боишься, собачьи твои шары! Иди, иди, я тебе наведу критику на политику . . .

Случается, что Васи нет дома. Тогда, выругавшись на тот же балкон, она взывает ко всем жильцам безадресно:

— Скажите кандею, Нюра была. Придет скоро.

И, потоптавши будяки, уходит. Но если Вася у себя дома, не было дня, чтобы он заупрямился и не вышел.

С виду он — ничего не скажешь: неприметный, обыкновенный. Улыбнешься ему — он тоже; привет издали пошлешь — сразу же ответ получишь; руку подашь — пожмет; подмигнешь — и он подмигивать мастер; спросишь про жизнь — узнаешь, что жизнь у него либо молодая, либо ключом бьет по голове, либо, как в Польше, причем, абсолютно без намека на неприятности, которые там впоследствии разразились; ты ему — анекдот, он тебе — другой; ты рассмеялся, — глядишь, и он смеяться умеет. Ну, вот. Вроде и человек знакомый, и видишь его день в день, а зажмуришься припомнить, — не тут-то было, и не оттого, что память отшибло или слов недостает по скудости языка, а просто тип он такой: без признаков, без личных примет, даже как бы без определенного роста, не говоря уже о мелочах. Его и на групповых фотографиях трудно угадать. Смотришь, смотришь, — коллектив налицо: здесь шеф живот разложил, возле — зам норовит а-ля-Хемингуэль запечатлеться, дальше — ответсекретарь ногу на ногу закинул, рядом Васина Галя туфелькой с ним контактит, остальные тоже, кто где примостился, одного Васи нет. «А вот он, я», — показывает Вася на человека совершенно незнакомого, предоставляя вам смущаться до красноты. Газетный художник пробовал его на лоне природы изобразить, так «природа, — говорит, — удалась, только на лоне у нее дырка прохудилась». А что? — вполне возможно. Не всякому его портрет в руки дается, а тем более словами или даже за хорошие деньги, потому что говорить о Васе вне обстоятельств и описывать зеркало без оправы — почти одно и то же.

Иное дело — на балконе, куда Вася на Нюркин клич выходит. Появляется он по-домашнему: оранжевые носочки, зеленые шлепанцы, темные семейные трусы и уйма всяких характерностей. Прежде на них никто бы не обернулся, но теперь — ба! — да это же страхолюдие, вражеский шарж на цивилизацию и поклеп на природу: голова дулей, плечи стесаны, шея — чисто у гусака, руки малость не до колен и весь он — спереди, сбоку и откуда ни прикинь — ровная по отвесу черта, лишь ноги внизу двоятся. Зевая, подходит он к перилам; одной рукой бедро чешет, другую схоронил за спину и держит в ней кирпич — не кирпич, но что-то крупное и под цвет носочков. Он ложится грудью на балясину, вытягивается шеей и кричит Нюрке:

— Чего тебе? Опять приплелась? А ну, линий отсюда, покуда не поздно. Ишь, заладила! Вонючка!

Язык скандалов краток и выразителен, — иначе нельзя. Стиль, слог, правила — все в нем свое, поэтому он похож и на лозунг, и на боевой призыв. Например: «Долой самодержавие!» Или: «Умрем как один!» А то просто: «Ура!» и дело с концом. А ежели сказать: «Пламенный привет работникам коммунального хозяйства, борющимся под знаменем качественного осу-

ществления и перевыполнения принятых . . .» и так далее, — это даже и не лозунг, потому что стакан воды проглотишь, пока выкричишься. Скандал, как и лозунг, отличается краткостью фразы. Придаточные длинноты, деепричастное празднословие и вводная отсебятина вредят хорошему скандалу примерно так же, как истине доказательства. Писателям особенно следует об этом помнить, если они не хотят, чтобы их персонажи выглядели болтунами, а не порядочными скандалистами.

В этом смысле Вася прямо-таки молодец и очень натурально себя ведет. Между прочим, он и факультет журнализма окончил, и слова всякие умеет, — хоть устные, хоть письменные, хоть какие, — и ничего патриотического не выдумывает, потому что знает: печать и жизнь — две большие разницы и не надо их путать, не надо в живом общении на газетную латынь сбиваться, а то придешь однажды на работу, а там спросят: «Кто это тебе, Василий, шею узлом завязал?» И Нюрке много не нужно, — лишь бы ухватиться. Она и хватается, одышливо поводя боками, точно старая коняга из хомута вынутая.

— Так, так, так, — кивает она Васе. — Вонючка, значит? Ладно, вонючка. А ты, трепач, кто такой права качать? Ну, кто ты из себя? Балабол, кандей и больш ничто. — Она попутно добавляет еще несколько выражений насчет Васиной мамы-мантулочки, и об этом громко оповещает с дальнего балкона чей-то акселерат на изломе голосовых связок:

— Ма! Ну, скорей же! Нюрка пришла! Ругается!

Балабол — пусть, трепач — полбеда, но вот кандей . . . В лексиконах это слово не обозначено, толковать о нем по сегодня не взялись и неизвестно, когда еще возьмутся. Васе от этого не легче, потому что чувствовать себя некомпетентным должностью не позволяет, а обиду терпеть — добро бы от кого, только не от Нюрки. Пока Вася обижается, а Нюрка твердеет скулами, накаляясь похмельной стервозностью, места на балконах и в лоджиях разобраны от земли до крыши. Жильцы, — кто помылся, кто не успел, кто перекусил, кто нет, кто домой только-только приволокся, язык на плечо вывалив, — всё трын-трава, все на воздух сыпанули со стульями, с женами, с детьми, с пельменями, с сигаретами, с чайниками. Те, у кого балконы с невыгодной стороны, тоже здесь не сам-друг из-за обычая ходить на Нюрку семьями, как прежде к соседу на телевизор ходили. Места для гостей больше стоячие, но это даже хорошо, потому что ежели снизу глянуть, — лопни глаза! — чистый Колизей, а не пятиэтажная коммуналка.

Нюрка таскается по Васину душу, еще до того, как он сюда перебрался. Раньше он в другом конце города жил и, как член союза журналистов подал на расширение, поскольку ему полагался отдельный дома кабинет, раз работа такая, чтобы не мешал никто, да еще жена Галя, тоже журналистка, то есть, выходит, уже два кабинета, да двое детей, обе девочки, млад-

шая от Васи, «а старшую, — заявлял он не без гордости, — я усыновил». Но как было расширяться, если в кабинетах проживал тогда еврейский клан на две семьи, человек, говорят, чертова дюжина, все конопатые, кривоносые, трефного в рот не брали, субботы блюли паче Первомай, кур резать к раввину бегали и который год подряд просились у властей к высотам Синайским на покаяние.

Для начала Вася разгромил национальные пережитки статьей «Кому это на руку?», после чего аидов прогнали с работы. Потом опубликовал фельетон «Частная лавочка», и их крепко штрафанули за спекуляцию не нашим бархлом. Затем было открытое письмо «Коллектив одобряет» (подпись чужая, пальцы Васины) и ответ на него «Не пора ли одуматься, товарищи Мовшезоны?» (подпись Васиная). Короче, сел он на них за гонорары и не слезал до последнего. Гена Калитин из отдела писем ему нет-нет да говорил: «Вася, брось! Вася, притормози. Вася, не рви подметки. Что ты делаешь, Вася? Иудеи твои уже не кур, а собственный член, поди, без соли доедают, — угомонись. Да и тема, старик, дерьмовая, коричневая, честно признаться». Но Вася не бросал, не тормозил и рвал подметки, пока иудеев кагалом не спровадили к пресловутым высотам, что дало ему шанс тиснуть напоследок «Сорную траву долой с поля», а на Генкины советы отвечал: «Газетчик из тебя, ё-кэ-лэ-мэ-нэ! Правильно, дерьмовая. Ты вот скрути из дерьма конфетку, тогда я скажу, что ты журналист».

Касательно Генки Вася как в воду глядел: газетчик из него оказался, действительно, дырявый и его вскоре прогнали. А получилось так. Заскакивает как-то Генка в сельхозотдел, а сам температурит от азарта и криком кричит, что там-то и там-то два человечка на выход из партии подали и что его теперь командируют объективно с этим разобраться. Вася его поздравил, улыбнулся тоненько и выпроводил, так что он еще с полчаса носился по отделам и до того трезвонил, — сквозь стены было слышать: «Ребята! Еду! Материал! Двое! Из рядов! Добровольно! Сознательно! С высшим образом...» Ну, и дурак же! Съездил, вернулся, а на него приказ. Должностное несоответствие. Не на своем месте товарищ, не по призванию трудится, без должного подъема и так далее. Выходит, прав был Вася, когда поучал, что из чего путного немудрено конфеты крутить, а вот попробуй их из дерьма... Аргументы у него вообще были сильными и неожиданными. Он ими и горсовет задавил: «Я журналист! Я творец! Я баба! Я рожаю!» — пробиваясь сквозь толпу бездомных горожан, как беременная женщина, — животом. Проще говоря, свою расширенную жилплощадь Вася не призом за красоту взял, а из зубов, надо понимать, вырвал.

Враг, между тем, не дремал. Едва старшему литсотруднику Ипатову Василию Ивановичу вручили ордер с пожеланиями благополучных родов и всяческого многодетства, Нюрка уже

выведала, — куда; он лишь дверь начерно прорубил, укрупняя две квартиры в одну, а она уже догадалась, где будет Васин кабинет; он только что приступил к антисемитской дезинфекции широкого жилья, а она тут как тут под балконом, — «Эй, журналист!» — кричит. Скандал получился, ей-ей, с новосельем, жильцы о таком соседе и мечтать не смели, а Нюрка с воем подалась к себе в полуподвал хлорный раствор отмывать.

Война у них давнишняя. Они еще и не знакомились, а конфликт уже назревал. Вася тогда был молодой студент и не наизусть еще усвоил зачем, почему и на что людям нужны газеты, а у Нюрки короткий бабий век кончался. На исходе этого самого века и нагуляла она себе по пьяне глухонемую девочку с незабудковыми глазами и с прочерком вместо отчества. Граждане, конечно, возмутились: кто говорил «нищих плодить», кто — «не имеет права», кто — «зачем только живут такие», а девочка, тонкая поросль в дремучем бору, по врожденному своему счастью ничего этого не могла слышать, всем улыбалась и благополучно росла целую пятилетку.

К тому времени Вася окончил институт, прибыл по распределению и успел прописаться в местном листке статьями: «Рекорды по плечу каждому», «Почему бездействуют фонтаны?» и «За работу, товарищи!» Статьи областному начальству очень понравились и о Васе сразу же заговорили, какой он, дескать, молодой и растущий. Тут еще подоспела борьба с пьянством до того отчаянная, что не на жизнь, а на смерть. И чего только ни делали! На водку цены поднимали, алкоголиков по телевидению вместо кинокомедий показывали, административно их выселяли, высылали, принудлечили... Словом, шуму было, как на ярмарке.

Под этот шум и угораздило Васю написать статью «Таким пощады нет», где он пропесочил по первое число легкое нюркино поведение и все ее пьянки-гулянки, от которых девочка бесперечь страдала и не имела правильных понятий о природе и обществе. Может, оно бы и ничего, если бы на том дело кончилось. Но собрали комиссию, изучили беспощадную статью и силой отрешили незабудку-замарашку от матери из полуподвала в общий светлый дом, где и без нее было полно грустных детей. Оно и опять-таки, возможно, обошлось бы, да девочка в приюте занедужила и померла, одни говорят — от тоски, другие — от простуды, хотя наверняка никто не знает, а впрочем, скорей всего, от простуды, потому что вряд ли какое дите будет по такой грязнухе и пьянице, как Нюрка, тосковать. Дело, в общем, темное, только с того дня не стало Васе от Нюрки проходу, и ни в одной перебранке не минует она своих обвинений:

— Ты пошто, иродова душа, ребленка снистожил безвинно?

— Нужен мне твой ребленок, — отвечает Вася, — как знаешь что? Сказал бы, да людей совестно.

Врет Вася, на публику работает, на симпатию бьет. Никого

ему не совестно, все об этом знают, оттого и побаиваются с оговоркой: двое дерутся, третий не мешай. А все ж таки смотрят, потому что любопытно это, куда интересней, чем какой-нибудь хоккеей или даже бокс, где все подстроено да и то — до первой лишь крови.

— Снистожил, снистожил! — радостно грозит Нюрка перстом. — Золотиночку мою болезную сгубил, говорю, ангельскую душу, кандей. . .

— Алкашка, сходи просппись, — советует ей Вася и смеется, а зубы у него ядреные и десны розовые.

В голове у Нюрки кружная карусель, и мысли одна с другой наперегонки прыгают. Оскалившись выпры, она забывает о золотиночке и вгрызается в ближайший предмет, как цепной пес в палку.

— Пьяный проспится, дурак — никогда!

— От дуры слышу!

— Сволочь!

— От сволочи слышу!

— Паскуда!

— От паскуды слышу!

— Гад полосатый!

— От гадюки слышу!

Язык у Васи — оселок бритвы править, никому спуска не даст. Его за это соседи страсть как не любят. Он их тоже, потому что сплошь одни гегемоны, как рабочих в редакции называют, пьют не меньше Нюрки, в целом доме ни одной семьи порядочной, пойти не к кому. Вася с ними сосуществует — он их боится, они его, а кто кого пуще, неизвестно, потому что каждый сам себе умен соображать: дети, семья, работа, то-сё. . . Но Васю боятся больше, — бессовестный он, говорят. Конечно, тут много кой-чего можно в ответ насказать: что, мол, за беда? подумаешь, совесть! соседка соседку вона по два раза на дню этим честит и — ничего. Да это все не то. О Васе, что он бессовестный, передают шепотком и рукой закрываются, чтобы ветром не разнесло, только краем уха и зацепишь: — «Ужась! Ужась!» В любой сваре поэтому гегемоны поощряют Нюрку, а не его, хоть и анонимно, когда голос в хоре тонет.

— Нюрка, не сдавайсь!

— Надрай ему холку, кандею базлатому!

— Промежду рог звездани!

— Наждачком его, Нюра!

— Ты ему прессу зачитай, прессу!

— Таким пощады нет!

— Маральную основу разлитого сицилитического опчества. . .

Нюрке поддакивают. Нюрку направляют. Нюрке напоминают заголовок и даже запев черт-те-когдашней статьи, которую она привыкла исполнять под балконами, как серенаду, и

все жильцы давно выучили. Она уже старая, Нюрка, и с причудами, к тому же верующая, хотя об этом мало кто знает, а сейчас это и вовсе не к месту, не будь нужда сказать, что газетную Васину бяку она помнит так же наизубок, как «Отче наш», и в подсказках надобность имеет не больше, чем актер в бисировании. Она суетится, ставит потверже ноги, чистит харканьем гортань, сплевывает в лопухи, вытирает подолом набрякшее лицо и, вдохнув нового воздуха, будто в воду прыгать собралась, приступает к декламации. Потеха с ней!

Длинные периоды, на которых Вася собаку съел, она выдает до того без запинки, словно в одночасье институт кончала с отличием; вымороченная наукоподобная заумь и неудобосказуемая чертовщина, которыми наши газеты в особенности отличаются, летят из ее корявого рта, как гуси-лебеди; цитаты великих нюркиных современников о народе и законе звучат слово в слово и так убеждают, что и сомневаться не надо, кто над кем и кто для кого: закон для людей или же наоборот. Само собой, читка газеты вслух да еще в который раз не оказывала бы на публику циркового воздействия, если бы Нюрка сугубо и трегубо не сдобривала текст замечаниями, телодвижением и словотворчеством.

За искренность ее замечаний можно поручиться, но привести их черным по белому значило бы потерять репутацию и кое-что еще в глазах людей и учреждений, к которым нюркины комментарии относятся, как шрапнель к искусству. Жесты у нее — точь-в-точь она сама, такие раздерганные и нелепые, что и театр абсурда не мог бы придумать ничего экстравагантней. Что до слов, то они у Нюрки непохожие, потому что зубов не хватает, и говорит она, будто горячей каши в рот напихала, а гегемоны такой народ, лишь бы посмеяться. А отчего смеются, поди, узнай. Если оттого, что у косноязыких старые слова новыми понятиями обрастают, так есть еще хуже Нюрки говорят и никто над ними не смеется, — «Нельзя, — говорят, — над начальством». Вообще-то, гегемоны люди не злые, только робкие очень и со всех сторон затурканые. К Нюрке они — вполне, и речь ее им гораздо ближе, чем какая-то официальная «Доколе, Катилина?»

Вася изо всех один, кому этот спектакль — нож острый. Давние свои статьи он любит наедине почитывать и держит полное собрание публикаций, но не любит, когда их другие трогают, особенно Нюрка, а она публично похабит Васину мысль и оскорбляет не только его, но и маму-мантулечку, которая далеко отсюда и ни при чем. Понять Васины страдания можно, если достать газетку постарее, лет этак за двадцать-тридцать, словом, чем старее, тем понятней будет. Каково читать, — кто пробовал? То-то. В свое время не сразу было доглядеться, что там. Вроде что-то большое, громоздкое, ни глазом окинуть, ни смыслом объять, а поодаль времени — ах, чтоб тебя разняло! —

пустое несли, братцы, луну ругали, комара миром треножили, свет охажками в подпол таскали, спотыкались на ровном месте. Вот и не выдают прежних газет на руки, «потому что незачем, — русским языком вам говорят». Вася хоть и новой породы, и стыд к нему не пристает, а все же неуютное у него самочувствие. Со стороны видать, как его корчит престижная лихорадка, и выглядит он, ни больше ни меньше, — раненый гладиатор, умоляющий о пощаде.

— Что возьмешь с дуры с малохольной! — обращается он за милостыней к ближайшему балкону и, не дождавшись, шлепает рукой по ляжке.

Коммунальный Колизей угрюмо сопит и для полноты сходства здесь не хватает лишь больших пальцев, указующих вниз, да возгласов: «Добей его, Нюрка!» При виде огульной жестокости у кого сердце не дрогнет? Поневоле забывается, что Вася лишен чувства срамоты, и мнится, будто он такой как все: не выдержит и уйдет в дом переживать, каяться, страдать всячески, ужин от себя отвергнет, ночью век не смежит, возможно, даже расплачется под одеялом, а Галя, терзаясь вместе с ним, станет шептать утешения и разглаживать его линиялы вихры. Право, не грех возомнить, только Вася сам же не дает.

— Тварь худая! — кричит он Нюрке. — Свинья неумытая! Пьянюга! Я вот тебя, голодранка, в милицию сдам, будешь знать!

Опять врет Вася. Ни в какую милицию он ее не сдаст. Да милиция и сама не захочет с ней связываться, потому что ей от нюркиных задержаний никакого перевыполнения, одни убытки. Денег у нее ни копейки, трудовой книжки нету, пенсия не положена, штраф взыскать неоткуда. Нюрка, правда, не побирается, сама себе на хлеб и вино зарабатывает. Состоит она при деле у Сони-сукотницы, что в продмаге вином торгует, а стаканов для распива не дает и посуду обратно не принимает: «Тары, — говорит, — на вас, бухарей, не настачишься, во двор марш!» Во дворе за углом Нюрка с гранеными стаканами, как по заказу. Она бухарикам — стаканы, а они ей за это каких только бутылок не понаоставляют: и портвейн, и билэ мицнэ, и вермут, и даже такие, где по-заграничному «когнак» написано. К закрытию Соня посуду приберет и выдаст Нюрке пол-литра забористого сусла да банку овощных консервов. А ей этого еще как вдосталь: глоток-два-три и давай по тротуару горло драть.

Гуляй, гуляй, эх, наслаждайся,
Пока с больницы выйду я,
А потом остерегайся,
Залью карболкою глаза.

Песни у Нюрки, конечно, чуждые, так ведь не для эстрады, — для себя человек поет, а голос она пропила, и он у нее негромкий, гнусавый и какой-то с ворсом, вроде шерстяной. Милиционеры знают ее как свою, лишь улыбаются встречь да

спросят иной раз по-хорошему: «Что, Нюра, уже настобалась?» Если же ее когда редко-редко заберут, то к авансу или к поллучке обязательно выпустят, потому что гегемоны по этим дням пьют наповал, а милиция, хоть про нее и пишут, будто она общественными интересами сыта, однако бражнику при деньгах туда лучше не попадать, — обчистят. Вася же против милиции пока еще мелко плавал и невелик в чинах распорядиться, кого забирать, кого оставить.

— Слышь, кандей, а кандей? — спрашивает внезапно при-смившаяся Нюрка. — Ну, не мне, так Богу ответь: неуж тебе моей зареньки несмыслёной не жалко? Ма-аленичка она, кандей, несча-астненька... Не може того быть, чтоб не жалко. А, журналист? У тебя ж своих двое...

Будь Вася как все, он сразу же бы ответил: «Нашла, о чем толковать, Нюрка! Ясно — жаль, даром что я твою девчонку в глаза не видал. Пойми меня, как зверь зверя: мне приказали, я написал — и все. Не напиши я, другой бы написал или третий, а мне бы только хуже было. А кто сам себе враг? Спроси у людей». И ушла бы Нюрка, только бы ее и видели, и не стала бы приходить, смекнув, что Вася — сволочь, но не больше других. Жаль, что Вася не такой, как все, а современный. Сперва он обращается к зрителям:

— Вот же, бестолочь, привязалась. Ты ей про Фому, она про Ерему. Что с ней будешь...

Потом к Нюрке:

— Идиотка! Катись ты, знаешь куда? Кретинка! Я ее знать не знаю и знать не хочу, маленичкой твоей, — понятно? Жалеть еще буду, — ё-кэ-лэ-мэ-нэ! — чего захотела. Дура ненормальная, виноватых ищет. Пьянствовать не надо было.

— Ага, — соображает Нюрка. — Не жаль, знать. Ах, ты...

Она собирает лицо в кучу, жует задумчиво губами и, уморительно подпрыгнув, посылает Васе смачный плевок.

— Тьфу!

Доплюнуть с земли до третьего этажа никому в истории материальной культуры не удавалось, а Нюрке и подавно. Все это — просто так, видимость, угроза без исполнения, да и сил у нее еле-еле через губу переплюнуть. Но Вася только этого и ждал. С быстротой молнии выхватывает он из-за спины оранжевую штуковину, которая оказывается клизмой-спринцовкой емкостью в литр, и поражает обидчицу непрерывной, упругой струей. Нюрка ловчит, финтит, мнет бурьян, цепляясь за чихлое деревце, но струя сверкает на солнце, как нержавейка, и бьет без промаха, так что весь почти литр уходит на нюркино орошение от макушки до колен. После купания она делается еще несчастней, а Вася — выше ростом, и на лице у него застывает придурковатое выражение оболтуса, который только что попал камнем в кота на заборе.

— Схватила? — ликует он сверху. — Ну, и как? Что теперь скажешь хорошенького? Не сладко? Га-га-га! Ничего! Лучше расти будешь на урожай... Тварь чумовая! Думает, это ей задаром обойдется. На всякое ядие есть противоядие, — понятно? Погоди, я тебе, ё-кэ-лэ-мэ-нэ, еще не то устрою, будешь знать.

Врет. Больше, чем устроено, ничего он ей не устроит, — это гвоздь его программы из раза в раз. Нюрка тоже балда порядочная, — знает и оберечься не может. Впрочем, чихать ей на всех, — что на Васю, что на клизму, что на свидетелей, — мокрое лето быстро сохнет, и грязь отшелушится, как на собаке.

Момент исключительно детский и трудно о нем сказать проще и ясней, чем гласят афиши кукольного театра: «Дети, для вас!», потому что он, действительно, для них. Какая возня поднимается на балконах! Сколько неподдельного торжества, альтовых восторгов и несовершеннолетней радости! Визг стоит, когда Вася Нюрку поливает, — подумаешь, детишки сами в бассейне плещутся. А на взрослых лицах самодовольства и гордости — сердце поет глядеть и слеза прошибает. Плохо только, что папы с мамами не понимают, как детям недостает сейчас маленьких цветных клизмочек, чтобы поиграть вместе с Васей. А может и понимают, да не по карману игрушка.

Гегемоны бедно живут. Вася пишет в газетке, что жизнь у них — умирать не надо, но это не так, стоит лишь заглянуть. Вот у одних на довоенном комодке олень-копилка медяки складывать и нога отломана, чтобы тут же и вынуть. У других, вроде бы, все есть: машина в боксе, мебель, книги, телевизор, даже картина в полстены, — сисястая наядя прет кролем через озеро и пупочек видать. У третьих наволочка с золотыми попугаями, ни разу не надеванная с того дня, как покойный хозяин привез ее после победы из чужих краев. «Все как-то случая не было, — горюет вдова. — Ждали, ждали, а его так и не было». Отчего бы это? Тридцать с лишком лет минуло, дети пережились, муж помер, внук в тюрьме сидит, а случая, достойного трофейных попугаев, все нет и нет. А то еще и так живут: комната, две табуретки и бежевое фортепьяно. Хозяйка на него не надыхнется; и пропить не враз пропьешь, и украсть трудно, и вообще, вещь сама за себя скажет, когда дочери шлепнут по клавишам в четыре руки.

Мамочка родная, сердце разбитое,
Вадик не хочет любить.
Брось, моя Зиночка, брось, не грусти,
Вадик не хочет, другого найди.

Нужно ли еще говорить о местных коллекционерах с их собраниями пробок, бутылок, банок, спичечных коробков и пачек из-под сигарет.

Но самая что ни есть голь перекатная — у Васи в кабинете на полках: полный комплект политических изданий за четверть века, близ которых аквариум с рыбками как-то не выглядит.

Вася говорит, что другие книги сюда ставить нельзя, — авторы не уживаются. Это верно, что не уживаются. Вот и остается убожество с претензиями и скука смертная.

Лишь у Нюрки бедность без затей: всем понятна, никому не в зависть. Отжав край платья, она разглаживает на бедрах мяту мокрець и приговаривает:

— Вот кандей, так кандей! Вот похмелил Нюрку, так похмелил! Ох, жисть поломатая! Вот так журналист! Вот так герой! Чем же мне, бедной, ублажать-то тебя? Благодарить-то чем, а, кандей? Ох, отдам все! — Резво оборотившись к дому спиной с криком: — А это ты не хотел? — она задирает подол и нагибается, адресуя Васе те части тела, которые по допотопному еще обычаю люди прятать норовят, почитая их строго фамильными. Все от мала до велика видят, что Нюрка, то ли по бедности, то ли по закоренелой порочной привычке, не только не носит штанов, но и нимало в таковых не нуждается. Этот достоверный факт веселит мужчин и смущает женщин, но не особо смущает, а так, в охотку.

— Получай сдачу! — отвечает Вася и, сноровисто приспустив широкие семейные трусы, садится на перила.

Какой эффект! Ухнула тяжелая артиллерия и расколола небо. Сотряслась мать-сыра-земля перед светопреставлением. Звякнула посуда. Качнулись люстры. Стрелку зашкалило на четырех баллах по Рихтеру. Взвыла где-то комнатная моська с перепугу. Крупноблочное здание вздрогнуло и за малым не развалилось на составные панели... Вот оно, доказательство маловерам, отрицающим чудеса. А они, тем не менее, приходят, только их перестали замечать и чудо за чудо не принимают... Например, Вася. Куда до него Нюрке! Он и журналист, и общественник, и завотделом, и член редколлегии, и жена с редактором дружбу вертит, а задница у него — близко к нюркиной не поставить: широкая, плоская, белая, с неприличным румянцем на полюсах, шлепни по ней доской плашмя, не сыграет доска, а влипнет, только эхо пойдет. Словом, абсолютно диковинная задница. Нюрка — ноль, мелочь, ничтожество. Все взгляды теперь на Васю, весь смех ему, все слезы ради него. А он, лауреат всеобщего внимания и слезного смеха, поправляет, тем временем, трусы и обращается к Нюрке с речью:

— Эх, ты! Залила глаза! Докатилась! Люди над тобой смеются, — смотреть противно. Погоди, я про тебя еще в «Правду» напишу. На весь Союз прогремишь!

И напишет. Не напечатают только. Хоть Вася и свой брат, а не напечатают. Нельзя. Слишком типично. То есть, типически. А мы не против типичного, мы против типического. И за благородство. А не за рядовую обиденщину. То есть, не за пошлость. То есть, за обиденщину, но не за пошлость, — так будет точней. А еще точней, за благородную героиню нашей повсе-

дневности, против браконьеров, предрассудков и загрязнения среды, — вот.

— Кандей, а кандей! А ты у козы видал? — спрашивает Нюрка и беззубо хохочет. Ничем ее не проймешь, Нюрку, ни «Правдой», ни «Известиями», ни даже «Вышкой», — есть такая газета не то у милиционеров, не то у нефтяников, — ничего она уже не боится. Пока была у нее какая-то надежда, был и страх ее потерять, а как надежда пропала, так и страх весь напрочь отшибло. У всех это одинаково, только постепенней, чем у Нюрки: сперва вера пропадает, потом концы с концами не сходятся, потом терпение лопается, а когда человек махнет рукой и скажет: «А-а, была не была!» — какой тут страх? Гегемоны эту прогрессию лишь начинают осваивать, а Вася к ней еще и не приступал, потому что растущий и надежд у него отсюда до Москвы, а может, и дальше. Он чувствует, что Нюрку бить ему больше нечем, пора играть отбой, да неохота за глупой бабой последнее слово оставлять.

— Посмеешься ты у меня, ё-кэ-лэ-мэ-нэ! — грозит он ей пустой клизмой и, мелькнув носками, уходит, не раскланявшись с балконами. А Нюрка, сорвав еще пару оваций, тоже выбирается на асфальт. Если следить за ней сверху, то кажется, там и асфальта нет никакого, одни только ухабы, рытвины и зигзаги. Песня у нее тоже ухабистая, с переборами:

— Теперь домой... я не пое-ду,

Бо я семей-ство... за-ражу...

Она опять придет. Скоро. И все повторится, разве что у Васи вода будет с чернилами да какой-нибудь постреленок в Нюрку бумажкой запустит. И снова гегемоны выйдут чужую драку смотреть. Они, правда, и без своих не обходятся. Пока Нюрки нет, в каждой квартире то погром, то гульба. Жены мужей винят, — пьют, мол, а мужья говорят, что пьют из-за скандалов. Поди, разберись, когда конца-краю не видно. Нюрка в таких случаях говорит: «Обое — рябое», — так оно, наверное, и есть. Отменить скандалы — мужья все равно пить не перестанут. Мужья пить бросят — жены со скуки еще пуще дебош поднимут. Это проверено: одно другого не ждет, одно другому не мешает. А что мешает? Нюрка, к примеру, говорит, — «жисть поломатая». У всех она, что ли, «поломатая»? Почему? Кто виноват? Трудно сказать, кто. Говорят, общество в ответе за любой пустяк, что в его пределах творится. Если это верно, кому же тогда отвечать по суду грядущему за Васю, за Нюрку, за скудость нашу и дурь несусветную? С гегемонов спрос, как с гуся вода, они народ безответный. А начальство на покойников валит, которые до них жили-были, — это, дескать, они всё... А мертвецов судить древнеримское законодательство запрещает. Вот и приговор: всё само собой катится, всё без причины, у всех алиби.

Ну, хотя бы скандалы. Замужние знают, как их устраивать

Вначале надо ездить по столу чем-нибудь таким, чтобы «гррр! гррр!» получалось; затем опрокинуть что-либо тяжелое и проворчать: «Вечно не по-людски» или «Мужика в доме нет»; не мешаает также со стуком переставить стулья, расколотить тарелку, хлопнуть дверью, подмести черепки и осыпь штукатурки, обляять детей и, схватив молоток, вбивать гвоздь куда попало, неважно куда, — можно в подоконник, можно в пол, это не составляет, — важно только пришибить палец и уже с достаточным основанием вылить мужу на голову ведро чертей. Правда, это больше годится для людей труда и зарплаты и уж, конечно, не подходит для натур с тонкой организацией. В интеллигентной семье лучше всего протирать в такие минуты стекло мокрой тряпкой, пока оно, дрянь, стократ не проплачет: «Каксюмент ви-и-из! Каксюмент ви-и-из!» — это очень сблизжает. А еще лучше украдкой вытереть помаду мужниным платком и сказать ему при случае: «Постой, постой... Что это у тебя?» Пока этот тюфяк будет ломать голову где, как и при каких обстоятельствах он оскоромился, жене надо держать формажор навзрыд и, по возможности, с истерикой, чтобы муж на ходу выдумал себе любовницу и чистосердечно во всем сознался. Комплекс вины после этого пропадает и воцаряется полное равноправие. Впрочем, это примеры уже более высокого порядка, а интеллигентов в доме, кроме Ипатовых, шаром покати, поэтому придется брать, что есть.

Пустая, растительная, бестолковая наша жизнь! Я спрашивал у тамошних жен, зачем этот ералаш и кому какая от него выгода. «Чудак, — ласково они объясняли. — Ты ничего не понимаешь. У злых пчел мед слаще. Знаешь, как потом мириться приятно? А муж круг тебя так и захаживается: «Пчелка, дай медку! Пчёлка, дай медку!» Ох, век бы так, до того хорошоночки». И обязательно показывали на Серёгу Веденя, который лупит жену почем зря на почве ревности, а, отлупив, любит без памяти. «Вот это, — говорят, — любовь! Вот это мужчина!» — «Ну, а потом что?» — «А что потом? — отвечают жены. — Потом, как всегда: поскубёмся, помиримся, опять поскубёмся. Всё веселей». — «Что ж тут весёлого? Чем в тесной обуви, так лучше босиком». — «А зимой? — возразила одна сообразительная. — Да ты что! Или хочешь, чтоб у меня, как у Васи? В гробу я видала жить так...»

У Ипатовых, действительно, ничего подобного, никогда. Ладно живут, образцово. Конечно, Васе далеко до романтического Серёги, да и Галя на злюку не похожа, потому что ленива от природы, а злость — чувство резвое, активное. Галя чернява и очень недурна собой, но описывать ее по частям, значило бы на старинку сбиваться, а время такое, что недосуг, и о красивой женщине эксперты теперь судят кратко, говоря: «Всё при ней». Красотки чаще всего ленивы. Гляньте, хотя бы, на Венеру Безрукую и угадайте, сколько в ней чего. Тут и лень-матушка, и

безделье, и готовность выпить-закусить, и презрение к домохозяйству, и долгий день до вечера, и прочее. А как ухожены формы, прежде чем Фидий на них свой глаз основал, а? Вот какие женщины нам нравятся! Нет, ребята, это вам не «эх, Дуня, Дуня, я, комсомолочка моя» из силикатного цеха с репнутыми пятками и заскорузлыми ладонями, а совсем, совсем другая. Так что не время об эмансипации. И о правах тоже не надо. Уж лучше о красотах, — так оно честней.

Галя ближе к Венере, чем к Дуне. Она и пишет лениво. Статьи ее в противность мужниным клонят с кресел на диван уже одними заголовками: «Чтобы дети лучше отдыхали», «Чтобы покупатель был доволен», «Чтобы не было войны», «Чтоб до ста расти», словом, никого не погоняют взащей стимулом, ни на кого не орут: «Давай! Живей!» — и ни в ком не возбуждают никаких намерений. С мужем она тоже разговаривает, не насиливая природу.

— Что крутишься? — затевает Вася. — Делать нечего?

— Не люблю я тебя, Васька, — мирно вздыхает Галя. Он это слышал тысячу раз, но прикидывается удивленным, и его дурашливые глаза смотрят расплывчато и весело.

— Да-а? — вытягивает он шею. — Ну, ты даешь! Значит, любила, любила, а теперь — не хочу, отдай мои игрушки... Что ж ты до этого молчала? Раньше надо было не любить.

— А-а, не выставляйся, — говорит Галя вразяжку, и слова из нее выходят вялые и длинные, как вермишель. — Я и раньше тебе говорила.

— Первый раз слышу, — оживляется Вася. — Честное фествивальное. Не верю ушам. Может, это ты про меня шефу говорила? Или Михал Кирилычу? Или еще кому? Я ж не знаю. Ты меня с кем-то путаешь. Ты вспомни. Если забыла — помогу. Ум — хорошо, два — замечательно...

Галя слегка пошаливает. В редакции у нее три неоконченных романа: с шефом, с ответсекретарем и в промышленном отделе. Возможно, по данному поводу следовало бы заметить: «Как тебе, Галя, не ай-яй-яй!» — но пусть это скажет тот, кому известно, как слепому стать кривым, а люди обыкновенные, авось, не будут ей пенять чересчур строго. Тем более, что Вася в курсе всего и не сердится: шалости проходят на уровне, отношения с шалунами у него дружественные, гонорары приличные, положение устойчивое, перспективы и того лучше. Он долго и старательно втолковывает жене, что не ревнив, что в смысле того-сего у него к ней никаких претензий, что с таким, как он, не жить, а радоваться, а у нее только и на уме: «не люблю» да «не люблю», хотя самой идти некуда и детей двое.

— Тебя и дети не любят, — говорит Галя.

— Ну, это ё-кэ-лэ-мэ-нэ! — возражает он. — Подопрет — полюбят. Куда они денутся? Я их кормлю, учу, воспитываю...

Да, представь себе... Полюбят, не волнуйся. Да ты, чем спорить, спросила бы у Михал Кирилыча или у кого: где ты найдешь лучше? какого тебе не хватает?

Галя молчит. Она уже спрашивала у всех троих, но они женаты и ответ был почти слово в слово с Васей: «Слушай, чего тебе не хватает? Тебе ж любая вслед позавидует: делаешь, что хочешь, не живёшь, а жируешь. Чего от добра добра искать? Ну, не любишь — не люби, тебя ж не обязывают. А кто любит? Э-э, слушай, вечно ты с бзиком: любит, не любит, плюнет, поцелует...»

Развестись Гале мешает лень, а Васе — не с руки; семья — первое дело и в высшую школу через пару лет поступать, а там спросят. Он, ясно, поступит. Мечты у него сбываются запросто. Такой он везучий: мечты есть, а воспоминаний нет и переживаний тоже нет. Раньше были, когда после службы в Германии он в институте учился и неплохо говорил по-немецки, но как-то ударился головой о стропило и весь немецкий вместе с воспоминаниями, как корова языком. Одни только мечты остались. А что им делать, как не сбываться, если у мечтателя в семье порядок? Вася за этим следит в оба. Жена — не Нюрка, с женой у него никаких эксцессов, а на ее объяснения в любви ответ у Васи прямой:

— Только-то? Можешь меня даже презирать. Меня это, знаешь, не колышет, как-нибудь переступлю. Главное, не лезь в бутылку, а остальное — ё-кэ-лэ-мэ-нэ!

— Тебя не проймешь, — говорит Галя.

— Не проймешь, — задорно вторит ей Вася. — Ух, как не проймешь! Что верно, то верно. Ты уж извини. Такой я нехороший мужик. Эт-ты точно подметила, что не проймешь. Опозорю. Прямо на улице. У меня есть чем, ты знаешь.

— То-то, что знаю, — тянет Галя, сводя разговор на нет. Она очень боится, как бы Вася не сделал на людях какую-нибудь непристойность, от которой ей будет нехорошо. О Нюрке она тоже помалкивает. Раньше Галя виснула на его гибкой шее и умоляла не связываться с Нюркой, потому что Нюрка больная и несчастная, но Вася больших и несчастных сызмалу не переносил и сразу же внес в дело ясность:

— Боялся я ее! А люди что подумают, — смекаешь? Значит, скажут, виноват, раз помалкивает. Ты насоветуешь, спасибо. От кого-кого, но от тебя не ожидал... Нашла, об ком тужить! Был бы ребенок, как ребенок, а то debil глухонемой. Какой от нее толк? Кому? Таких скоро будут в зародыше... Очень просто: две тысячи рентген и лучшие пожелания. Вот только медики у нас пока еще фигли-мигли разводят. А медицина — наука общественная, чтоб таких, как Нюрка, со своим детенышем...

О Нюрке он рассуждает охотно и с воодушевлением, прирастрившись к ней за годы, как та к вину. Когда ее долго нет,

он себя чувствует червивым яблоком и никнет, будто парус без ветра, и на работе ходит, как в воду опущенный, только не признается.

А у Нюрки и впрямь перерыв бывает. В конце лета она перестает пить и на вопрос Сони-сукотницы — «Ты чего? Опять, никак, завязала?» — отвечает, глядя поверх: «Деньгами мне». После двух недель «чрезвости», поста и воздержаний от брани, поднакопив рублевиков и прибравшись в стираное, идет Нюрка на Ивана Предтечу в церковь справить по дочери «заупокой», а еще — исповедаться и причаститься. Грехи, с которыми она что ни год является, известны приходскому священнику досконально, и он их ей давным-давно отпустил, а она ходит и ходит. Отец Петр очень для священника молод и сам, наверное, это чувствует, обращаясь к Нюрке по имени вместо «дочь моя».

— Не ропщите на Господа, Нюра. Он не виноват, — тихо говорит отец Петр, возложив руку ей на голову.

— Я не ро... ро... ро... пщу, — силится выговорить Нюрка, но не может и начинает плакать. Она безгласно вздрагивает под золотой епитрахилью, а отец Петр читает молитву и иногда долго, пока опиум для народа не задействует. Но вот он задействовал, и Нюрка помалу затихает, не переставая, однако, хлюпать носом.

— Грешна, батюшка, — хрипло и сыро говорит она.

— Покайтесь, — отзывается батюшка со вздохом и у него получается «успокойтесь».

— Дочка... Тánюшка... некрещёная...

— Отпускается...

— Так некрещёная ж...

— Ангельский чин. Безгрешна.

— Моя вина, батюшка, мой грех.

— Отпускается грех ваш.

— Скурвилась я, батюшка, загуляла... Растошнёхонько...

— Бог прощает, Нюра.

— Как же «прощает», когда блядовала я, говорю.

— Многомилостив и долготерпелив Господь наш. Магдалине много грехов простил, а у вас всего один. Уповайте, Нюра, на Него, не сомневаясь. Чистая вы перед Ним.

— А Танюшка?

— Она знает.

Отец Петр говорит спокойно и сильно, будто он только что оттуда и живой тому свидетель, что «она знает». Если это разложить по нюркиным понятиям, получится таковски: она знает, что Нюрка здесь; она знает, что Нюрка любит ее и не перестанет; она знает, что Нюрке трудно и хочет, чтобы полегчало, а родную мать как не любить? как не пожалеть? Это же совсем другое дело, если «она знает». Нюрке это нужно. Нюрке это — опора. Ей становится легко дышать и грудь отпускает, словно бы туда пробилось что-то такое благодное, чему и названия нет.

Нюрка уверена, что это ей от Тани, что это она и никто другой, что Таня видит, как Нюрка о ней помнит и думает, и тоскует, и мучается, а сколько ей так жить, даже отцу Петру неизвестно, потому что он всего лишь посредник и не все наперед может сказать.

Укрепившись, она встает с колен и осеняется, а отец Пётр, скрипнув протезом, дает ей причастие из ложечки и кусочек просфоры. Отстояв службу и неуклюже чмокнув батюшке руку, Нюрка покидает церковь моложе и новей, чем приходила. День-деньской она стережётся молвить скверное слово или сплунуть ненароком и, совсем забыв о Васе, не пьёт ещё неделю-другую.

У отца Петра лицо князя Мышкина, только глаза глубже посажены и одной ноги нет. На исповедях ему обязательно кто-нибудь из причта помогает, чтобы он, калека, не обронил святыне дары. Согласно уставу, увечных в священники не рукополагают, но с отцом Петром несчастье случилось уже когда он был пастырем, и после отсидки прихожане выклячили его обратно у епархиальных властей, а те согласились, так как у них с кадрами было не густо. Ногу же отцу Петру в лагере вагонеткой отдало, поэтому у него протез. На нём он и скрипит, правя годовые и двенадцатые. Нюрку ему крепко жаль, и он аполитично утверждает, что ей, страждущей и неприкаянной, только монастырь и помог бы, да где он, тот монастырь? Не исключено, что отец Пётр ошибается, как все люди, и Нюрку, возможно, выручил бы тот же здоровый коллектив, о котором газеты взахлёб трубят, но опять-таки, — откуда у больного здоровье?

А Нюрку от порядочной и «чрезвой» жизни одолевает по ночам сон, — один и тот же. Она его видит всякий раз, когда не пьёт долго, и подробно помнит, потому что он для нее привычная уже действительность, куда Нюрка может вернуться так же обыкновенно, как в уютное свое жилище, чтобы всё заново пересмотреть. Он пёстрый, разноцветный и красивый, но Нюрка вовсе не удивляется, принимая его за продлённый день или за недалёкую и неутомительную поездку в гости.

Снится ей березовый остров, ромашковый луг, воздух, искрящийся точно от невидимых снежинок, и очень кругом опрятно. А по лугу идет светлая молчаливая девочка с незабудковыми глазами. Платье на ней новое, в сборку, рукава-фонарики, косички заплетены и ног от пахучей травы не видно. Это Нюркина Таня. Сколько лет прошло, а она такая же, как была, потому что люди в раю не растут, а остаются, какими туда попали. Так бы и кинулась к ней Нюрка, но знает, что нельзя, пока она отдельно от нее живет. А что Таня в раю, Нюрка не сомневается: земли там нигде не заметно, сколько ни высматривай; солнца тоже нет, а свету — светлей, чем в солнечный летом полдень; воздух — есть-пить не хочется, такой он све-

жий и питательный. На температуру Нюрка, правда, внимания не обратила, но говорит, что не холодно и не жарко. Конечно, при температуре, скажем, тридцать шесть и семь люди вообще перестают ее ощущать, а ежели она еще и постоянная, к ней иначе и отнестись невозможно, так как она вроде сонной артерии: жить без нее — умрешь, а почувствовать нельзя.

Не нагладелась бы Нюрка на Таню со стороны и без просыпу, но вдруг замечает непорядок в райских куцах: кто-то там есть. Она вглядывается и видит, что это Вася от ствола к стволу, пригнувшись, перебегает. Он в одних только семейных трусах и в руке у него что-то газеткой обёрнуто. Нюрке не видно что, но знает она точно: молоток. Как Вася в рай затесался, ей уже нет часу размышлять, — слишком уж настырно он, кандей, за Таней охотится: молчком, молчком, от дерева к дереву, ближе, ближе . . .

— Танюшка-а! Доча-а! Борони-и-ись! — кричит Нюрка в голос. Но Таня не слышит, потому что глухонемая. Она только смотрит на мать, узнаёт, и на губах у нее утренняя улыбка. У Нюрки от страха волосья дыбом. Обеспамятев, она рвется с топчана и вопит, ей кажется, что мбчи, хотя наяву крик получается совсем какой-то раздавленный и едва слышен даже в каморке:

— Ка-а-анде-е-ей!

И просыпается. Если ей не пить дольше, сон опять придет. Раньше Нюрка была покрепче и могла смотреть его по многу раз, но теперь у нее здоровье уже не то, что было, а умом трогаться ей неохота, и она сразу же приступает к лечению. Сдав под вечер Соньке посуду, она показывает глазами на полку с вином.

— Образумилась, слава те, — говорит сукотница, бедово ухмыляясь. — А то прям-таки барыня-сударыня, не замай — сомнёшь. Давно пора, хоть на человека будешь . . . Тебе тута или как?

Тогда же, если погода позволяет, идет Нюрка к знакомому дому, становится на задворках и опять всем слышен ее вызов:

— Эй, журналист! А ну, выходи!

Вася бросает дела, хватает давно заготовленную спринцовку и спешит на балкон.

Ночная смена после полочки

— ... В офицерской столовой работала. «Ходи, — говорит, — до меня, будешь иметь, что душа ни пожелает. К дембилю, — говорит, — два костюма справлю и три тыщи деньгами даю на дорогу. Только, чтоб, — говорит, — без «бе»: замечу «налево» — отравлю. Даю день на размышление». — «Ну, — говорю, — знаешь! Не такой дешёвый. Три костюма и пять тыщ — согласен. А меньше — ищи кого другого ниже ростом, уже в плечах». Не сошлись. А женщина, Лёша, скажу откровенно, — скушаешь и голодный ходишь, понял? По сей день жалею. Нравилась мне, как никто никогда.

— Есть такие, — кивнул Лёша.

— Да, Лёша! Что ни говори, любим мы их, — чего скрывать. «Женщины — наша общая слабость», — сам Лев Толстой сказал. Во, молодец, мужик. Как выдаст-выдаст, так, действительно, без «бе». Я его из всех уважаю. Сейчас про них чего не наплетут: спутник, товарищ, жена, друг человечества — не переслушаешь. А этот, — я извиняюсь. «Слабость», — говорит, и больше ничего. Правильно! Заяц трепаться не любит. Уж припаять, так припаять. Хоть раз, да горазд. Кому другому сроду не додуматься. Это ж надо! «Женщины, — говорит, — это крупнокалиберная артиллерия, лупит на два фронта». «Анну Каренину» читал?

— А то нет! — обиделся Лёша.

— Я эту литературу знаешь как секу? Дважды два. У меня жена с высшим образованием, так что подковался, будь спок. Мы с тобой, конечно, машинисты, в котельне крутимся сутками, раньше таких кочегарами называли, и работы грязней, чем у нас, уже нельзя придумать. Но ты на это не смотри. Кочегары, они люди всякие бывают. Недавно поездом из Ленинграда ехал, — подбилась компания: такие все начитанные, ну, прямо, буквами в туалет ходят. Как я им выдал про индийскую литературу, так они и лапки кверху. «Кто вы такой? — спрашивают. — Наверно, лектор из общества». — «Неважно, — говорю, — кто я такой. Обыкновенный советский человек». Со мной сейчас даже жена считается, даром что высшее образование. «Ну-ка, Расскажи, — говорит, — чего такой-то писатель написал». А я ей как почну, только пальцы успевай заламывать. Мне что Толстой, что Шолохов — один чёрт. Я их обёх — без «бе». Так что ты не думай.

— Я не думаю, — сказал Лёша.

— Главное, женщины всегда сильнее нас, мужиков. И ничего против них мы с тобой, Лёша, сделать бессильны, — я тебе говорю. Я их на своём веку видел-перевидел, — безмерте «Шопен» подавай, и то не все поместятся. Меня через них сколько разов на общественность вызывали, — счёту нет. Кишки на телефон вымотали до Москвы и обратно. «Как вам не стыдно! А ещё семья с высшим образованием!» Я им без «бе»: «Вы чего прискипались? Чего вам из-под меня надо? Да делайте, что хотите; люблю их, сволочей, — и всё». Правильно?

— Железобетон, — сказал Лёша.

— Они за своё: «Такой-сякой-немазанный, строгий выговор тебе». Нашли, чем стращать! Да хоть десять. Не на того, хлопцы, наскочили. Тебе, Алексей, хорошо. Ты спокойный, выдержанный. А я не могу. Как увижу какую более-менее, — сам не свой, горит всё внутри. Прощай, родина, одним словом. Накуролесишь, бывает, под завязку и сверх того. Спихватишься на трезвую голову: «Ну, — думаешь, — всё. Больше не буду. Без «бе». Зарекаюсь. Последний-предпоследний». А потом что? Ты вот, к примеру, мужик рассудительный. Ты мне скажи в упор, что потом?

— Это ясно, — сказал Лёша.

— Мне, главное, чтоб как? Чтоб характер и глянуть было на что. У меня вкус, знаешь... Мне абы какая не подойдёт, я переборчивый. Мне давай без «бе». Руки, ноги, фигура, цвет глаз, остальное — само собой. Другие, те без разбору, а я — нет. Мне, чтобы симпатия была, как говорят, без отрыва от производства. Для нас этот факт играет немаловажное место, — скажи?

— Спрашиваешь! — сказал Лёша.

— Хвастать не буду, но признаюсь начистоту: нюх у меня на них, как у собаки. Ты меня с ними закрой вот тут, в раздевалке, и свет выключи, я их без «бе» носом определю, какая кто из себя. Знаешь, по чему?

— По чему? — спросил Лёша.

— Красивые подмышками запах выделяют приятный. Большинство этого дела теперь не ценят и взяли моду бриться наголо, а ведь нам с тобой, Алексей, не все равно, что у нее там, — духи «Кармен» или жизненность. Духи мы без «бе» в магазине, рубль флакон... Согласен?

— На все сто, — сказал Лёша.

— Не приветствую, одним словом. По мне, раз ты завлекательная, значит, соблюдай дистанцию, чтоб я тебя за квартал по следу, как в древние времена, а ты броешься вместо этого. Э-э! Кому она, Лёша, нужна такая?

— Никому, — сказал Лёша.

— Ты мне, говорю, предоставь ноздрю пощекотить, чтоб на тебя, как перед смертью не надыхаться, тогда я безо всяких

«бе» от души выношу тебе благодарность. А не хочешь — не обижайся и — пока! без никаких воспоминаний. Как полагаешь?

— Конкретно, — сказал Лёша.

— Погоди, это еще не всё. Красота — вещь, конечно, увлекательная, никто не спорит, но ежели она без образования... Кто другой, может, и не против, только не я. Обожаю, Лёша, образованных. Чтоб поговорить было с кем, поспорить. Ну, это: наука, культура, геометрия крыла... У меня у самого жена с высшим образованием... А просто так, с бухты-барухты, я, Лёша, — ты меня извини. Мне перво-наперво обмен мнений, тонкий разговор, политика, а потом я уже скажу, что сдаюсь. Верно?

— Как пить, — сказал Лёша.

— В общем и целом, Лёша, женщин я, честно признаться, люблю. Только, чтоб в лучшем виде и не возражать. А то есть ещё и такие попадают: «Я замужем! У меня муж ревнивый! Дети!..» Терпеть не могу. У меня у самого три короёда в доме, — ну, так что? Что я к тебе, в конечном итоге, — сватаюсь? Какое мое дело, замужем ты или чего? Ты с кем споришь? У меня дело мастера боится. Я — такой. Темперамент, как у меня, — сходи купи. Так что, прошу, гражданка, без «бе»... С ними, Лёша, только так, а иначе нельзя.

— Принцип на принцип, — сказал Лёша.

— Объективно скажу, они от меня тоже без ума. Только гляну — и всё. Сам удивляюсь. «Ну, чего, — думаю, — они нашли у меня такого особого?» С виду я не так, чтоб очень, хотя, конечно, и симпатия, и языком владею...

— Рост у тебя, — сказал Лёша.

— Рост, это — да. Они это любят. Им, знаешь, ничего не надо, дай только мужика в рост. Но это, Лёша, еще не вечер. А усы? Без «бе» ведь усы, а? У рыжих они редко у кого стоящие, зато как уж попадутся — раздайся, народ! Меня, Алексей, через них в рекламу звали. Дурак, что не пошел. Знаешь бы, где сейчас был?

— Где? — спросил Лёша.

— В варетье. Там теперь аккурат самый разгон. Шампанё, коньяк, сардины тоже. Оркестр, хали-гали...

Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это без «бе»...

Сиди себе, наявивай помаленьку... А на сцене перед тобой двадцать отборных подруг, раздевши, ногами дрыгают в красных чулках. Соображаешь? Красными чулками тебя по сопатке — шмор! Ты только проморгался, а тебя тем же цветом по тому же месту — хлобысь! Насмотришься под музыку на эту стройность, и в грудах у тебя масса наилучших пожеланий...

Дурак я, дурак. А мог быть человек. И на бормотель на эту, что мы пьём с тобой тут, плевать бы не захотел. Эх, работка, скажу без «бе»... С утра, ты еще не проснулся, а тебя уже в ресторан везут новый галстук фотографировать. По делу сел, красиво выпил, вилочкой закусил, белым рушничком обтерся, а мизинец оттопырил, это — обязательно, перстень там у тебя с алмазом. Пока ты ел-выпивал, тебя на обложку для журнала сняли. Это тебе уже сто рублей...

— Иди ты, — перебил Лёша.

— С места не стронуться. Слушай дальше. Поехал, переменял костюматор, вторично снялся возле машины, — новая модель. Опять же, получи сто рублей и не задерживай кассира, — он тоже человек... В обед шашлык до отвала и две бутылки «Генацвали» — реклама кавказской кухни, значит. Наряд соответственно: скромная папаха, газыри, наборный пояс...

— А чинжал? — спросил Лёша.

— А то как же! Без «бе». До самых до колен. Одной рукой ты за него ухватился, другой — за шашлык и зубы выскалил. Получается, вроде, и «Рэзат будым», и «Асса!» Оно, конечно, снимок не враз выходит. Там на тебя специалисты километраж пленки переведут, пока сделают без «бе» по всем правилам. Но ты не тушуйся, твой градус от тебя не уйдет. «Генацвали», я тебе, Алексей, честно скажу, такая штука, сколько ни пей, всё одно мало... Ну, ладно. Только ты закончил, а тебе сразу: «Эй, кацо, душа лубэзн, палучи дывэста»...

— Так-таки сразу? — усомнился Лёша.

— А ты как думал! Ты что, зазря ел-пил-старался? Нет, Лёша, тут полный учёт без «бе». Это твой труд, и ты за него, Алексей, достоин. Думаешь, легко? Раз, два, — и в сумку, да? Ошибаешься. Наемши, напимши, ты уже не тот, что с утра, и толку с тебя — плюнуть да растереть, понял? Поэтому везут тебя срочно здоровье поправить и кайф поймать часочка на три, на четыре. Ну это: кислород, горное солнце, душ Шарко... Чтоб, значит, ко времени был, как часы. А работы у тебя еще — начать да кончить. Под вечер, к примеру, едешь ты, Лёша, на пляж в импортных трусиках сниматься под парусами на пару с блондиночкой. Одной рукой рулишь по-за ветром, другой — блондинку за станок поддерживаешь, а режиссёр «Плотней! — кричит. — Ближе!» А сам по тебе из аппарата: тра-та-та-та-та-та-та... «Всё. Вы свободны. Распишитесь вот здесь и вот здесь. Завтра будем повторить крупным планом. Только без «бе» и без бюллетня, тут не местком». Это тебе, Алексей, еще полста... Так за день и набегаёт...

— Ну, работенка! — обрадовался Лёша.

— Работёнка ещё та. Что не пыльная, что заработная... Но самый, Лёша, смак, это, Лёша, вечером, Цветной фильм «Жизнь колхозника». Спецзаказ для заграницы. У нас такое нельзя, а

им только давай. Валюта!.. Короче, я — колхозник, жена — тоже. Ее, между нами, заслуженная исполняет какая-нибудь помоложе...

— Ну да! — не поверил Лёша.

— Я тебе говорю. Они там часто пасутся. Считай сам: минута — тридцать рублей, сеанс — тридцать минут. Есть смысл? Это, Лёша, не котельня, — форсунки мыть, мазут убирать, — тут придется без «бе» и на совесть... В хате, гляди, комнат десять, их наскрозь пройти надо, а следом за тобой всё это кодро: ну, режиссер, оператор, свет, музыка, хали-гали... А ты идёшь себе, как ни в чем не бывало. Там магнитофон, там телевизор, там включил, там выключил, там «Правду» почитал, там холодильник открыл... А там самогон и сало шматками, представляешь? Пару махоньких — твоё право, никто тебе ничего, только не увлекайся и за рамки из кадра не выходи. И вот еще чего учитывай: в одной комнате ты по одежке молодожен, в другой — спортсмен, в третьей — еще кто-нибудь, а из ванны в бельгийском халате выходишь или там в розовом каком-нибудь полувёре. Артистка, тем часом, закусить тебе на скорую руку: картошка в мундире, селедочка, пиво, разносол... «За твоё здоровье, дорогой». — «Взаименно, дорогая». Усвоил?

— Думаешь, справлюсь? — спросил Лёша.

— Запросто. Не святые горшки бьют, мы тоже умеем. Ничего страшного. Я попервах тоже боялся, а потом... Обыкновенно. Да, еще вот, Алексей, что; хорошо — вспомнил... Станут с тобой рассчитываться, смотри не свалай дурака. Говори прямо: «Мне чек». Они сразу: «Зачем вам чек? Какая вам разница?» — вроде того. Не верь. Крой тузём. «Не ваша забота. Желаю чек — и всё». Это такой народ, — кто кого хитрей, в общем. Ты им не поддавайся, пусть без «бе» валюту гонят. А то сами будут наживаться, а тебе скажут: «С приветом, дорогой товарищ!» Э-э, нет! «Мы, — скажи, — сами не под печку горох сеем». Короче, требуй, стерлинги. Или марки.

— А доллары? — спросил Лёша.

— Самый полный вперёд! Доллары — еще лучше. Это для отвода глаз пишут, что кризис, а достать какой дефицит, только за них и достанешь. Есть они у тебя — в любой «Берёзке» на любом языке тебе «плиз» скажут, а ежели нет — проходи мимо и не толпись, где чистая публика. Такие, Лёша, дела... Одним словом, поработал ты год и — что? Да здравствует Жуков, да здравствует Есенин! — понял? Открывай двери ногой, не стесняйся. Везде тебя знают, всем ты лучший друг. «Таллин» — дом родной, «Комета» — дом родной, «Кунгла» — дом родной, «Глория»... Кто-то там в очередях локтями за жизнь сражается, а у тебя круглосуточно именной столик без «бе», меню с автографом и закрепленная официантка.

— А с отпусками у них как? — спросил Лёша.

— Твое слово. В любой момент. Не имеют права задерживать. Лучше, конечно, летом. Кавказ! — представляешь? Горы Арарат, город Тыбылыс...

Эх, море Черное,
Песок да пляж,
Там жизнь привольная
Чарует нас...

И — по горам с девочками на фурункулёре, — трамвай такой специально для этого...

Брось сердиться, Маша,
Лучше обними,
Жизнь прекрасна наша
В выходные дни...

Как вспомню, Лёша, — эх!..

Были и мы рысаками,
Ямщик, не гони лошадей,
Орлята учатся летать...

У меня, между прочим, интересный там случай был. Познакомился с одной. Женщина — клянусь! — без «бе». Я-то в них разбираюсь, их у меня перебыло — ох-хо! — с артистами поканаться могу. Но такой не попадалось. Как бы тебе описать... Тюльпан знаешь?

— Ну, — сказал Лёша.

— Ну, вот: тюльпан в заливном соусе под майонезом. Особенно. вслед глянуть — прощай, родина. Прилив сил и масса лучших пожеланий. Люблю сердечно, помню вечно. Без слов, но от души, Ух! — будто стакан старки с дороги... Знаешь, бывают просто красивые. А эта, — как тебе сказать? — тугая, сбитая и. что интересно, какая-то фигурная. Ну, кровь с молоком, — так и притягивает. Воссоединение Прибалтики с Россией, одним словом. А страстная, — ты таких не видел. Всё такси потом провоняла. Я рядом зажмурился, кайфую, как в деревне на сеновале: справа поллитра, слева гармонь... И с запросами: Пушкин, Лермонтов, геометрия крыла... Гуляем с ней, беседему... Ребята: «Твоя?» — «Моя». — «Где взял? Откуда? Познакомь». — «Сейчас, — говорю. — Нашли дурака». Ха-ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха-ха! — развеселился Леша.

— Идем дальше. Слово за слово, чувствую — начитанность из нее так и прет. Поприжал я ее маленько... Она, ясное дело, круть-верть, тык-мык, да у меня не сорвется! Призналась: профессорша... «Ничего себе! — думаю. — Такая молодая и уже высший класс. У меня у самого жена с образованием, а тут шутка ли...» Да чего там! Назад раки не лезут. Я и сам в таком разе без «бе»: летчик-испытатель, холост-разведен, пешком не ходим, воду не пьем и так далее. Секу налево, вижу:

понравился ей, аж свербит. Выяснил, между прочим. И кто бы ты думал?

— А кто? — спросил Леша.

— Ну, этого я тебе, Алексей, раскрыть не могу. Слово дал, не обижайся. Фамилия у нее засекреченная, отец — генерал, если не ошибаюсь, полковник, сама на учете в кегебе и специальность — тоже. В общем, связана с космосом, а это такая тряхомудия... Сама работает... как бы тебе поточней... Звезды знаешь?

— Не все, — сказал Леша.

— Вот она их считает, какие падают, и записывает отдельно. Короче, жуткая тайна, морской закон. А потом высчитывает... это... как же его, черта... на уме, зараза, крутится... ну, линия эта...

— Траектория? — спросил Леша.

— Во-во. Она. Высчитает, значит, и — туда, в центр управления. Зарплата у нее, — сколько б ты думал?

— Рублей двести? — загадал Леша.

— Ха! Двести! А семьсот восемьдесят не хотел?

— Да ну... — смутился Леша.

— Чтoб я аванса не видал... Учти, это одна зарплата. А премиальные? А надбавка за ночную работу? А прогрессивка? Рубль на рубль за каждую сверхплановую звезду. Это уже за полторы косых в месяц набегает... Представляешь, куда я попал?

— Здóрово! — искренне позавидовал Леша.

— Погоди радоваться. Здóрово, то здóрово, да не очень. Про кегебе забыл? Это только сказать «на учете», а попробуй — денег не захочешь. Ты, к примеру, в кабак — агент за тобой. Ты по грибы — двое следом. Ты жениться надумал, а тебе говорят: «Только в партийном порядке. С подпиской о невыезде». Намучишься! Да она поездом на курорт в отдельном купе с пломбой, а за ней втихаря трое в разных вагонах чешут в чине не меньше капитана. Круглосуточное телохранение со сдачей-приемкой смен в вахтенном журнале, — это тебе как?

— Нехорошо, — сказал Леша.

— А ты говоришь! Нет, Алексей, тут, как ночью в погребке... Мне эти друзья без дела, сам понимаешь. «Так что, давай, — говорю, — шеф, жми до «Петуха», на красный свет не обращай внимания, можно также по тротуару»... Подкатываем. Народу, как людей. Мест нет. Швейцар пузом двери загородил. Достаяю четвертак, плюнул, швейцару на лоб — бимс! Совсем другой прием: «Пожалуйста, пожалуйста». «Ах, ты, — говорю, — бляха в лампасе. Смотри у меня, не заедайся!» — «Пожалуйста, пожалуйста»... Заходим. Сели. Коньяк особой выдержки. Официантке бумажку в зубы за внимательность. Сидим. Поддали. Закурили. Опять поддали... Я, Леша, когда на поддате, без «бе» такие экспронты выдаю, — будь здоров, не кашляй...

Разговор про Индию. Ну, это: Мохэндра Махон, слоны, абарагу́. Она, конечно, слушает, а сама через стол с улыбкой: «Хочу тебя»... Леша, скажи честно, как мужчина мужчине, ну что я мог сделать?

— Ничего, — сказал Леша.

— Сам знаю. А у нее в «Виру» номер «люкс», цветной телевизор... Словом, куда ни крути, а приходится. Без никаких «бе». Еще пару раз поддали, а я думаю: «Хорошо, как хорошо»... Дело, конечно, заманчивое, аппетитное, да это разве проблема? Ну, представь, Алексей: я с ней, предположим, в кусты, а там капитаны, — ну?

— Да-а, — сказал Леша отрицательно.

— Или: я в ванну, а там майор. «Гражданин, ваши документы». А то еще лучше: «Явиться в дом номер такой-то»... Видал я этот дом, знаешь, после крупного землетрясения. Я там уже был, хватит. Ох, и бьют, гады! Валенок на руку и — по почкам... Сквозь двух я проломился, ушел, еще неделю гулял, потом взяли... Главное, что обидно? Нет, чтоб написать в деле «любит свободу», так они «склонен к побегам» записали. И вообще, нечестно. Как про вождей, так этим хоть зарезать кого, все одно, «подвиг, — скажут, — совершил на благо родины». А простого-серого ни про что засудят, обзовут и не пожалуешься... Мне, Леша, из наук больше всего история не нравится. До того противная, не могу передать...

— Ну, а с этой что? — напомнил Леша.

— С какой «с этой»? А-а, с профессоршей! А что с ней? Хотел я ее сперва в котельню предоставить, родной дымок родной трубы показать, но вовремя спохватился: «При чем, — думаю, — котельня, когда я авиатор, высший пилотаж»... — «Так и так, — говорю, — дорогая подруга, давай будем без «бе». Для тебя — чего хочешь, отца родного не жаль, но на сегодня придется обождать. Служба. Приказ есть приказ. Дисциплина, одно слово. Ночной полет, геометрия крыла»... На послезавтра договорились. Черт его, думаю... стбит или не стбит? Как советуешь?

— Тебе видней, — сказал Леша. — Лично бы я не пошел.

— Ладно, посмотрим. Время есть, спешить некуда... А сидели, действительно, в атмосфере дружбы и теплоты. Угадай, сколько прогудел?

— Рублей пять? — сказал Леша.

— Ты что, смеешься? Да я без «бе» одному таксисту, если хочешь знать...

Битые собаки

Повесть

«Взирая на блистательные качества, которыми Бог одарил русский народ, первый на свете по славе и могуществу, по сильному и мощному языку, подобного которому нет в Европе, по доброте и мягкосердечию, я скорбел душой, что всё это задавлено, вянет и, быть может, скоро падёт, не принеся в мире никакого плода».

*Протоколы высочайшей следственной
комиссии по делу о 14-м декабря.
Допрос В. Кюхельбекера.*

I. Власть

Дело не в соболях. Разговор был попутный, и соболя просто к слову пришлись, а Никифор возьми и скажи, что сорок соболей на шубу много, соболя не крот, тридцати за глаза хватит, а то и меньше, а что, мол, мера царская — сорок, так она у них известная, — куры не клюют, вот и мера. С ним спорить — разве каши гречневой наевшись, такой он человек; рассердится, от разговора уйдет, и лицо у него тогда, как замок амбарный. Да не потакать же на характер? Моя, что ли, вина, что шубы шили улицу мести? И рукавицами гнушались, до земли рукава пустили. И шапка столбом с полметра горлатная. И хозяин — Верзила какой-нибудь Твердилович, сажень косая. И все сорок, выходит, как на нем были, — что ж тут «много»? Никифор на это не рассердился, а захохотал, высветив полный рот золотых зубов, и спросил, пересмеявшись: «Это идé ж таких-от шуб видано?»

Отсюда начался краткий курс родной истории, веселая суматоха царей и князей от «А» до «Я», где венчались на престол меховой мономаховой шапкой, щеголяли в мехах, торговались запродак души о том же, жаловали мехами, дрались из-за них и скандалили, ясак взымали, приданое давали, взятки брали — ими, платежи расчетные, долги, залог — опять же они, меха, по предпочтению соболя.

Отдай, Стенька Разин,
Отдай свою шубу.
Отдашь, так спасибо,
Не отдашь — повешу.

Шуба ценой в Стеньку — соболя. Затем пошел народ по-плоше: фантастический Онегин в бобрах, худародный Шалапин в еноте, светские камелии в хорьках, ваньки в заячьих поддевах, прибыльщики в кунице и купечество, именуемое «лисьей шубой».

Всю эту тарабарщину от фамилий до закупочных цен и стоимости тогдашней жизни Никифор выслушал и запомнил очень серьезно, скорей всего, по закону деловой надобности, когда легко запоминается. Работал он промысловиком или, по его выражению, промышленником, так что пушнина для него была обычным, порой нудным и всегда утомительным занятием, а тут, откуда ни возьмись, цари да князья, да история с литера-

турой — важность. Наверное, Никифору это приглянулось, он и запомнил, а за запах сборного винегрета рассчитался звоном всей своей наличности. Речь, правда, он повел не столько о собаках, сколько о другом, и обнаружил в себе чистокровного москаля, который поднабрался у хохлов словечек, приспособил их к семиладному русскому ладу и говорит — вначале странно, потом любопытно, а привыкнуть, так и вовсе хорошо, хотя мотив, конечно, прост, как во поле береза.

Прежде того, что с ним в дальнейшей жизни приключилось, был Никифор молодой, военную службу нес при собаках, вскармливал их, пограничных, на проходку гулять водил, под шпиона обряжался, чтоб оне его рвали на куски, дерьмо за ними согребал и считался первым дураком во всей Красной Армии. И была у них в вольере собака, Форт звали, умнющий пес, все умел. Нестерук, старший структур, выдрочил его гавкать до семи раз по счету и разные тонкости, рассказать — не поверят. К примеру, водку лишь-лишь распочать не мог, а тах-та — и в кружку нальет, и бутылку, капли не оброня, поставит, а Нестерук-от выпьет, ногу на ногу вскинет и постыдную дает команду. Ну, кобель тогда сигает и натурально хочет структурский сапог насиловать. Все кругом ржут, чертям тошно аж, а Фортá за то кусок рафинаду. Смекалистый пес был — куда! Ежели б ему заместо сапога нарушитель границы попался, то-то бы он его удивил. Но нарушителей не шибко было много, а Фортá извели по таковой причине.

Обучил его Никифор одну штуку робить и без никакого рафинаду, потому — собака животина способная, пакость за плату творит, добро за доброе слово. Пришел однав структур шутки навеселе шутить, а Никифор цокнул издаля языком, — у собаки-то слух вострый, не как у людей, — она структуру мотню расшила и ятры выпустила, доктора вправляли долго. Форты, ясно, убили. «Сбесился», — говорят. А какой «сбесился»? Посчитался кобелек за науку, за погань людскую — полный расчет. Нестерук-от, небось, попомнит его до смерти пуще ласки родительской. Касаемо Никифора, никто ничего, потому — известно: во-первых, дурак; во-вторых, «из дярёвни приехал»; в-третьих, «а тамотка все тах-та». Ну, и сошло наперво.

А как он дурак, то и на занятиях запросы у него дурацкие. «Как же, товарищ командир? — спрашивает. — Нешто неприятель станет дожидаться, пока в него стрелять учнут, чтоб, значит, малой кровью одоленье? А что, как он тоже додумается: мы бежать — он погодит, мы стали, чтоб на мушку его, а он раньше нас — шпок! — и бывай, а»? Нет, — командер говорит. — Вы, красноармеец Беспалов Никифор не так понимаешь задачу, что вспроет красной рабоче-крестьянской никакому неприятелю вовек не додуматься, садись». И смеется. Другие с ним. Потому — со стороны видно, какой-от Никифор глупой: все до одного уже поняли, а он хоть бы толичко. И при нем же

говорили, что на дураках Расея спокон века построена, никакой умник не образует, а ты, Никифор, понимай, как хошь. Одно слово, снущались над ним, кому не лень, дурили дуром и дүриком погоняли.

Со службы возвернулся он побирушка-побирушкой. Сельчане спрашивают: «Что ж ты, паря, Аника-воин, тудыт-твою поделом, красноармеец Никифор Беспалов, служил-служил, да гол, как сокол, вышел? Или не достиг диагональки-от задрипанной срамоту поприкрыть?» А он им: «Вышел-де приказ от Тимошенки-маршала, и он, Никифор, под боевой тоё приказ угодил, а тамotka прописано попридержат её, диагональку-то, потому — наукой доказано, — ей, диагональке, два срока сносует, ежели с умом. От такого да приказа народу крупное послабление произойдет и жизнь наступит разлюлі-малина, до того зажиточная, а красноармеец на то и красноармеец, что он и в огне не горит, и в воде не тонет, и закаляйся, как сталь». Смотрят на него, смотрят, не разберут: не то дурак, не то придурок. Решили — дурак; больно уж харя тупая и глаза мутные без просвета. «Ну, и поди, — говорят, — бычкам колхозным хвосты крутить; там-от как раз твое место за старшего, куда пошлют.

Но Никифор туда не пошел, в люди подался. Рабочий класс маненько слаще жил, чем трудящее крестьянство, — он и приткнулся, иде слаще: в город на лесопильню. Робил тах-та год, робил еще и наробил: состригло ему на пилораме два пальца с правой руки, один — указка, другой — серёдка, что ты скажешь! Он их подобрал, обдул опилки, норовил обратно притутить — не пристають. Работу все побросали, сбежались, что смеху было! «Ты, Никифор, — советуют, — варом их пришмандоль столярным». Он и варом пробовал, — не берет. «Ну, — говорят ему, — не шибко крушишь, фамиль у тебя такая, Беспалов, на роду, стало, написано, вспроть судьбы не попрешь, зато Беспалов ты теперь как есть, хошь по докүменту, хошь по пальцам».

Через месяц — хлоп! — война оечественная. Кто смеялся, тех на фронт побрала, а там кому ногу долой, кому руку, а кому чех ного повыше: накость, посмейся со своего, чем с чужого, дешевле выйдет. Никифора тогда под суд упекли, вроде он сам это себе удумал сотворить; стало, наперед знал, сучий потрох, что война, потому — дезентир и стибулянт высшая марка, расстрелять мало. «Но вы, — следыватель сказал, — Никифор Беспалов Трофимович товарищ, вы лично не виноват, виноватый тот, кто вас подучил тах-та пальцы отсечь, убыток родным властям учинить, летось в холодке отсидеться, зиму на припечке, от фронта подале. Но как вы, — говорит, — сознательный и умнеющий из всех, кто нам попадался, то покажите на секретного врага, кто вас в это дело захомутал, незнамо за сколько, и мы его арестуем, а вас отпустим на все четыре, паек дадим и лиш-

нюю карточку, поправляйтесь, потому — грамотный, два класса образование, должны соображать, чего выгодно, чего нет».

«Спасибо, товарищ начальник, — сказал Никифор, — на вашем на добром слове, и что вы такой человек, не как другие. А то думают: вот Никифор, тёсана морда, стамески нет. Один вы предметили, кто я таков и на что способность. За тоё вашу ласку-привет, да я те на кого хошь покажу, хошь на булгахтера, хошь на дилектора самого, ей-ей, моргни только. А ежели мне еще карточку на пропитанье, так повсегда прошу обращаться, потому как Никифор Беспалов днем и ночью нащепь готов, коль властя велят». Тах-та он им доложил.

Следыватель двáдни думал, сизый селезень, что с ним, стибулянтом, по закону требуется, на третий придумал: сам на передых, умаявшись, и вечерять, а по дороге, значит того: «Выгоньте, — говорит, — мне этого дурака, духу чтоб не чутно было». К Никифору двое робят, мастера, собой дюжие, гимнастерки синие, галифе диагональка. С-под боков подперли, документ в рыло сунули: «Выматывайси, — командуют, — раз, два, три, левой!» Да Никифора на кривой на объедешь; оне его по шейм, а он им насчет пайка, хлебной карточки и два класса образование. «Выматывайси, — кричат, — шкура, дезентир, тудыт-твою поделом!» А он уперся и ни в какую: «Не выду, — говорит, — доколь пайка не будет по суду обещанного. Подряжали, — стало, давай». Ну, схватили его под микитки, на крылец вытянули, носом в калюжу воткнули. Отряхнулся Никифор, засмеялся себе на уме и пошел с утра на работу.

Как лесопильню на военный лад перестроили, то стали оне выпускать танки, совсем настоящие, только деревянные и не ездят, а заместо пушки оглобля зеленая немцев пугать. Ну, немцы предметили опасное производство, потому — танки все на виду, и бомбили их на дрова, так что с планом ничего не получалось и невыгодно тоже: сколько наробят, столько разбомбят, а больше ежели — больше бомбить-от будут. Дядя Григор, столяр — первая рука, говорит: «Надо было выковыриваться в глубокий тыл и там-от план давать, а под бомбами робить план трудно до невозможности». Тут-ка сзади к нему двое подошли в диагональка да один леворвер вынул и со спины дядю Григора два разá застрелил. «Тах-та, — говорит, — всем, кто сеет панику». Кругом все боятся и молчат, один Никифор трепыхнулся: «Убивец, — кричит, — ракло, пошто человека умертвил трудолюбимого?» А ракло подсмехнулся и вдругорядь за леворвером полез, да народ заступился, кричать стали: «Он глупой! Он недоумный! У него справка есть! Он чего хошь ляпнет — не отвечает!» — «Ну, — говорит ракло, — глупой, это другое дело, надо разобратся, а то, могло быть, он у вас под пастушка робит, а незаменимых работников у нас нет». И пошагал с конторскими властями разбираться, а те сказали, что, мол, — да, как пробка, и на самой пакостной работе содержится.

Сразу же тогда Никифор, что народ заменить, как вошку стряхнуть, одни властя незаменимые, и что дураком уродиться — счастье на всю жизнь. Стал он беречь тоё счастье и не высывался боле до поры.

Еще заставили его всю войну что месяц на комиссию ходить, чтоб за пальцами, значит, наблюдение, потому — новые отрасти должны и его, Никифора-от, можно тогда на пердовую. Ходил он, ходил — не растут пальцы, хоть ты что. Доктора щеки надувают, лоб наморщят, на Никифора серчают и все, похоже, думают: «Ах, стибулянт, туды его поделом, не иначе, робит он с ними чего-сь, что не растут». И со всеми тах-та: калека, инвалид, — все одно, справку день в день предоставь.

Был тамotka один с лесопильни, ногу на войне отняли выше колена, тоже ходил-чикилял-обижался. Ему, правда, два раза в году ходить было, потому — нога не пальцы, долго растет новая. Никифор попомнил надсмешки, помстился. «Ну, что? — говорит. — Фамиль-то как твоя? Укладнов или, чай, Безногов товарец? Меняй-от теперь документ по ноге на случай упадешь — легче встанешь». Молчит, помнит, стало, смешливый. А тоже ни шиша не выросло, освободили после войны.

И до того опротивели ему властя, хуже горькой редьки. А все одинаковые, одним миром мазаны. Человеку простому хоть сгинь-пропади, им горя нет. Вестимо дело, без властей тоже не житье: там грабеж, там на дороге шалят, там сироту фулиганы обидят, — чего-ничего! — за всем доглядеть, все устроить — работа. Да больно уж лихие Никифору властя попадались; что лютуют, что над народом смываются, сущие баре: ни на сироту смилуются, ни на вдовью бедность погребуют, до жива мяса обдерут, мало без портов-от по миру не пустят. Что Никифор от них принял снущений всяких и обмана — не сказать. За тоё-от и не захотел он середь людей жить, далече подался, тамotka вольней.

Как война кончилась, надумал он кинуть близкие места и уехать, иде нас нет. Добром же никого не отпускали, потому — рук рабочих нехват, дались им, вишь, руки-от рабочие. И придумал он в остатний раз дурака сплясать: купил газетку центральную, поперед себя выставил и — напропалую, была — не была. «Вот, — говорит, — как властя наши призыв дают Восток Далекый освоять, то я, — говорит, — желаю сей же час в первых рядах, ура». Поскребло начальство башку, сказать им нечего, говорят: «Проздравляем вас, Никифор Беспалов, что вы такой сознательный патриот, дозвольте пожать вашу ручку и желаем счастливый путь с музыкой». И стал у всех обиход с Никифором, — ну, не знают, куда посадить, чем почтовать. Мигом газетку по области сообразили, портретик с крупными буквами: «Ау, иде вы есть, молодцы-беспаловцы, а ну, айдате на Далекый Восток с Никифором!» И всякую небывальщину там-от понаплели, — страмота: и идеев у Никифора мешок под

завязку, и ударник он от зыбки стахановский, и первопроходец диких краев, и в партизаны когда-сь во сне метился победу приближать, и разные от-сивки от-бурки, поминать стыд. Да и то добро сказать, что стыд не дым, а проморгался — завербовался.

На место прибыл — дело просто: лес вали, ветки круши, бревна катай, в штабель складывай. Стало ему тамotka куда как обоудней: беспорядку гораздо, властям не углядеть, работа со свету до свету не разогнись, да робята кругом шибко свои-ские, — живи, не хитри, не выступай, то и сам жив будешь, а нет, так пойдешь в лес цыгану долг отдать и заблудишься или деревом тебя привалит. Никифор трудился на добрую совесть до полного просветленья, что при таком-от распорядке, когда на дураках все поставлено, за вред платят поболее, чем за выгоду. Ужотко он вреда наробил, пеньков по себе оставил, какую пустынь произвел в богатом краю, сколь того леса в гной-землю пошло — нет счету, а указ — «давай и давай», потому-кто боле вреда натворит, тот герой и в Москве ему орденок припасен с документом, а что вывоза нет, тлеет все, прееет на корню годами, — «не тебя, Явропа, касаемо», — такое у Никифора было прозвище.

В тех-от краях повидал он зверя прекрасного вдоволь, а Никифор толк в любой красоте смыслит, вот и приглянулось ему всё, а соболь отдельно. Власть соболей пуще всего любят и деньгу дают получше. А и как не любить? Смушек соболий, мех-от птичий, дунь — полетит, одно чрево матернее мягчей будет: на выдерг не податлив, вщеть не ломок, плечам не в тягость, а поглядеть — душа вон просится, глаза воровством блестят, руки сами собой снуют: возьму, мол, и не отпущу, а ты что хошь, а я не отпущу, тах-та. Дорогой мех, неописуемый, отрада глядеть, да пушинка к пушинке, да вымытая вся, да переливчатая, да мать честная какой. Не устоит другой зверь вспроть соболя, бобёр тоже не устоит. Такому-от зверю да дробью шкуру дырывать? Никак. Ты в ловитку его бери, чтоб целый, значит, а стреляному соболю пшик цена, на ружье, стало, не надейся, потому — не придумано ружья на него иголкой стрелять, в глаз попадать. У самого меткого меткача Никифор поспорит и в третьей наугад шкуре дырку найдет заделанную, — то-то. Ныне, слыхать, соболя в клетке разводят, но это не тот соболь, который природный: и мех у него жиже, и глянца гораздо мало, а бархата вовсе никакого нет, потому как светлеет он в неволе, цвет свой темно-коричный царский теряет, — вот оно что, шило на мыло менять, свободу на каторгу.

Переменял тогда Никифор свою жизнь без возврата: выдюжил срок по договору, рассчитался и еще дале махнул, на самую вольную волку, иде лес с болотом сходитя. Лес, он, кому урман, кому тайга, а Никифору лес, и аскыр — не аскыр, а соболь, — не привык он к разным словам, одно лишь болото тунд-

рбй стал звать, тах-та оно короче. Прибился к берегу, и обзавелся, и обженился, и в артель поступил в охотницкую, и зимовку, гляди, заимел на участке далеком, заброшенном, и струмент гожий, и на промысел вышел, а для того собаками разжился, две упряжки их у него, собак-от, одна молодая, другая перестарки и все — битые, дорогие, потому — за одну битую две небитых дают. Кабы напарник, он бы их и не бил, да одному рисковно промышлять, а с неуками небитыми пропадешь без напарника. К тому ж, не охотник он, а ловец: стрелять его Бог не сподобил, пальцы отнял нужные, а ружье ему на крупного зверя дадено. Да и видит он впотьмах слабо сызмалу, — на собак вся надея. Пушняка он сдает смушками тах-та: лиса, горностаи, куница, крыса водяная — ондатрой звать да еще соболь. Белку Никифор не промышляет и зайца тоже: белка по земле мало бегае, ее на дереве бьют, а у Никифора ловитки; заяц же сам по путику в петлю прет, да для другого предметен, — живая привада, лучше нет. И жить Никифору вольготно, и заработок добрый, и сам себе властя.

Оне, верно, и туточка ему докучают, но не как ране, а все ж таки, потому — лены оне, властя, не дай Бог. И скрозь тах-та: робить не хотят, а на деньгу жадные, без этого дела ты к ним лучше не ходи. Справку в районе выправить плевую — затаскают по кабинетам, задурят башку, друг на дружку валят, перстом на-Бога тычут да приговаривают: «Не всё доразу, надо ждатеь». Довелось, вызвали одновá. Какой-сь Мефодий Беспалов, душегуб, власовец, иде-сь чего-сь натворил, а с Никифора спрос, как он однофамильный. Он им красенькую володу — тырк! — под локоть. «Никак нет, — говорят, — товарищ. Много запросов, шибко большой злодей и что худо — на тебя подходящ. Поди поселись в гостиницу да приходи-садись биографь писать, а мы проверим, иде родился, иде крестился, иде чего, и тот ли ты Никифор, а не этот Мефодий». Так он им на три зелененьких не поскупился — тырк! — а что делате будешь? «Ну, — говорят, — другой табак, давно бы тах-та, биографь можно не писать и в гостиницу не надо, а запросы мы сами уладим». И тут же ему за раз чихнуть справку, что Никифор это совсем не Мефодий, а доподлинный Никифор, скалчичительно честный трудящийся наш. Поблагодарил Никифор за их заботу, а оне ему: «Мы прислуги народа, это наш долг, мы завсегда перд геройскими трудящими в долгу, как в шелку, уж вы только заходите, а мы уж расстараемси», а у самих на уме: «Поболе б таких дураков, то-то жить было б!» А Никифору, чем взад-вперед ездохчаться, лучше добром откупиться. Тах-та он и робит, откупляется за сладкую тоё свободу.

Через нее он и курить перестал, и от водки уберегся, чтоб не пахло от него в лесу, чтоб был он тамотка свой без лишнего духу, как зверь чистый. В поселке ему тоска, два месяца семейно поживет и — обратно, благо вертолетчики теперь-от по

его заказу раз в году отвезут и привезут, и за смушками на зимовку заедут, и Щербан-приемщик с ними, мужик жуликоватый, разговор детский: «Кончай, Никифол, Фланцию чепулить, челвонцы глебсти, длугим дай плибалахлиться». И отложит сам себе мало-мало по-божецки.

На зимовке ж ему скучно не бывает от работы, а главное в работе не домашность прочная, не ловитки хитроумные и не соболь драгоценный, а угадай чего. Собаки — главное. В них, битых, вложил Никифор и жизнь, и прожитие, и капитал, — все сполна, ничего не пожалел-оставил.

II. Слава воспетая

Битые собаки веку своего отпущенного, как люди, гораздо не доживают, годов этак на пять. Чего-сь у них в середке ломается и после десяти лет разбивает их паралик, требуется подмена. Да она Никифору и помимо того требуется по причине уговора по добру с природой ладить: иде повремени, иде приноровись, а то и вовсе попусти, не женись, не претикословь. К примеру, закон собачий гласит: в жнивó не женись, зимой не щенись, в снежок погуляй, хоть десяток рожай. Тах-та по закону разрешает он им гульбища с масляной по вёсну самую и лета маленько. У людей когда-сь тоже был таковой обзаод и — ничего, не перевелись. Вот и выручает Никифор сучку от кобелей на неделю-две под замок, пока бросит она свою дурь до предположенного времени, а все одно не углядишь. Расплюнется Никифор да чертыхнется, а хошь, не хошь, — выпрягай одну тягловую в декрет, она те не работник, у нее мысли другие, ищи подмену. А подмена, — когда есть, а когда и взять-от негде, хоть к соседу едь, да свет не близок — двести пятьдесят верст до ближнего тоё соседа, как саженем отмерено.

И много у них человеческого, у собак: что сноровки, что хитрости, что ума, разве только честней, чем у нас, потому — не вымудряются и все на виду содержат. Вот обратал он, сказать, собаку, а ее тряска зыбкая колотит и вид преступный: «Не сдую, мол, хозяин, санки тянуть-от, извиняй». Руку ей в рот засунул, а тамotka — блины пеки. Ну, билютень, стало, и кусок особый, лучше для поправки — вареный. Другая, гляди, заартачила, не хочет робить, хоть запори, вскобенилась. И тут Никифор бесперечно не спорит: иде-сь чего-сь не доглядел, какую-сь обиду, пуцай покобенится, а пса он за характер куска не лишает; он, кусок-от, Никифору, вроде сказать — «Я извиняюсь», а собаке без аппетита, — робить не робила, а лопать давай. Да и мало ли: одна подкуется до хромоты; другая, послабей что, вовсе из мочи на выходной выбьется. Вот и подменный молодых стариками или наоборот, когда как. А езжалый пес битый при нужде в любой паре по гроб жизни работник.

Тоё ради благовременной подмены во всякое пятое лето, когда иде суки щенятся, Никифор тут как тут кутят выбирать и платит красенькую за штуку. Ему б и даром дали, — куда лишку собак держать, но он мужик с перебором, одного много двух из помета берет и за тоё перебор платит. Стараются он, ясно, чтоб кобельки, оне надежней, но, бывает, и сучечки по предмету путевые попадаются и Никифор не гребует, хотя в упряжке у него боле трех сук не ходило. Кутята еще молочные, с ног под собой валяются и хлебом ржаным пахнут, из печки вынутым, — таково псинка молоденькая пахнет приятно! — но заметки у них — уже, а какие — Никифор знает.

Красота — дело особое. Ездовая порода не тах-та в глаза шибаются, и масть у них по большей части скучная. А не последнее дело человеку трудящему на труд свой покрасоваться, потому — красота от правды недалече, а от красоты радость, от радости охота, от охоты разуменье, от разуменья удача, а кто не понимает, говорят-от: «Везет, мол, дуракам». В красоте Никифор ни маху даст, ни уступки; упряжка у него первеющей выставки, ежели кто видал.

Другое дело — характер. Его с-под споду достать куда трудней, и Никифор нет-нет да прошибется, но все ж таки угадывает предбудущую свою упряжку с самого первоначала, потому — знаток. Для знакомства делает он им проверку, вроде забавы и забавится долго, а какой щенок ему приглянется, тот жив будет, а других потопят, ежели помимо Никифора охотников на случай не сыщется. Он им в рот заглядывает, в ноздри на чох дует, бабки щекотйт, дикие мясá нáщуп вызывает, за шкирку протяжно воздымает, пузо чешет, хвост щемит и чего-чего не робит. Оне скулят, урчат, бурюкаются, силов у них разве что в помине, а иной-таки огрызнется Никифору пальцы на целой руке посчитать. Тогда Никифор сам зубы скалит, ровно собака, и сопит от удовольствия, а норовистого предметит и еще чего-сь ищет, одного норова ему, вишь ты, мало, ему весь характер кажи-давай.

Пять собак — слезы. Семь — туда-сюда, недалече можно. Девять — уже, стало, садись, паняй. Но лучше — одиннадцать. У Никифора всегда нечет-одиннадцать бегают, потому — передний должен авторитетно сам бежать, вожак он. А что кутятами перебор числа, так лишние выбракуются, покуда до рослой упряжки возрастут. Одно жаль: кабы тоё выбраковка с хвоста шла, а не с головы, оно бы куда способней, а то ведь — нет, самолучшие погибнут, самовернеющие, такие что вся надея на них, а Никифору опосля сердце памятью от них отрывать легко ли?

Вот он, стало, собрал их и замкнул в закутке в темном, в сарае, — тамотка пуццай снюхаются-обыкнут, а Кулине строго не велел в сарай ходить и детям заказал шуметь на подворье, — нельзя. Собаки смáлу одного Никифора должны что

видеть, что слышать, что по нюху чуть, а он им хозяин и от него всё: суд, расправа, закон, приказ. Но это когда еще оне в привычку войдут, а дотоль школить их следует день в день и уму учить, рук не покладая, потому как успехи наши столь же от похвал берутся, сколь и от взыску. Тогда на них надейся: вывезут, не бросят, не подведут, одолеют, ежели науку достигли, а наука ихняя с кормежки начинается.

Кормит их Никифор с первого дня сырым мясом: то сечка, то крошево, то куски поболее, когда на выросте, чтоб не враз слопать, а повозиться, зубы оголить, ножи обточить, жомы набить поухватистей. Входит он, понятно, в расход, закупает пудом печень, легкие, селезенку и что покрепче: сухожилья, мослы, а в них мозги сладкие, да ты их разгрызи-вынь сперва, а опосля ешь. От сырого мяса, дай срок, дикая шерсть у них полезет гущиной с овчину, жилы напряжятся и стервеют оне, как звери. Точная точность, — сколь продукта вложить за раз в каждого. Перекармливать не полагается, чтобы брюхо не тяготить, а то переложил в них лишку и пошел, стало, корм не в прыть-от, не в резвость и не в тягло, а в жир да в лежку, — лопнул кошель, пропали деньги.

Мясо оне враз полюбили и дрались за него, ровно люди в магазине, когда им скажут: «Спокойно, граждане, зачем понапрасну себя волновать? Мяса всё одно нет и костей на всех тоже не хватит, расходись без милиции». Свивались оне в кубло на первом же куске и каждый кусается, отпихивает, рычит, только бы завладеть. Никифор их не разборонял, покуда кусок не доставался, — кто сильней, и тах-та по очереди. Тогда он им говорил: «Ну!» — и кутята бросали драться, потому — сообразили скоро: сейчас-от пойдет новый кусок, не зевай. И за новый грызлись, копошились, в узелок завязывались, перевортывались, шум в злобе поднимали страшный, и каждый норвил — быстрее. Опять Никифор говорил: — «Ну!» — и тах-та, покуда кормежка. Оттого оне всего раньше слово «Ну!» спознали и обозначало оно у них опосля столько разного, что людям надо сто слов сказать, и то не всякому растолкуешь, а собакам одного будет; оне, помимо слова, голос чувят, каково ты им сказал: резко, длинно, в сердцах, весело, тихо или криком или еще как.

Все до малости предметит Никифор, кто из себя каков: кто хитрый, кто вовсе бессовестный, кто разява, кто придурковат, кому, стало, первый кнут, кому остатний. Тут-от припасена у него лозина хлесткая из березы, отваживать от подлых повадок и на истинный путь вразумлять, чтоб не испрокудились. В наказаниях толк особый и для науки крепко нужный; не осилить собакам премудрость никифоровскую без березы. Опять же: зря наказать — себя лучше постегай, убытку мене. Наказал понапрасну — испугался пес, вошел в него страх, потому — невесть собаке, пошто ты ее тах-та, за какую-такую провинность. А Ни-

кифору трусоватой собаки не надо, ему навспрѳь надо, чтоб она страху не ведала и самому черту в зубы глядела б с рыком. За дело когда, — это совсем другое. Только не откладывай, а на месте и дорáзу, чтоб, значит, шкodu сотворенную или подлость нечаянную тут же ей к памяти прицепить. Раз ты ее отхлестал, два, три, да все за то ж самое: «Ага, — собака думает, — значит, нехорошо, значит, ни к чему тах-та робить». И усвоит науку нáкрепко. Никифор бьет — не мажет, больно бьет, хлестко, с оттяжкой на себя, абы не через силу, а то покалечить можно, а ему калеки на что? — он их не на пенцию собирает, ему помощники нужны справные. Вот и держит он с ними ровный характер и справедливость, потому как полновластья добивается.

Возрастали оне, возрастали, держал их Никифор в клетки, держал и выдержал. Впотымах собак подержать не вред, лишь бы не через меру, а для чего — узнаешь. Перво, свыкаются оне друг с дружкой, как люди в тюрьме, цену себе правильную подбирают и выше своей цены уже, стало, не возносятся. К тому ж, глаза у них к сумеркам приобькнут, а это Никифору край надо; он отродясь ночьюми мраком куриным мается и сахар вареный кусковой сосет, как лекарство, хотя, не сказать, — глаза вовсе выколи, а не видит хорошенько, как другие, и охотник из него не то, чтоб хреновый, а вовсе даже никакой, кабы не собаки. Ночьми чего не бывает; день-от зимний, как хвост у зайца, ворочáется Никифор до хаты с объезду когда невпрогляд за полночь, когда утром, а когда и на какие-сь сутки, как погода прихватит. Вот и нужны ему пособники, как поводырь слепому, вот он их и воспитывает на темное время. А хоть бы и днем. Человек он, конечно, в свету глядит подале собаки, зато вблизи у нее метче прицел. Ну, а третья польза, — что берут оне в малый свой рассудок, вроде клеть хозяйская — весь им до копейки белый свет, а дальше клетки ничего нету, один шум посторонний.

А как привез он их на зимовку, как выпустил на волю, как глянули оне нá небо, на солнце да круг себя — одурели со страху, до кучи сбились, хвосты дрожат, не знают, чего дальше. И очень все просто. Ежели человека в смарном чаду возвращать и моментом на свежий воздух выпустить, так с ним или разрыв сердца будет, или взмолится Христом-Богом: «Возврни, — скажет, — меня, иде взял, потому — смар и чад мне родней рѳдной родины». И собаки тах-та. Скулеж тихий и плач — беда. Туточка Никифор выручил их громким голосом, чтоб не вѳсмерть пугались, а в голосе у него бодрость и смысл: «Что оробели, робятки! Покуда я с вами, ничего не бойсь!» Тах-та оне и сами опосля думать привыкли: «А и правда, чего робеть-от, ежели Никифор тут-ка». И стали самостоятельно разбираться: нос вгору, отколь чем пахнет, иде чего находится и каково оно из себя, столь обширное благоустройство, тоё земляной шар.

А Никифору только и надо, чтоб оне самое свободу от него в награжденье приняли и зимовку почитали б, как дом спасенья своего.

Это, чтоб у них произволу не было, когда без Никифора доведется, и место свое чтоб знали. У него рослая упряжка вовсе на лето остается, а — ништо: полюют, мышкуют, не дичают, домой собираются, науку помнят на память. Молодых от рослых он отдельно держит, — неинтересно им в одной клетей, а кормить не кормит ни тех, ни этих: мяса у него летом в обрез на самого, пуцай сами себе по тёплу пропитанье добывают, а в сани пойдут, свой кусок трудовой заробят. Ну, оно не враз тахта: «Не стану, мол, вас кормить, хоть вы передохни все, какое мне дело».

На азбуку он им полведра полёвок-мышей живьем схарчил, — учись читать: запах, след, гнездо, нора, лапами гребсти, зато опосля вкусно. Выучились, наторели, живокровного в рот взявши. Подростками хомяков тундряных брали. Рыбы спробовали — тоже сойдет. А в осень споймал Никифор утей, крылья им обкорнал, чтоб не лететь далече, и стравил. Во иде охота была развеселая, лаю-от послушать молодого! Тах-та оне ума набирались помалу, что в природе про всякую тварь припасено, потрудиться ежели.

Рослые собаки тоже учителя на свой лад. Молодых обнюхали, спознались, кого лизнули, кого пихнули, на кого гиркнули, а обидеть — нет; очень понимают, оне, рослые, малых и наука у них — подражанье. Ну, до того с людьми схожесть, даже не разберешь, кто у кого первой подражать выучился, — люди ли у собак, собаки ли. Промеж родителями и детьми у людей как? А вот так: «Я, сынок, краду, и ты, стало, не попадайся; я тах-та ловко того-другого облапошил, и ты учись; я пью и ты привыкай». Собаки — все в точности: «Я делаю, и ты делай; я теплый след взял, и ты умей; я рыбу из воды вынул, и ты себе вынь, раз-два обкупнешься — научишься, кормись».

День ко дню да собака к собаке и получается сельсовет. У них тоже водятся что лены, что хитрованы, что взгальные, но не как середь людей, потому взыск равно для всех строгий: за общий вред гуртом бит будешь; за пакость собачью никто тебя с-под хвоста не понюхает; а через лень свою сдохнешь за лето, как Никифор-от кормить бросит. И еще: робят малых привечай, почтуй; суку не трожь, она тебе не ровня; чего с кем не поделил — подерись, да не по-людски до крови, до смерти, а до верхней силы. Взял, так взял; нет — подожди хвост. А ежели супротивник загода на спину лег, живот показал — дай живота, отступись, лежачего одни люди бьют, не всему от них учиться. И над мертвым не глумись, а понюхал — уйди без злобы; это у людей мода, — пока живой, не знают, куда нюхать-лизать: «Ах, дорогой наш товарищ, да синпатичный какой чернбровец, да тебя народ пуще себя любит и все книжки-газеты, какие на

свете есть, про тебя одного писаны», а помер — говорят: «Подлец, сукин кот, вор, темна ночь — мать родная, тах-та ему и надо, подлецу, а мы и не знали, что Оторви-Полтина-Иванович, думали хороший». Таковую-от переменчивость собакам вовек не понять и — добрѣ, а оно и людям не худо чему доброму у собак поучиться.

Возрастали оне на просторе незаметно и подравнялись один к одному, тах-та за полсобаки к году вымахали, а что резвости да прыти, да силѣв у них прибыло, хоть нащуп тронь: бабки, грудь, спина — все. И перезимовали не в убыток, и лета дождалась, а к новым заморозкам достигли полного роста, жилы поднабили, одна кость у них оставалась хлипкая. И пришла пора учить их на специальность. Построил он их парами, запряг; какие покрепче — спереди, послабей — сзади, и дал волокушу тянуть, жести кусок, весом к саням груженным, чтоб доразу в привычку, а сам с ними бегал и командывал: «Паняй!», «Стой!», «Право!», «Лево!» — такие все слова.

Собаками править — вожжей не нужно, потому — способность у них жуткая глагол понимать и выходка человеческая: кому одного пинка достанет, кому два, а кому вовсе ничего. Смысел слова им достигнуть — все одно, что зайчиное ребрышко хрупнуть на зубец. Не иначе, свыше это у них, боле неоткуда, а Никифор-то какой ни есть, а ума у него додуматься хватает, что собака опосля человека лучшее у Бога произведение. И в приказ оне входят не хуже нашего, абѣ слова были короткие, не трали-вали какие, а чтоб ты «Пра» сказал, а на «Во» оне уже морды, куда след, поворотили, — тах-та. Всего трудней им слово «Цыть!» далось, на случай в засядке сидеть или тишь лесную с верху до земли вычуять. Туточка оне причины мертво сидеть не смыслят и долго не подчинялись, особо кто с игручим характером, да Никифор, он — щедрый, у него дранья и заушей столь припасено — ого! — сразуемели. Теперь гляди: ставил он их без образования, а чуток погода — диплом им всем выдавай. Только ноги у Никифора с тоѣ науки гудят день и ночь; шестьдесят-от ему, Никифору, не убежаться, как по мѣлоду.

Ездовые собачки — нету их лучше, а всякая порода на свой манер. К примеру, охотничья. Этой зверя под ружье нюхом выганивать — распрекрасное дело; как завидит хозяина в полной справе, радость из нее прет — не удержишь, прямо те плясавица на свадьбе, что ей ныне день такой всласть порыскать. Хоть бы Форта взять: ведь какой пес, вечная память, одаренный был да разумный. У ездовых, конечно, по-другому: нет у них охотничьего талана, а есть талан трудящий. Ничего боле не надо, а дай-от им человеку подсобить в труде, да он, человек-от, за то передых даст желаемый, да по имечку кликнет, да рыбой-мясом наградит из собственных рук, да снег промеж когтей набитый вычистит, да слово какое лаской скажет. То-то у него

доброты, у человека, то-то правды! Как же им тах-та не размышлять по-милу, по-любю? Он и плану им в перегруз не даст, — знает, что оне, как он: дал насильный план — своего не добрал, послабил — три плана взял, во-как! Оттого-то середь других, у кого один план с грехом пополам, а у Никифора — сам-два, сам-три. Оттого и зубы в ротé у Никифора на полторы тыщи блестят — госбанк! И Кулина, жена законная, сроду тяжкой мужицкой работы не робила, как другие, равноправные. И детей у Никифора семь душ, а всех возрастил с толком и на верных людей вывел; живут теперь, да письма шлют, да «тятей» кличут, да со внучатами когда-когда наведываются. Нешто бы мог он тах-та один на себе семью поднять? Нешто бы сладил он при нынешнем-от воровстве огульным восемь ротов, окромя своего, честным трудом прокормить? Ни в мочь! А всё оне, собачки. Щербан-приёмщик, как заявится, картавец, по воздуху за смушками, так по часу и боле на никифоровских собак глаза пялит и выражается непонятно: «Плетьяковская галилея», — говорит.

III. Имена

Самая морóка имя собачке определить, до двух годов-от мороки. За такой-то срок любого-всякого спознаешь, хоть он лиходей, хоть правильной жизни человек, хоть шпион заграничный, а собаку — мозги высохнут, а нечего придумать, — тайна в ней сокрыта великая, разгадать надо. Тут-от требуется, чтоб словом в самый разрез ударить, чтоб имя само к собаке прилепилось, как тавро пропечатанное или фамиль у Никифора и даже еще точней. И не спеши, а то ошмыгнёшься — век жалеть будешь за спешку тоё. Никифор не спешит и нарекает их тахта натрое: мать, повадка, характер.

Нарекать-то он нарекает, а сам от начала до скончания Форта ищет разлюбезного, памятью мучится, душу бередит, как только не покличет: «Форт, иде ж ты есть, друг милый? Отозвись маненько, дай знать, тряхни хвосточком, голоском выведи, — я те за то кусок не в очередь кину». А его нет как нет. Оттого печалится Никифор и думает: «Добро людям, их всех заменить можно, а собаку — попробуй, замени. Нет им замены, собачкам-от, все незаменимые, хоть он какой, хоть подлец предпоследний, а — незаменимый, потому как один такой и лично единственный». Тах-та и не нашел он замены Форту, сколь ни искал. Побьётся, побьётся рыбой об лёд и обозначит по стати Фортом одну в память вечную. В каждой упряжке у него по Фарту бегают, а другие все — разные неповторно.

Упряжка вылупляется головой, ровно из яйца курёнок про-

клёвывается, и жожака видать скоро. Никифор глядит, как оне скубутся-сварятся, а сам предметит: этот-от, рябой, первый шматок берет чаще прочих: здоров, силён, издаля прикидист, всех крепче, характер серьёзный. Ну, жожак, стало, Рябко звать. А этот, что второму куску хозяин, всем хорош, да волчишка, весь выводок был такой. Он его у пастухов на случай раздобыл, а суку ихнюю волк обгулял, сынок в бату удался и мастью тоже — туман ростепельный. Никифор взял его для интересу и веры ему нет, — порода сама себя кажет: не хорошо задумчивый, глядит в ошур, шеей не вертит, в голос не тявкает, жрёт молчком, проворство лишь в драке и бесстыжий страсть, — других по животу бить норовит, прямо, значит, по собачьей по совести, и бесстыжесть эта у него в крови. А раз так, то: «Не лезь! Не лезь! Не лезь! В третьей паре, Сявый, пойдёшь! Шестой кусок твой будет, попомни!»

Коль имя дадено, можно разговаривать, только не забудь сперва собаку покликать, а потом говори, — пуцай знает, что об ней разговор, пуцай слушает да стыдится или гордится, это — как заслужила. Акафист-рацею им вычитывать ни к чему; не любят собаки пустословых людей, уваженье теряют, ежели без разбора перед ними языком трепаться. Собака требует, чтоб с ней повсегда лично и по делу. Такой-от разговор ей пуще мяса, потому — собак много, а Никифор один и слова у него обнаковенно понятные, хоть он про погоду, хоть про что хошь, а в голосе у Никифора всё ясно, как божий день. Конечно, есть слова общие, для всех, но это — когда санки таскать учатся.

За первый кусок спорил с Рябком и Сявым еще один: рыжий гвардионец, подпалины светлые, собой красавец золотистый из польмя вынутый, — ну, прямо, на выставку. Передняя кость сызмалу в развороте медали цеплять, спина — угадай, какая могучая да тягловая, на ногах стоит — не тах-та свалишь, один вид — ахнешь поглядеть. Никифор понадеялся: «Вот заместитель будет Рябку добрый. На тебе, Замполит, второй-от кусок-аванец. Ты мне за него первой парой пойдешь — рассчитаемся». А получилось — не заместитель, а от чёрта отрывок, расстройство. Такого аспида, такого лена и сволоча Никифор в жизни не видал и корил себя опосля за промашку на чём свет. Ужотко драл он его, пинал, голодом морил паскуду непутёвую, всё отвадить хотел и — без толку. От одной подлости Никифор его отлучит, а у него про запас две новых: тамotka украсть, тут-ка обдураит, там-от ванюшей прикинуться, а до работы припело, так вовсе, па́дло, вымудрялся. Сбил его Никифор сперва в серёдку, а потом в самый край, чтоб достать сподручно. Одно слово, хамлó, а не собака. Тах-та опростоволосился он с именем, рано не ко времени назвал, а на попятный двор нет ходу, заказано.

Нарёк собаку — переменить поздно. Это у людей, переина-

чивай сколь хошь: даве Царицын, на́медень Сталинград, ныне Волгоград, а завтра чего еще будет — поглядим, какой-от общественный делатель дуба даст. С собаками тах-та нельзя. За такую-от несерьезность собаки помалу с-под власти выйдут, подчиняться не станут, потому — какие ты им властя, сам посуди, ежели у тебя на неделе семь пятниц? Животина, она верит без расписки, ее обмануть — всё одно, как от слова отступиться а собака — тот же слепой, свою палочку один раз отдаёт, а в другой раз — хрена! Так и Замполит. Хоть он и дерьмо, а менять прозвище не имел Никифор права; собаки враз привыкают к названиям, что к своим, что к чужим. Ты, сказать, собаку окликнул и за чего-сь отчитал, а другие до одного знают, кого ты лаешь и пошто, кумекают, стало, что хорошо, что худо. С того Замполит так Замполитом и остался.

А как привёз он их на зимовку, да как разгулялись оне... Во иде характеры проклюнулись! Во иде прошибки не бывает! Во иде упряжка предбудущая строится! Этот, что шерстью, жесточит, цепкий какой, уцепился рослomu ездачу в подгрудок и волочится, а жомы не разожмет. Ну, Тхор, значит. Или девку взять с конопинами попереди, смиреньякая. Не столь у нее понятие, как послушность: как другие, тах-та и она. Уж он потешился, как волокушу оне таскали: ну, чисто доярка на собрании голосует, за передней парой в оба глаза глядит, как на президим, — чего, мол, там властя ручкой робят? — совсем характер калужский. Тах-та ей, значит, и быть — Калуга. Да ещё этот, который всех не обнюхает — жив не будет, ровно обзнакомливается что день или справку наводит какую — Спектор звать. Двое кобельков у него было, близнята, от одной суки. А Никифор, еще когда в городе жил, два слова слышал интересных: «Пардон мадам», и запомнил. Туточка оне ему и сгодились. Пардон сильный пёс вышел, сильный, муружистый, завлекательный. Мадам, тот блёклый и послабей, а драчливый за двоих, всего боле к брату насыкался, в одной паре нельзя было держать. С того Пардон по упряжке в самый перед ушёл, а Мадам ближе к Никифору остался.

Легко дело — полнарода знаемо; говори теперь с ними в полную свою надобность. И битьё по строгости стало с разбором: всех боле Замполиту перепадало, а Рябку вовсе почти ничего, он — главный, и Никифор ему авторитет соблюдал, организацию; что Никифор упустит, Рябку выпрямлять и выговор ему первой всех. На вырости стравил он им пару зайцев. Один утёк, а другого чалый кобель взял и повадку выявил. Никифор его мигом во вторую пару переместил и назвал Борзик, потому как чисто борзой пёс, что прыть, что бег, что посыл; морда, верно, туповата и поджарость не та, а тах-та — чисто борзой. А то у одного голос объявился певческий, не голос, а сказать — не сбрехать, благовест колоколов на Троицу пресвятую, — прямо те луна звонким эхом по́ небу рассыпалась, а ты, Никифор,

слушай-смекай, в самую точку про него, песельника, сказано: Сигнал.

Никифор тоже: учить-от их учил, выходки прознавал, имена присвоил, а и сам от них чему учился. Человеку, оно, конечно, невмочь вникнуть до донца в собачью жизнь, а всё ж много можно понять, ежели правильно себя поставил. Вот возросли оне, в смысл вошли, а — своя компания, дела тоже свои и невдомёк Никифору, что за дела за такие. Тут, перво, не встревать, не мешаться, пушай сами порядок наводят, никого не касемо. А оне знают, чего сообща робить, а чего промеж себя в сторонке.

Сказать-от, Сявый. То вовсе немой ходил, а к двум годам надумал именины справить, дикую песню сыграть, волчиную. Жуткая песня послушать, и собакам от неё тоска. Побили оне его раз, побили ещё, бросил Сявый концерты, сразумел, — голос не тот. Или Замполит. Собой кобель хоть весь его заместо картины, а гад всеобщий. Один на один с ним не всяк сладит, как оне скопом его, свет не мил, как лупили. Одно непонятно: как же так? Оне ж предметили его, холеру, раньше Никифора, а до смерти-от не забили. Лишь поздним умом додумался Никифор, что нет у них закона смертельной казни по таковому размышлению: «Жизнь, мол, святое дело, не я тебе ее дал, не мне ее у тебя брать». Собаки насмерть когда бьются? Разве за жизнь, а за тоё кто биться не станет? Ну, ещё люди по подлости по своей стравят на потеху — тоже. А чтоб тах-та, по-людски, взял да убил, — нет, не видал Никифор у собак подлости такой-от.

Драк у них по всякий день, это верно. То Сигнал с Борзиком сцепятся, то Пардон с Мадамом. Близнята, одна кровь, одна утроба, обе собаки стоящие, поди разбери, чего спорят, какую матерню сиську не поделили. Разборони их Никифор — оне вдругорядь передерутся, накажи — он же виноват останется. В таком-от разе Никифор мыслит, как в яблочко: «Не моё дело, пушай. Небось, глотки не порвут, удё не откусят, рёбра не поломают, а ранжир порядку не помеха». Что правда, то правда: не было у них резни или увечья, потому — не на полную силу между собой грызутся, а с пощадой. Умом-то оне, как люди, не обижены, только люди-от в драке ум теряют часто, а собаки — нет; стало, собаки на свой манер умней. А Сявому не давала биться Калуга, знала его привычку гадскую брюхо рвать и не давала. Чуть он пустил воротник ершом, она в промеж лезет к нему мордой и не отходит, пока он не заспокоится. А он хоть и волк, а суку эту тихую слушал и в паре ни с кем ходить не желал, только с ней. И всегда оне чуток от всех на отшибе.

Потом Ветерок с проседью. Кудлатый, крученный, шерсть у него какими-сь вихрами наперед задом росла, ровно из пурги выскочил или за хвост волокли всю дорогу. Старательный пёс,

работник честный, игручий только безо времени. И сука была одна тёмно-гнедая, до того нервная ведьма, злющая, что в поле, что скрозь, — ну, не угодишь, а без скандала не может. Что многих она обидела понапрасну, что от нее другие безвинно терпели, окромя Замполита разве. Этот ракло к женскому полу ни грамма жалости не имел, катал ее, как рубель каталку, а она опосля плакалась тоночко на милостыню. Её-то Никифор всего и пришиб раз-другой, — куда её бить-от, дуру психовую, её лечить впору, да тут-ка нешто больница? Никифор гладил её по шерсті и уговаривал: «Ласка, уймись, охолонь, стерва припадочная. Ласка, не трясись», — и тах-та пока она трястись не перестанет, а это тоже не дело. Он всё сомневался: «Купил-от пан собаку, а гавкать, видно, самому придётся. Как же эта сатана работу робить пойдёт? Она ж на третьей версте из силóв выльется, — клади её в сани с черно-бурой», — и хотел извести, но решил погодить, оказалось — правильно. Утишилась Ласка помалу, а в упряжке пошла — вовсе вылечилась, потому — работа всем одинаково, что людям, что собакам, наипервейшее лекарство, кто понимает. Простым-от людям, какие дурью по курортам не маются от безделья, про то известно: как горе какое или беда неминуемая, берись чего робить и — глядишь, сам не заметишь, как на поправку пойдёт. И Ласка. Такая-от собачка получилась добросовестная, Никифору самому не верится аж.

Под конец пошли характеры, какие не враз понять было. Эта, что полкует всех доле и в упряжь последней идет, вечно блукаёт иде-сь, Никифор её ждёт-пождёт, да опосля силóм в шлею пропихивает. Сука, как сука, а гулёна без примесу всеобщая. И повадка: всё одно, с кем возжаться, кому крыть, кому подставлять. Прямо сказать, наша баба, шлэндра общественная, тах-та ей и жить Шлэндрой. Другой заявил в себе силу, как у вола, непомерную и дурость такую ж, — глупей Калуги. Никифор вдвое терпенья на него положил учить, да к тому — нерасторопный: сам бежит, гúзно вбок заносит, вроде легче ему тах-та. Это — Потап. Ещѐ подхалим пеговатый: что Никифор к нему промашку взыскать, то он либо ползком лизаться, либо на спину — брык! — морда холуйская, на-халяву пузом кверху прожить норовил. Никифор его за то внахлѐст лозиной по брюху стегал и внушал боем: «Уважай, не полóзь! Уважай, не полóзь! Уважай, не полóзь!» Этот приказное имя получил Уважай — и отзывался на него добре, а натуру сквозную Никифор ему толичко наполовину выбил; уж больно ласковый пѐсик, дай Бог нашему телятке волка съест, Никифор не любил таких-от, панькаться с ними. Да и послабей иных он был, дуrolому Потапу в самый подпруг. А прошибся Никифор на этой собаке, не дай Бог, как прошибся, какого пса незаменимого проморгал!.. Ну, Форт — сам по себе. Конечно, куда ему,

Форту новому, до тѣзки своего, до покойника, а всё ж таки вид имел осанистый, строевой и потому — Форт.

И еще один остался, последний. Девочка он был чѣренькая, спереди латка светлая и ноги со щиколкой в сметану кто-сь обмакнул. Признака в ней никакого с первого дня самого. Никифор ее за масть взял и тоже кормил-каялся: станет от всех особо и стоит, на жратву не кидается, свар не заводит, ждет, сирота казанская, остатний кусок. А остатний кусок распоследней собаке доводится. Тах-та она сама себя определила: ни рыба, ни мясо, — ну, в крайнюю, стало, от хвоста пару. Лишь опосля вспомянул Никифор, как она стояла и какво глядела, и жрала своё как. И как ни один-от не пробовал силóm отбить ее остатний в очередь шматок, даже Замполит оголтелый, пока она не выросла и пока ее Никифор точней не запредметил. И гораздо вспомянуть пришлось, как рослые собаки на зимовке нюхали ее впервой и оглядывались непонятно: «Что, мол, Никифор за чучелу сюда-от привез, на что она, мол, тучочка?» Оттого и с именем он не спешил, знал: последней собаке всяко слово согдится.

IV. Асáча

А как до дела дошло, с Замполитом крупный наклад. Никифор не с дура-ума зарубку на него имел, что путём не обойдётся, — и не обошлось. Ну, ледащий, подлюка; от кого произошёл, ракло, невесть от кого, только не от путной собаки, — не хочет робить, дармод, хоть ты что.

Перво он в серѣдке ходил. Нет, на глаз не угадаешь, тянет, вроде, как все и лучше. Вот обратает их Никифор, крикнет: «Паняй!», — оне и пошли с какого-сь раза на-совесть, на талан: постромки струночно, слабины не дают, не рвут, не дѣргают, гладко всё. И у этого арапа тоже кругом порядок, а старательности даже поболе других: как-никак, трудяга, через своё ж грызло из шкуры не выскочит, работающий такой. А того, тварь, не соображает, что след-от по мягкой тундре у него вовсе лживый, потому — не пружит, не дуется, кому-сь пámороки забить собрался: «Пуцай, мол, дураки робят, а я, умный махать всех хотел через себя». Драл его Никифор несудом, все руки отбил, и впокот ногами отхаживал, и жрать не давал, и слова, какие знал похабные, все на одного его, змея, срасходовал, а под конец мочи-терпенья взял его за правыйник и ножиком хвоста маненько укоротил, думал поможет. И не жаль трудов, кабы впрок, а то ж — надсмешка! — к новой подлости, хамло, приспособился. Умнеющий был, рыжая курва, да не туда ум свой производил, куда след. Научился твердо от мягко разбирать, аспид: «По снежку я тебя, стало, Никифор, прокачу, а по насту сам на тебе поеду». Во, сатана, вытворял, чтоб ты сдох.

Отчаялся он с ним вовсе и сунул его в конец в самый в последнюю с чѣренькой сиротой пару, чтоб его, стибулянта, близ-

ко достать былó. Тут-от его хитрость разом чего-сь покачну-лась; до того не хотел соседства, прямо на диво: выкобеливать стал, огрызался, гиркал дурняком, а потом упёрся, охромел, заюжál, страдалец, и тряска его мелочко продрала. И потянул потянул, да каково еще потянул, морда наетая. Никифор проздравил его с трудовыми успехами супятком под гүзно, потому — злодей природный, скотина без креста. «Ну что? — спросил. — Не ндравится честный кусок зарабатывать?» и отвернулся; пушай знает, что весь его взгальный норов Никифор через ноздрю длинной соплэй по-за ветром фукнул. А чёренькая — ничего себе псинка, совсем ничего.

Он уже тогда по третьему году псюрню свою муштровал, а она тах-та и осталась, вроде нужды нет: ни позвать, ни обзвать. Кабы она цапалась или блажила, или неслух, или пакости, что ль, какие, оно бы предметней, а то — нет и взыскать не за что. Середь других — навроде своя, а приглядеться — посторонняя. И масть посторонняя, и выходка, и собаки ее не то боятся, не то связываться с ней жалкуют, не то гребуют или чужесть в ней чуют далёкую — не разберёшь. Тах-та смалу никто ее не трогал, ни куска отбил, ни дорогу переступил, ну, и Никифор тах-та со всеми. Оно, конечно, как она остатняя и послабей, и прозванья нет, ее и предметить трудно, и кнут ей в последний черед, — таково Никифор соображал по привычке, а покамест он соображал, возросла она в полную силу и изо всех ни разу не битая вышла. Прошибки у нее никакой, подумашь — мудрость науки превзошла с первоначалу и от матернего молока поболе Никифора умеет: только-от он команду сказал, только голос-от подал, она уже знает, чего велят и тоё команду сполняет — ать-два! — как на плацу.

Ну, прошлогодним умом смекать все мастера. И Никифор не хуже кого-сь опосля доспел, что превосходная она изо всех собака и цены на неё запродажной покуда ещё не выдуманно, и не было таковой собаки на всем Далёком Востоке, и у японцев тоже не было. А хоть и была, так что? Особый талант, он повсегда неприметный, не нахрапом берет, а чудным явлением, и пока ты на чудо дивовался, рот разевал да скрипел середним своим умом, да на пальцах прикидывал, что к чему, талант с голодуркаторги не своей смертью помер, — не обидно? Скрозь тах-та от веку, что у японцев, что у нас, только у нас еще хуже. Вот и Никифор: покуда своим умом сдюжил сказать, сколько времени прошло.

Того он и осерчал, а как не серчать? — все битые, одна она — нет. С того и зло в нём возгорелось, а это такая зараза прилипчивая, зло, дай-от ему волю, попадешь в неволю. Ну, и решил: «А вот возьму и побью; сейчас-от возьму и побью; мало что без причины, зато для счёту». А сам навкось на неё — глядь! Тут те и предмет: уши стремя вгору пошли, губы тронулись, ножи в чёрном роте блистанули и шерсть на холке дыбом-

ерофеичем задралась, ровно шепнул он ей на ушко: «Сейчас тебя бить буду». А Никифор, хоть он у собак за учёного, а тоже от них обратной науке учится. Животина зря грозить не станет и зубы у неё не для шутейства; раз она их кому показала, тот пуцай побережется и век помнит: страх и смех у собак на хвосте, а на морде совсем другая прописка. То-то, чёренькая! То-то, смиренькая! То-то, тихий омут, чертей полно!

И не сказать, «забоялся, мол», чего ему бояться? — поостерегся да и только, а поболее того чудно: иде слышать, чтоб скотина мысли прочитывала? Кто дела не знамши, скажет поди: «Приблизилось Никифору чёрт-те что и кочерга прямая». А какой тут «приблизилось»? Он бы и сам рад для души спокойства заявить: «Собаки, мол, все до одной ума нет, а чему обучат, то оне робят безумно и в любой момент, как машина», — да нешто это правда? Люди-от по глупости большую промашку дали насчёт этого дела и по нынешний день, туды их всех подолом, никто сразуметь дурость свою не хочет.

Никифор тоже не хотел, и было ему наважденье. Почуял он — кто-сь ему в спину дозирует, следит за ним, глаз не сводит, тах-та настырно сверлит, ровно бурав какой. На людях-от оно все просто и с каждым бывает: идет человек своей дорогой, посередь людей пробирается, а жилой сердечной чувствует: чего-сь у него неладно, кто-сь его сзади глазом подгоняет или передерживает, или походку ломит. Он туда-сюда — зырк! — и поймал, а тот, другой, не успел отворотиться и сам теперь, как зверь в ловитке крутится. Но это на людях, а когда ты один и круг тебя ни души, ни лялечки, так хоть «Караул!» кричи, кабы голос. Это жуткости называется.

От жуткости человека нутряным холодом обдаёт и он мерзнуть начинает: шейей, плечьями, спиной — всем. И волосья у него, как живые становятся, каждую волосинку чуть, хоть считай, сколь их растёт на тебе. И пот тебя прошиб, а он ледяной, склизкий и вонючий, потому — у страха свой запах, человеку недоступный, а зверь его мигом чувствует и ты на зверя тах-та лучше не иди, — пропадешь. Одно только лекарство есть вонючий страх забить: отчаянность. Трудно это, — как бы вроде ты сильней самого себя стал, — немыслимо. У тебя по спине муравли ползют, а ты шагу-от не сбавляй; волосья побелели от смертельной тоски — ништо, кидайся вперед, про жизнь не думай; душа захолонула и из груди в ноги спустилась — не подавай вид, зубами скрипи, грозись всем врагам. Тогда страх с тебя спадет, а смелости прибудет, а у смелости, как у правды, совсем другой запах — чистый, здоровый. Зверь его тоже чувствует.

Три жуткости Никифора имеет в жизни. Самая жуткая жуткость — биографы писать. Как его, увечного, за дезентирство судили, дал ему следыватель бумаги, велел: «Пиши». Он час-два посидел, написал: «Никифор Беспалов фершар», а боле ничего не придумал. Следыватель посмотрел на Никифора и го-

ворит: «Дурак, фершар, сундук еловый, брысь-пошел!» С той поры, как ему приснится биографъ писать, тах-та он с криком прокинется и долго от жуткости лежит, отходит.

Другая — человека в лесу встретить. От такой-от беды Бог миловал, а случай был. Двое у него из ловитки сырьем куницу выжрали да наследили, да недокурки кинули, так он на тоё недокурки, ровно на змею глядел ползучую, было замерз от жуткости, оглянуться не стало духу.

Третья жуткость — чужой глаз на себе почуять. Переборол Никифор сам себя, трепыхнулся отважно, глядь-поглядь, куда идти, на кого кидаться, лишнее все долой, рука — хватъ! — за ножик, раскашлялся нахально и геройски задницу почесал, а никого, кроме собак нету. Выгнал он из нутра страх одним духом, залаялся, а на собак даже не вникал. Такое-от вытворять собака не умеет, это человеку глазами на чего накинуть, что те пальцем ткнуть, а у собаки в глазах от роду не точка, а участок. А как в одну точку ей глядеть долго нельзя, то она по участку тому без перестану зраком стрижет всю местность на поворот головы, чтоб на случай живность мимо не проскочила или для жизни опасность. Тах-та неприятно Никифору было и мысли неприятные, и раз, и другой, и третий, прямо хоть брось. Потом надоело; набил мозоль на горбу, перестал оглядываться.

Оно бы лучше скотинку черенькую по времени назирать, чем по памяти, да кто ж знал? А назирать было чего. Ласка, кликуша хуторская, смирела при ней; Потап на живость характера бил, хлюст разлапый; Уважай на спину не падал, ползун лизучий, бодрился; Сявый, тот ее обходил, и Калуга всегда промеж ними терлась; Замполита на выпряге предмет от нее подале; Рябко, как в авторитет вошел, всех-от подправлял маненько, кроме ее. А Пардон муругий, тот жалел ее за родную душу: как без дела, так близочко топчется и мышкует иде-сь рядом, и спит сбоку, а это перво-наперво: с кем собака греется, он и есть ближний. А то возвели напраслину: суке, мол, все одно, абы кобель. Какая сука, какой кобель. Никифор с ними полвека прожил день в день, повидал: у любого свой разбор, кто кому подходит, тот тому и родство. К ней-от поваживались и Сигнал, и Борзик, и Спектор с Ветерком, а остался один Пардон.

Глянул он на нее тах-та в день ясный, ведренный и одурел: не собака перед ним, а девка на выданье, королевна-свет-барыня; на ногах белы носки, на руках рукавички по локоть по самый, на спине темна ночь, а на груди уже утро. Как зашлось от сердце у Никифора; как зажмурились глаза от красы дивной, нестерпимой: как душа воспрянула да мало не вырвалась, кабы комом в глотке не зацепилась, — не стало чем дышать. Взор смелый; шея, — птицу-лебедь видал? — такая-от; спина гибкая; в груди порода; хвост пышный наотмах кинут: вона я какова удалась, робята, красуйся на меня, кто хошь!

Проморгался Никифор, дыханье управил, стал соображать. Туточка пришла ему краса иная, давешняя: речка лазоревая, берега лесом рисованы, вода, как стекло, а в воде облака, а в облаках рыба плавает и голова маненько кружится. Никифор тогда молодой был, с Кулиной гулял, мечтанья у него были разные и куда ни глянь, полно цветов, вот оно ему и запало на память — речка. Название только забыл. Красивое, а забыл. А тут — нá тебе! — выскочило: Асача. Схватил его бегом Никифор, как в охапку, а чтоб оно не вырвалось, крикнул, сколь духу было: «Асача!» — и подождал, пока оно по лесу не расклинулось дальними голосами. Потом собаке сказал, но тихо: «Асача!» — нарёк, стало. И еще позвал ее тах-та, а голос у него теплой волной перебивался и сердце на нитке зависло, как в небе жаворонок: вот-вот упадет, вот-вот оборвется.

И стала упряжка сполна. Вот она какие и всяк на своем месте: попереди Рябко, а за ним парами Тхор с Пардоном, Борзик с Ветерком, Сявый с Калугой, Сигнал с Лаской, Спектор с Мадамом, Шлэндра с Фортом, Потап с Уважаем, Асача с Замполитом. Справа на них простая: шлейка на шею ладится и под грудки перехват-супонькой выходит, да попереk спины подпруга, а от упряжи постромка к санному потягу и получается, вроде собака в штаны передними ногами заступила. Надеть собакам штаны умеет один Никифор, потому пряжку застегнуть надо, а скинуть упряжную оброть умела еще Асача и скидывала. Чего она робила и как, Никифор не предметил, думал, это он сам ее растогó, рассупонил, только память отшибло.

Может, оно и лучше. Ежели б он все доразу видал, да одно с другим повязал, невесть чего было б. Как-никак, а Никифор над ними властя. А властя нашия претикословья не терпят и закон у них один: «Я сказал и — все!» Правда, терпеть собаку умней себя — четвертая жуткость.

V. Обнаковенно подлость

Ее зовут по-разному, а все одно, как ни назови, хоть горшком, хоть корчагой, а она тах-та и остается, — подлость; каши в ней, ясно, не сварить, а в жизни без нее никуда. Никифор-от для души спокойства тоже думает: «Чего ж туточка подлого? Все робят, и я со всеми». Ну, и сотворит чего-нибудь. Кабы оно во вред, тогда, конечно, а пока хорошо, ни один про себя не скажет: «Подлец, мол, я». И Никифор не скажет, покуда не дошкүлит его до живинки, не проймет.

Такую-от подлость обязан он собакам по третьему году учинить; оне, собаки, к трем годам набираются крепости и твердеют костями, но характер у них еще зыбкий и ума прожиточного не хватает. По тоё их мóлоду-зёлену задает он им науку,

пока не переросли, и наука у него маненько подлая. Собачки — народ шибко совестливый, и Никифору надо, чтоб замарались оне и были б перед ним виноваты. Как замараются, — что хошь с ними, то роби: весь, режь, стреляй, на все готовы, с-под власти вовек не выйдут от переживаний: и вспомнать тошно, и забыть никак, и сразуеть невмочь, что не в собачье дело он их втянул, а до людской образованности возвысил. Тогда уже и дисциплина у них нашая, и послушность, и все, а Никифору того и давай: свободу он им через себя предоставил — раз, совесть поранил — два, и самочувство у Никифора, — как царь и даже еще лучше — три.

Есть в этой выучке тонкая нитка, — рвется, как перетянешь, а прямо сказать, — характера у них хватает на одну подлость всего. Поболе того захотел — поберегись; бросят собаки совесть, как им ненужную, и такой-от бардак разведут, — никакого сладу. С бессовестными собаками жить куда как трудно. Никифор однова перестарался да чуток живой выскочил и пришлось ему новых заводить, а бандюг бесстыжих — всех под корень, туды их поделом, и на погост. Робится подлое дело с утра и по горячему, чтоб собаки не долго думали, иде чего, а тах-та — хлоп! — и все, думай-не-думай. И начинается все очень обнаковенно и ненароком.

Споймал-от он им волчка показать, кто, мол, главный враг, чтоб уже стереглись и век помнили: с волком бейся насмерть, раз на то пошло, а в плен его не возьмешь. Волчишка им годок был, а может, мало постарше, но не матёрый; Никифор ему палкой жомы разжимал и ножи смотрел, — не матёрый, нет. Скликал он собак, сунул серого в чувал, отнес в тундру и гейкнул. Собаки-то враз пронюхали, что враг природный, кипят глотками, как-как на Никифора не кидаются. А серый растерялся, куда утекать — не знает, и биться не хочет, да псёрня тут-от на него миром навалилась, он и был готов.

Тах-та первая получилась выбраковка, потому — волк Борзика напослед по мягкому задел, брюхо откутал, — это уже не собака. Лежит волк зарезанный, рядом-от Борзик сидит, сырую болячку языком заживляет, а дырка — кулак влезет и кишки в ней розовеются рваные. Никифор враз подумал: «Как подлость-от кого робить, так пушай ныне, пока собаки не остыли, а Борзику все равно гибель». Отвел он их подале и на подбитого Борзика гейкнул. Оне и пошли, а азарт боя им удержать, что солдату задор — убил одного, другого, третий руки воздел: «Сдаюсь!» — кричит, а он и третьего туда ж, и всех, кто под руку сунулся, баба — не баба, дитё — не дитё, потому — осатанел, не остановишь.

Повидал тогда Никифор, какво Асача бегать умеет. Оне, в каком порядке робить учатся, в таком и травят на ровный строй, только простору поболе, а ей в последней паре место, а она — иде прыть взялась — всех обскакала, глазом моргнуть;

летит, черный стрепет, землю под собой пропускает, с ветром ласкается. В другое время покрасовался б Никифор на тоё бег летучий и шибче того запредметил бы, а на этот раз, — ну, до того ему бесприютно стало, — не хотел, чтоб она первая в подлом деле замаралась, пушай бы другой кто. Не успел он тах-та пожалковать, еще хуже вышло: добежала Асача до подбитого Борзика и дорогу поперек перегородила, — сигай-от через нее. Другие, — кто юзом, кто как, — заспотыкались, шаг маховой потеряли и совсем уже смиренные, куда азарт делся. Обсели Асачу с Борзиком и морды у всех удивительные: «Что ж это мы, робята, вытворяем такое? Это как же оно тах-та, Никифор, получается, — бей своих, чтоб чужие боялись?»

Беда дело приказ отменить. Властя про то знают, и Никифор знает. Наперво оно сходит вроде на удивление, в другой — на неудовольство, а до третьего не доведи Бог. Ну, Никифору одного раза во как достанет. Сразумел, что подлость вспроть него обернулась, зашмыгали у него муравли по спине, прозяб нутром, ногами жидко прослабился, но как мужик с головой, то решил кривду на правду выправлять прямо тамотка. Собак издала молодчиками обозвал, подошел, спросил понятным голосом: «Ну, что, робятки, жалко, поди, товареща-от жизни решать?» — ровно тому их только и обучал, что жалости. Еще постоял, сам с собой на голос оправдался: «Что ж, мол, робить, коль тах-та получилось, мне и самому жаль». А как собаки в голос его вникли и вид удивительный у них пропал, вздохнул Никифор по-честному, клацнул курком, попрощался: «Бывай, Борзик, резвая собачка, веселая», — и в ухо стрельнул. Потом отнес кобелька на погост, похоронил, как положено. А Асаче сказал: «Не по прыти своей ты, Асача, назади плетешься, в серёд пойдешь». И пошла она, куда велено, да Никифору с того не легче: не поверила ему Асача, одна из всех не поверила, он это своим глазом предметил, — вид ее недоверчивый. А это не пустяк. Это с людьми можно: «Хрен, мол, с ним, с доверием, абы робили», — а с собаками много тах-та не наробишь.

Оттого развинтилась у него башка, мозги перемешались, ум за разум зашел, шарик за ролик закатился. Стал он мараковать: «Вот, — думает, — собаки ничем нас не хуже: и ума не мене, и разбираются, и соображают, и память у них, и все. И породы разные, как национальность: есть германцы, есть негры, а то и вовсе дикари какие-сь бродячие. И язык у каждой породы свой, и жизнь, и обиход. Ну, значит, дело теперь за малым: выведут на чистую воду нашу подлость людскую и читай, Никифор, отходную. Перевернут все до горы раком, свое государство обоснуют, свой наведут порядок, а какой — это и дураку видать. Войны и разврата — ничего этого уже не будет. Фарту покойному памятник поставят: сидит пес гордый, доблестный, а под ним структор Нестерук без штан валяется. Люди, хомуты надевши, в упряжке пойдут, а собаки на санках полевать по-

едут и станут людей школить каждый «гав» понимать правильно. Никифор, как он способней иных собачий язык усвоить, то его, ясно дело, вожакон пусят путик прокладывать, а за ним бывшие властя попарно, да он же, Никифор, будет их при каждом выпряге учить по сусалам, чтоб тянули, ленё, на совесть и головой кумёкали, иде право, иде лево, иде чего. А как государства пойдут разнопородные, то наладят, гляди, обмен людьми: «Вы, Явропа, — скажут, — давай-от нам десять тальянцев на развод, а мы вам за то сотню русских, на каких Расея дуристью держалась, бо их у нас, как собак нерезанных». А властями у них будет заправлять, может Рябко, может Тхор, может кто другой, способный. Только навряд, чтоб. Скорей, Замполит или городской какой кобель, что спит на диване, котлетами питается и гавкает по годовым праздникам за рафинад. И опять устроится в государстве неправильность, еще, может, хуже, чем у нас . . .»

Думал он, думал, а ничего не придумал, как дело выправить. Набрал в грудки воздуху и говорит: «Не серчай, Асача, что с Борзиком дурака сваял. Хошь верь, хошь нет, а вот ей-бо, сам не знал, покуда не довелось. Все тах-та робят, ну и я». Как он это сказал, так под рукой и прочуял: трепыхнулась Асача, все до крошки сразуела, об чем он. И глазами оне сошлись, не раз-раз, как раньше, а встречно и на проверку. А глаза у нее карие, острые и взгляд прямой, не егозливый, и смысл в нем Никифору глубоко недоступный, как жизнь другая. Сроду Никифор с собакой тах-та глазами не мерился, но взгляд звериный честно выдержал. Тут-ка пошло от Асачи электричество и в руку ему садануло, не особо шибко, а густым током ровным, аж под языком закисло. Побоялся Никифор долго руку на собаке держать и прибрал, но с тем-от электричеством вошло в него понятие точное: поверила ему Асача.

Это ж сказать, какой-от у зверя глаз бывает человеческий, и в глазах, как у людей, большое место, живая душа. Вот хоть бы взять, клуб, кинокартина, девка сидит в окне красивая — замуж бери, билетами торгует, а глаза воротит, потому — больно, ежели тыща человек и каждый душу норовит твою достать. Или шофёр в автобусе едет, а у шофера зеркало, а сзади граждане, делать им нечего, так оне на шофера пялятся. Да он умный-от шофер: материйки взял кусок и отзанавесился, а для чего? А для того, что люди разные и глаза у них разные. Есть властя, а в глазах у них — в одном корысть, в другом приказ. Есть стерва базарная, когда-сь трешку потеряла, белый свет прокляла и клятвы своей не сымет, пока червонец в помоях не найдет. А то вовсе пьянчуга, алкан, — пустые у него глаза, как у недоноска, безумные, понимать нечего. Только у детей чисто безгрешные глаза, глядеть в них, да у стариков, что землю чуют, благость в глазах и спокойство. А другие позакрывались

черными очками и жизнь быструю ровно из тюрьмы наблюдают.

Деликатный народ — собачки, в глаза редко заглядывают, разве что запрос какой или окликнул, а тах-та, чтоб долго... Ежели же она на тебя долгим глазом накинула, ты собаку той предмет и попомни: эта собака умная. А что глядит, значит, право заимела. Ты кто таков? — рожью сеешь, ложью сыт бываешь. Чего ж ей-от на тебя не поглядеть, ежели она тебя во как раскусила. Вот и думай, коль ума хватит.

VI. Случай

Чувствительный человек Никифор; чувствует много, думает еще больше, — это ему от природы передалось. А чувствительному человеку, как душой-от он природу обхватил, дается за то понимать, каким-таким разуменьем жизнь устроена: земля — плоть живая, горы — костяк, реки — жилы, лес — волосья, а по плоти да в волосьях всякой живности есть за что зацепиться. Тах-та и до Бога недалече, и приходит Никифор к нему не книжной премудростью и не чужим умом, а сам по себе и по своей воле, потому как нужно ему это не страха ради, что, мол, умрет он и укут его черти в трисподню, а для правильного насчет себя в жизни понятия и ходить не спотыкаться.

Особо в лесу. Лес, он разом с чистаполя начинается, с тундры — с краю недоростки растут кривоватые, кущи хвойные, а чуток погода вся поросль струнчко в гору пошла и невпролаз: береза, лиственница, кедр — хлебное дерево, главный злак. И не доведи, какой год кедр не уродит — гибель. Полевки, белки, тушканы мрут наповал, а без них кровожадный зверь тоже до смерти тощает. Лось, глухарь, олень куда только подевались и страшно тогда в лесу человеком быть. Волки — худые, горбатые, уже-от им все равно, середь дня за саньми следом, ровно собаки прибудные, бегут-теняются, отброс человеческий со снегом жрут, а дай-от им зверя доброго, так и зарезать силов не хватит. А пушняк, — когда-когда попадет, глядеть на него, плакать: шерсть — чисто на свиные щетина, чем тварь на свете держится?

В такую-от зиму Никифор ловитки не ставит и промышляет одно мясо упряжку кормить. И в снегу не ночует, боится замерзнуть и собак поморозить с голоду, а ежели курá снежная прихватит, то и сам тянуть санки подпрягается, как собака, и тянет на слепого комара, пурга — не пурга, лишь голос подает: «Робятки!» — покрикивает. И всегда оне его выручали, робятки, и он их за то не забывал. Доброй муки у Никифора что год, чур на самого, а в тот год и хлеб не уродился, золотой был хлебушек из чужих-от краев, так он отруби, шкуры мезд-

рить, — спасибо, шкур-от не было иде взять, — отруби с малой мукой мешал, тесто затворял, хлеба пек и тоё хлеб, в ротё деручий, сам ел и с собаками делился, с ними наравне бедовал, ежели не страшней, потому как зубы у него под вёсну, будто орешки посыпались каленые до одного. А еще бил он заслуженных перестарков и молодых кормил до тёпла выдюжить, до первого гнездовья, до первой мьши-рыбы.

Зато на урожай — живет лес большим городом, и следами по снежку написано, что жив, мол, я. И выезд у Никифора тогда совсем другой: по тундряной плоти, да край кудрей создательских, да круто пóсолонь на речку своротил, да вдоль-от жилы божецкой едет он за зверем в самую гущину, в самые, стало, Господни угодыя. Снежок сверху свежий, рыхленький, а внизу, как дорога, твердый и не ухабист, а в лесу помягче, нога проваливается, потому — теплей там зверю. Речка — просека, конца ей нет, один берег другого круче. А санки у Никифора из березы, — что легкие, что крепкие: сверху сыромяткой мертво схвачены, не жесточили чтоб, снизу шурупамы, а полозья заместо подрезов нерпичьей шкурой по шерсти подбиты: вперед — только давай, назад — стоп, тормоз, собачкам в горку передых.

По доброй погоде выехать, — эх, житье райское! Не едет Никифор, а на пух-перине кохается и всласть свое продвижение чует, да не морозцом хватким, что за нос карябает и в пику ветром шибает, а рукой, ногой, нутром, чем хошь. Иде еще скорость тах-та прочуешь, как на санях, — хоть на велосипеде, хоть на самолете? Удовольства такого за деньги не купишь, кто понимает. И собачки: бегут — только в Москву на парад показывать — ровная елочка, из рота парок, шаг разбитной, веселый, нога в ногу, не собьются, а никто не научал, сами достигли. И промышленяет он с ними до самого до Великого Поста, а дальше того — нет, чтоб новый зверь в свой срок отродился. А посты Никифор не блюдет, — нельзя ему с собаками зимой без мяса, а раз нельзя, то какой же грех? И на Рожество он ловитки неделю цельную не ставит, чтоб всякая тварь живая тоже славу Господню восчувствовала, да и самому разговеться чуток от жизни тверёзой.

Когда-сь на Рожество ездил он по соседству верст за двести с гаком на Тимохину зимовку двáдни водки попить, душу отвести разговором. Тимоха, он поученей Никифора, радио у него приемник, правительство заместо божницы, политику знал: чего капитализм, чего буржуазия, чего кто. Мужик по себе неглупой, образование семь классов и при добрых собаках, и Никифору подражал робить без напарника, только что запалистый и маятой разной маялся. Оне с ним и пили врозь: один — водку, другой — кольяк, один — «с Рожеством», другой — «с Новым Годом». Ну, выпили, про дела потолковали, а Тимоха долго не утерпит, на крупный разговор насыкается.

«Удивляюсь я, — говорит, — на несусветную твою, Никифор, дурость, когда всем давно известно, что Бога не было, нет, и не надо, наукой доказано с большим успехом, все это одна выдумка темных людей, как ты, например, которые». И дальше того пошел-от доказывать, что как Бог Очечественную войну проморгал и до гибели нас мало не довел, то судить его надо каким-сь особо преступным процессом и спросить через громовую трубу при всем народе, иде ж он, такой-сякой, раньше был. «Как это, «иде был»? — противится Никифор. — А чья победа, наша или немца?» — «Ну, допустим, — упорничает Тимоха. — А цена победе? Кровопролитье! Мильёны! Как же он допустил незачное нападение, ежели он Бог, по-твоemu?» Никифор подумает, подумает и скажет, что Бог, могло быть, обиделся, потому как властя смеялись над ним и всех заставляли, и кресты сымали, и скотину в церквах держали, и говорили, что его нету, а дошло до мокрого — стали кричать: «Ау, ау, иде ж ты, Бог, запропал, куда заделся?» И у Тимохи спрашивает: «Было тах-та или нет?»

Тогда Тимоха пристаёт с другого конца, что, мол, Никифор Кулину свою во всем поваживает, сам по дому побирается и бабскую работу робит, в поселке над ним смеются: щи варит, подштаники стирает, — это что за новость? «Нешто твое это дело? — корит Тимоха Никифора. — Эх ты, мужик! Твое дело какое? Иди, ложись, закуривай, пришла к тебе баба — справь ей наш мужской закон и опять же — ложись, закуривай»... На это Никифор ему отвечает, что мужик, мол, это — не серьга в портах тилипаётся, а должность такая-от, все уметь, окромя детей рожать, конечно. А как Никифор все умеет, то никакого равноправья Кулине своей не дает; пуцай детей подымает правильно, тах-та оно лучше.

Никифор спокойно размышляет, а Тимоха горлом берет. «Ну, нет! — кричит. — Не на таковского напал! Не возьмешь тах-та без рукавиц, не дамся без мыла! А ну, встать! Смирно! Прошу всех наполнить бокалы!» И опять же новый спор затеет, — шибко по разговору стосковался. То-то проспоят оне и за полночь, и до утра, а никто никому ни в чем не докажет. На другой день проспятся, встанут, голову поправят, сыграют на голоса «мороз-мороз», «камыш-камыш», «степь да степь» да «последний нынешний денечек» и разъедутся. Но то было давно, потому — пропал Тимофей безвестно, десять лет как. Слетали к нему на зимовку, тамotka полный порядок: замкнуто, смушки попрели, перестарки ежжалые подошли с голоду, а кольяк целый и правительство на месте, и радио справное, — «Кипитализм, — передает, — буржуазия», одного Тимохи нет с молодой упряжкой. Лес-от, он поболе стога, а человек помене иглоки, — ищи его хоть до второго пришествия, все одно понапрасну.

Никифор догадывался, как оно получилось. Была у Тимохи упряжка неуков молодых, да он рисково ее передержал до пяти

лет. Никифор ему говорил: «Ты, Тимофей, их теперь не трожь, бо худо дело. Езди, как доведется, авось, ништо». Проминул час их бить, поздно, не дай Бог чего, пушай лучше небитые, а себе дороже». «Боялся я их, — говорит Тимоха. — Хоть бы на пятом, хоть на десятом, я им хозяин или кто? Пушай оне меня бояться, а я их жучил и по гроб жучить стану. Не я буду, как бубну им не выбью к масленой». Ужотко Никифор и совестил его, и увещал, что, мол, одно дело — дитё поперек лавки поучить, другое — рослого мужика вдоль пластануть да выпороть, — он те век не простит. «Так то — люди, а то — собаки, — Тимофей заявил, — разнища». — «Дело твое, — сказал ему Никифор на рукобитье, — а не советую». — «А иди ты, — Тимошкины были последние слова, — учить ученого, сам без тебя знаю».

Вот он их и побил, рослых неуков, не послушался. Ну, с недельку оне болели, отходили, да, поди, столь же дней соображали, как за тоё обиду посчитаться. Так что недели, должно, две прошло от битья, ежели не боле, как поехал он в объезд, — оттоль дотоль в день не управишься. Пришлось с ночевой, а оне спать будут с ним: и с боков, и поперек, и всяко, потому — отдать свое тепло обязаны. Он их всех, ясно дело, иде-сь рассупонил, незнамо иде, тут-ка ему и был последний нынешний денечек. Пять ездачей всякого мужика возьмут, а их вдвое. Потом-то оне и сами пропадут, как не могут себя в зиму обеспечить, но раньше Тимофей пропал Минчак.

Никифор следывателю тах-та без утайки на допросе и выложил, потому — предпоследний он был, Никифор-от, кто Тимоху живьем видал. «По-вашему, — спрашивает следыватель, — всякий кабыздóх рассуждать понимает?» — «А как же! — Никифор говорит. — Обязательно». — «Выходит, намеренное убийство?» — «Выходит». — «Восстание, значит, с революцией, — тах-та и запишем. Ой-ё-ё, до чего интересно! А кошки, как насчет восстаньев, соображают?» А сам за папироску схоронился, дымком обмотался и надсмешается, умный человек, над глупым Никифором. «Я по кошкам не спец, — Никифор говорит. — Чего не знаю, того не знаю. Я про Тимоху говорю, как оно было».

Худо дело обернулось. Последний-от, кто Тимоху предметил, Щербан был приемщик, но как он состоял при других свидетелях, то, стало, не в счет, и подозренье пало на Никифора, что, мол, съездил он к Тимохе вдругорядь и ухойдóкал соседа-от своего с корыстной целью участок забрать. «Вся ваша выдумка про собак, — следыватель сказал, — не имеет под собой земли. Вы, Никифор Беспалов, навели полну хату тень на плетень, а сами не знаете, — говорит, — законов государства, что подозренье всегда на пользу государства и я тебя свободно в любой момент посадить могу, потому как я есть государственный человек: поверю — твое счастье, не поверю — не прогне-

вайся». Тут-ка ему Никифор две сотенных отмахнул, как одну копейку. «Я вам верю, — следыватель говорит, — а надо еще, чтоб и другие, государственные, они тоже люди и семья есть». Тах-та Никифор семь рыжих володек промежду пальцев ни за что пропустил. Эх, кабы один на один, показал бы ему Никифор лесной закон, кинул бы на него псюрню и за грех не посчитал, — пушай бы государственный человек за одну компанию с Тимохой. Да оне сторожкие, властя, боятся один на один.

Побывали у Никифора на зимовке, шуму наробили, перевернули все непутем, искали чего-сь для блезира, не нашли. Ну, написали: «Тах-та, мол, тах-та, Минчаков Тимофей Иванович был-был да потом смылся в неизвестном направлении». А направление-от как раз очень известное, — собаки зарезали, да иде искать? Поди, полгода минуло; то ли его к холодному морю в леде понесло, то ли зверье в лесу по кости растащило, — поминай, как звали, одно слово. Вот те и кипитализм! Вот те и буржуазия! Пропал человек со скуки, отмаялся не по годам за упрямство за свое, а жалко.

VII. Травля — бой честный

Засядку себе он край речки предметил, иде бурелом и снегу копну добрую навалило, и бережок ровный, плёсовый, — самое место. Там-от банда путик на другой берег пробила, а он гораздо резаный, берег-от, и по каёмке по самой на обрыв, не тах-та высок, а не перескочишь, разве что седловинка есть распадастая. Через тоё седловину правились оне с одного берега на другой ловитки зорить и шкодили непомерно, а Никифор их поболе двадцати насчитал. Кабы оне пошкодили, пошкодили и перестали, он бы их и не трогал, а то обжились, чего роят: пушняка выжрут, ловитку раскурóчат, круг неё насрут-насрут, не с озорства, ясно дело, а просто знак у них такой, по снежку расписаться: «Уходи, мол, Никифор, добром и угодьа наши не трожь». А Никифор не соглашается и через то у него с волками спор несудом. Каждый раз, как новая шайка собьётся, так и спорят, кому хозяйствовать, кому гостевать.

Перво пробовал он на них ловитки ставить, да оно не с руки: что зверь не промышленный, что голова надвое, по кого ехать, — то ли по соболя, то ли ещё по кого. Да и животина свободолюбимая, в неволе часу не терпит, а ежели и заступит когда, — ноги не пожалеет, резанёт, как не свою, хоть по мослу, хоть по суставу, и о трёх ускачет. Глянет Никифор на тоё обрубок волчиный и заноеет у него рука увечная тах-та больно, и почувует он сердцем волю и сколь цена за неё, ежели часть себя отдай.

А ещё брался он по недоумству отравой их изводить, — та-

кого нарбил убытку, страмота на объезд ехать, а от мышьяку что зверья да птицы в округе передохло — бессчётно, и план у него повернул не на барыш, а на коросту, добрую половину недовзял. С того он смекнул маненько, что дикую силу вольнорождённую только прямой силой пересилишь, а больше ничем.

Ватагой у них волчиха заправляет старая, и оне круг неё, ровно пчёлы круг матки роятся. Ежели её убрать, вся стая рассыпется, а заместителей нету. Никифор, истинный Бог, не побоялся бы шиб на шиб сойтись, кабы у неё на лобе как у людей, стояло: «Я, крупное начальство, большие властя, недосуг-от мне со всякими в очередь», — а она ходит посередь стаи и видом, как все, — спробуй издаля догляди, чего там у кого под хвостом творится. Стёпке Бердникову однова подфартило, так он что год куражился. «Я-от с моей-от Марусей вспроть слона могу». А Маруся у него — бельгийка пятизарядная, ружьё справное, на слона годится, на волка слабовато. Вовсе молодой мужик, сорока не было. И Маруся, — иде-сь теперь лежит, поди, ржавеет бесхозно... Тах-та не расчёт Никифору встревать с ними и на ружьё у него надеи нет как нет.

На собак у него надея. Собаки, те скоро вызнают, кто главный, и гуртом берут, а как оно тах-та ловко у них получается, людям вовек не дознаться. Беда, что шибко дорого победа стоит, потому — главная выбраковка, травля, по полупряжки, бывало, не досчитывался Никифор с тоё победы. Для того он их школит, на зверя натаскивает, себя не жалеет, чтоб, значит, сила в них была с резвостью и грызлись чтоб наповал. И не уступают ездачи волкам: грудь у них бойцовская, вширь лямкой раздтая; спина тягловая, крепкая, гнучая; шея вёрткая; жилья — канаты кручёные, мясов лишних нет; ножи на сырых мослах точены. Нет, не слабей собачки волков, даже превосходней. Две всего у них слабости, нипочём не отучишь. Одно, — что волки молчком бьются, силу даром не расходуют, а собаки себе голосом подсобляют и через тоё «гир» да «гав» сила у них горлом выходит, — кому это надо? Другое, — не бьют собаки благородно ни по животу, ни по удам, заказано у них туда бить, иде рода начало, а серые — только дай, кишки за раз выпустят, не соберешь.

А может, оно им нужней, чем нам, — благородство. Волки биться долго не терпят, а собаки — до последнего, да ежели еще хозяин при них, так и вове. Не бывает, чтоб собачка на произвол хозяина бросила, не знает она, что это такое, — предательство. А от человека собакам тоже прибиток голос его близко слышать, геройства набираться. Потому собачки бодрей. Но опять же, смотря иде. Ежели в лесу, считай, пропал пёс: теряется он в посадке, дуреет от гущины, сила-резвость куда девалась, хватай его за хомуток и волоки. Серые, те наоборот; им лес — дом отецкий. Стало, бейся с ними на свою выгоду: в чи-

стом поле, иде раздол, чтоб разгон взять, да повернуться, да отскочить, да углядеть, да по глотке супостата хватить, — тах-та.

Ну, и ходили, — Никифор за стаей, стоя за ним, дорожки проведали и стереглись в оба глаза, и встречались не раз, не два, только серые уступали, потому — от Никифора с собаками отчаянной смелостью за версту прёт и песню он заводит издали про девку красную, как она у тесовых ворот стояла, мила друга провожала, косой слёзы вытирала, а коса-от у нее русая. У волков-то соображение какое? — трусоватому не до девки станется, робкий не будет бесстрашную песню играть, смелый зверь Никифор, шуток не любит, сторонись его, пушай едет по своим делам до другого раза. Хитрили оне, хитрили, кто кого, а Никифор был хитрей.

Углядел он, как стая оленя зарезала. Олень рослый был дикарь и в теле гладком; оне, дикари одинокие, крупней гуртовых выгуливаются, чуть не под лося бывают, такие здоровые. И ушёл бы он от них, потому как резвей олень волка, да оне шайкой надвое разделились, наперехват взяли, — туточка ему и конец. Никифор и сам бы его забил на угощенье, кабы ели, а то ведь — нет, что сами зарежут, то едят, ежели год не голодный, а чужого мяса не трогают, вроде догадываются: «Что, мол за добрая душа свежатики нам подкинула, а сама жрать не захотела? Да мы тоё добрую душу за здорово живешь круг пальца обведем и мяса подкинутого трогать не будем». Умные оне, гады. Как предметил Никифор такое-от дело, тах-та и смекнул: будет у них теперь всенощный мясоед с дремотой, ужрутся до отвала, обленятся и половину прыти тут-ка оставят для приятного аппетита. А утром в логовище пойдут сны смотреть, да не все дойдут, ежели Бог даст, конечно.

В засядку он сел за полночь и сидел, как статуя, чего-сь дозирал да редко-редко на собак цыкал, а как темнота на серость пошла утрешнюю и дальний бережок завиднелся круто, стал он, православный человек, Богу молиться. Он-то и не скрывает, что верующий, только вера у него, вроде у цыгана: без нужды лоб не перекрестит, а как нужда поприжмёт, тах-та разом и вспоащится. И молитва у него по скорой надобности: «Ты мне Бог, я те Никифор», — и всё такое, ровно смушками на базаре торговать, кабы можно. Молился же он тишком, лишь губы чуток разъял и дышал кратко, а слова были такие:

«Господи, твоя воля, моё разуменье, одно к одному — добре будет. Тебе-то хорошо сидеть тамотка наверху да глядеть, как Никифор в снегу мёрзнет, со вчерашнего не емши, кишки от сладкого слиплись. Оно бы и поджарчиться не велик грех, да собачек надо в лёгком теле содержать, и мне от них не отойти, сам, поди, видишь, как Бог свят, что не отойти, а при них совесть не дозволяет, потому — сейчас все одинаковые, что я, что оне. Да я-то ужотко, пушай, грешный, а собачки про что страдают? Ты глянь-от, глянь, каково им на холоду в дисциплине

лежать, не шелóхнуться. И ежели ты взаправду тварь добрую милуешь, то моих, стало, перво-наперво обязан, потому — сам сообрази: вспроть кого оне сюда вышли? Вспроть стаи волчиной, вспроть анчихриста. И про договор не забудь обещанный, что, мол, — «всякого зверя здешнего под человеческий начál отдаю». Вот и отдай анчихриста того, волков-от головой предоставь, а что другое, то собачки лично до ума доведут да я подсоблю. А как тебе, Господи, любое дело сотворить, что мне чихнуть, потому — всё в твоих руках, то ты уж их, бандитов, не жалей, а на ровнóчко, на ледок выведи. Да ветер обереги противный, чтоб не как прошлый раз. Да не шибко старайся снегом-от глаза порошить. Да силон не убавь. Да подай ногам крепость, душе смелость, зубам прицел. И на том слава те, Господи, аминь».

Никифор до слюней готов спорить и руками молотить, что прямая молитва бесхитростная враз по адресу доходит, ежели не приставать к Богу день в день попусту. А чего просить и когда, про то Никифор знает и не запрашивает ни клад найти, ни сладкую жизнь бездельную, лишь едино удачу просит в трудах правильных. И не было, говорит, случая, чтобы Бог не услышал и по его не сотворил. И на этот раз: воспротивились собаки шерстью, ушми разом прынули, нюх поставили вострей, потому как им волков чутно, а волкам по-за ветром — нет. А как ссыпались оне с тоё седловинки на ровнóчко, сами наетые, тяжёлые, к бою не способные, назад ходу нет, вскочил Никифор и крикнул на весь лесной росклик: «Гей-га, робятки!» И пошла псюрня сбоку и навстречь, красота глядеть, как пошли. Уходить волкам — бок подставлять и место узко, для начала отбиться надо. Оне-то попервах мало опешили, а как сообразили, так передний, заводной, враз повернул встречу собак и на задки приналёг скорость набрать боевую, другие за ним.

А травят-то собачки! Кто не видал — не знает, кто повидал — не забудет. Ах, лёгкая кавалерия! Ах ты, клин журавлиный, пó небу далече слышать! Тах-та легко травить идут, — глаза отдай и назад не проси: вбок ударят — надвое колят, нос к носу сойдутся — вязнет стая в собачьей шерсти, как в патоке, не выберутся теперь задарма, а сколь им это стоить будет — как сказать.

Никифору за всем не доглядеть, поспешать надо. В руках у него ружьё о двух концах схвачено, не для стрельбы, а для отбою, на случай доберется до него какой, так он ему сперва жомы поперек сцепит, а потом черепок разнесет ложем, как собачки-то серого на себя оттянут. Бежит он, спотыкается, а сам — краток миг, да памятливы — накрепко предметит, иде что. Одно ему жалко, что карточки сымать не научился. Снял бы он Асачу на годовую открытку эбилейную и продавал бы по рублю за штуку, а народ бы открытку тоё брал очередями, пото-

му — собаки такой-от первостатейней не видано. Мать честная, стриж, птица небесная, летит первой всех, чёрная мблонья, за собой ведёт, снегу ногами не касаемо.

Передний, заводной, сиганул на неё. Оне, как сходятся, тахта шагов за сколько сигают и норовят повыше, сверху чтоб ударить. Опосля-то оне и сшибаются, и на дыбки встают, и впокат спорят, кто дюжей, а попервах — прыжок. Простелилась она под ним тоночко, не нужен он ей был, а передний, наета сыть, поверх неё ножами вхолостяк сработал, да Рябко его на грудки принял и завозились. Другого она тож петелькой в сторону обминула, и он, значит, ей без дела, Тхору достался, Тхор его намертво повязал, собачка. И ее уже и не видать, в самую гушину вошла, в кублэ скрылась.

Третий Сявому достался родство сводить, сцепились — не расклещишь и давай снег пахать, а он сверху ватный, внизу кремень, и оне — похожие, одинаковые, кто волк, кто собака — опосля разбираться. Сигнал закружился вьюном, иде голова, иде хвост, да двух с собой закружил, и схватить его им не за что, а он тах-та вертелся, вертелся да одного до хромоты обезножил. Ласка — чистая сатана, как остервела. Волк у неё дурашка был молоденький, мастью орловской не вылинял, дри-стун его пронял со страху, — что он отцепится уходить, то она его за ляжку сдѣбает, через себя перепустит и — заново. Но это всё с краю, на виду, а в серѣдке чего? — кто предметит: буран да ярость злобная, догадывайся, чего тамотка.

Никифор глотку дерѣт, матюками сыпет, «робяток» бодрит, — без этого нельзя. Собачкам хоть не до него, а слышать обязаны, что тут-ка он, с ними, не бросил их, а смелым зывает к ним голосом, надею на них кладѣт до конца, до победы. Знали бы дамочки, что плечьми к дорогим воротникам ластятся, каким сквернословьем воротники тоѣ обложены, каково добыты. да какие-от собачки распрекрасные капризов женских ради жизни решаются, сгорели бы по дешѣвке... Ещѣ показалось, Пардон муружистый посредь кубла промелькнул в пурге, а каким скрадом там-от очутился, — не иначе, по Асачиному следу. Ну, навалились оне серым миром на вороную да на муругую масть и застили всё ненадолго.

Это сказать «ненадолго», как добрая драка долгой не бывает, а поди сам-от подерись насмерть, узнаешь, каково «ненадолго», коль минутка считанная за час сойдѣт. Заводной волк, — его Рябко с разгону грудью срубил, — перекинулся, как кошка на ноги, и бой у них — в плен не берѣм. И тут-от как раз предметил Никифор: в кубле-от в самом подкинулся волк себя выше и спина горбатая, а снизу Асача достигает. Понятно стало Никифору, по кого она метилась. Един миг и — кончились у них властя; вынула Асача матѣрую, что туза винѣй из колоды, и оставила Никифора при козырях. Волков-от удивленье взяло, как она к ним вошла, точно шило в сало воткнулась, и порядок боя

порушила, ну и припозднились оне умом, а потом поздно, потому как в крайний момент удивляться — себе на погибель.

А таки пришлось на козырях поиграть. Тхор дал промашку и притёрся к своему вальтём, а тот развалил ему брюхо, да Тхор цепкий собачка, перехватился и на подгрудке завис. Одолеть, значит, уже не в силах, просто вцепился и не отпускал, пока Спектор да Шлэндра не подлетели и осадили с боков серого коренника, а побороть — нет. Геройский волчуга Тхору достался, мотал собак пристяжных на все четыре; те его в жомках держат, а положить да резануть — никак. Никифор с разбега проломил герою кряж, но добивать не стал, — пуцай Тхор, собачка, смерть врага увидит, пуцай-от на тоё победу погордится, тах-та помирать легче.

У Сявого благородства нету, дикость одна безгласная. Катались оне в обнимку, катались, а у волков-то брюхо, как у собак, мягкое, и подлтал Сявый свояку бок, — ох, как подлтал без жалости! — рванул, ровно суриком смазал. Доказал, стало, высшее образование и хлеб Никифоровский отработал, а что говорят, «как волка ни корми», так то ещё посмотреть надо. Никифор говорит, что он бы и чистого волка приспособил, только надо вовсе в пещёре жить, сырым питаться, а он — человек культурный, печку любит... Подранок этот первый без задержки уходить припустился: гузно выше головы, ноги вразбрык и понёс в решете красным белое марать. На кровь чужую глядячи, Никифор сам зубами заскреготал от шальной радости, сам озверел от азарта, ликовал криком подранку вслед и грубым смехом смеялся, а патрон на него тратить поберёт, — с такой-от, небось, дыромяхой сам околеет.

Как заслон передний побит, то и собаки при деле: что Ветерок, что Калуга, что Форт, что Сявый нового себе взял, что все. И бьются, Господи помилуй, как: либо нож на нож пустят, либо холку подставят, а там шерсти чёрту на подушку, не прокусишь, либо в сторонку хитро погнутся, заместо себя пустой воздух оставят, да следом же по плечу долбанут, пока враг не расчухался. Ловчей оне, собачки, и смекалистей на просторе. Вот когда труды Никифоровские не пропали: он им — науку, оне ему — выучку, волков разобрали, каждый своего нашел, а то двух. И такая кругом стоит паликмахерская, — шерсть кусками, снег тучей до леса дымит до самого, а местами по снегу, вроде клюква поспела.

В такой-то момент Замполит, ракло, нашёл время с Мадом обиду сводить. Никифору недосуг было разборонять, пуцай догрызаются, благо травля на убыль пошла и стая к лесу уходила без порядка, а всё ж таки запомнил он рыжего, не забывая. Всё он ему спускал, думал-надеялся, но ежели ты, тварь взгальная, своим в лихой час вред чинишь, надеи на тебя нету, не нужен такой-от.

А волки уходили; лишь отобьются каждый за себя и уходят,

отобьются и уходят, и ретивости у них куда поубавилось, поленьями сникли, — хвост волчий тах-та зовут, потому — на полено смахивает. Никифор, заряд приберёгши, саданул на два ствола и попал в одного, волчихой он оказался. Поехала она тах-та задом по целине, — бежала, бежала, сесть захотела и кинулась в злобё хвост кусать. Раз кусила, два, три, башку откинула и успокоилась. Хромой недобиток поотстал, которого Сигнал стреножил; собаки его у самого леса взяли, — последний подвиг. А с порватым пузом ушёл, след-клюкву за собой повёл, да Никифору теперь трава не расти, главное сроблено. Там-то и робить-от было минут на семь—на восемь всего.

Сбил Никифор собак до кучи. Раж у них ещё не прошёл, кпят лютостью и собой вид, через гүзно вынутые вроде, а как послабились, так до одной сцать захотели. И матёрая лежит себе, будто ходкой рысью мчит на разбой, банду свою руководствует, — правильник наотлёт, нос по ветру, а главную жилу ярмовую, уха блížочко, иде шерсти помене, Асача ей откута́ла. Глянул на неё Никифор в охотку и его послабило, и он захотел, — значит, что промеж собаками и людьми в такой-от момент жестокий особого нет различия, а что один, то и другой. Справил он на волчиху малую свою нужду, от хвоста до рыла окатил, и не для глума сробил тах-та, а на предмет. Соберется сюда бывшая шайка по одному, по два, поглядят на дружков побитых, антóграф понюхают, — «А ну его, — скажут, — в баню, этого Никифора, спорить с ним. Нам что, лесу мало? Айка мы отсюда на другой участок». И подадутся. И следу его стеречься закажут. И ловитки у него зим сколько не будут порушены. И зверь первый сорт, тах-та.

Подобрал он шапку, рукавицы, огляделся, а — не все козыри целы. С волчихой рядком Пардон разодранный, жалость глядеть. То-то он, муругий, Никифору в кубле привиделся: на выручку, значит Асаче пошел, заместо нее подставился, десять ножей — все ему. Сердце у кобелька к ней близко лежало: и жировал круг нее, когда без привязки, и ночью грел её от души, спал вместе. У Никифора-то не побалуешь; сучек он до третьей течки оберегает, лишь после третьей — изволь, а раньше того — подождись, девка, оно крепче будет, а на людской разврат закута́й глаза, не всё у них хорошо, оне — то с тем, то с другим, то с Николкою немым. Держал он мечту обкрутить Асачу с Пардоном, Сявого с Калугой, чтоб на помёт покрасоваться, да у Асачи один только разок капнуло и — всё. А теперь выходит, мечте конец. «Бывай, значит, Пардон, ухажор верный, отчаянный, за любовь пропащий, красиво жил, легко помер».

На что Никифор особо задумался, так это — Уважай. Лежал он туточка совсем готовый, да не один лежал, а с волком, и у волка щетинки не примято, лишь горло сломано, хрящи шугой под пальцами склизко ходят, шея набрякла, из ротá блево-

тина прёт чёрная, — захлебнулся, нетронута шкура, кровью своей. Сlopало-таки телятка волка, не поперхнулось! Такой-от редкой красоты удар молодцовский не доводилось Никифору видеть, слышал только слыхом, что есть, мол, среди собак удалдцы, тах-та умеют. Погоревал он вдоволь, что прошибся, удалой характер не распознал, думал — подхалим, а он первеющий пёс оказался. Отдал Никифор ему честь и славу, а это значит, — «Бывай, Уважайчик, собачка ласковый, человеческий, уважил ты Никифора во как, и я тебя за то не забуду».

Остатие тоже не все путём на проверку. У Ветерка на плече ошметок рваный, будто вор из него бритвой деньги вынал; Шлёндра на ногу припадает, — прокусо жильный; другие сами себя языками пользуют. Общупал он раненых, да кости целы, слава те, а вазелину с кормёжкой Никифор не пожалеет, подымутся. У Мадама ухо напополам, — Замполит изувечил. Сидел он, красивый гад, поодаль и жрал у Тхора кишки со снегу, а как Никифора почуял, враз перестал, только облизнуться, раклó, припозднился. Никифор-от аж глаза вывалил и сердце у него струпом взялось от пакости тоё. Тхор живой ещё, голову воздымает, глазами смутными Никифора зовёт, — «Облегчи, мол, Никифор, верного твоего», — а гавкнуть — голос вышел.

Вскинул он ружьё на-плеч дубиной и пошёл тах-та два дела робить: сам на Тхора глядит, краем Замполита предметит. А у того вид куда бедовый; сидит, морду отворотил, — «Чего, мол, тебе? Я в травле был, запыхáлся, отдыхаю трудолюбимо, а что ты предметил, то тебе поблазنىлось, и я тебя, дурака старого, по всяк день обдурить могу за моё почтенье». Нацелился Никифор, по черепку чтоб лобастого, да проходя мимо, отмахнул — рраз! — мало руку из плеча не вынес, потому — обхитрил, кобелина, прочь ушёл, рыжая холера, прыткий, сдохнуть не родясь, туды его поделом. Никифору хоть плачь, сорвал-от руку, а нельзя, — собаки глядят, подражанье берут. И в-обрат не поворотишь, чтоб оне про тебя худа не подумали, а любой поступок им в твёрдое понятие западает, враз по-своему смекнут: «Э-э, — скажут, — да он злой, этот Никифор, какая там у него к шуту справедливость тах-та робить». Оне это знают: иде злоба, справедливости не проси, нету её, потому как злоба и сама себя гложет, и круг себя всё догола выедаёт. В бою она — хорошо, силов от неё прибыль, а в разумной жизни не доведи, Боже, без ума гневаться.

Оно и Никифору недосуг, — Тхор главней. Вник он болячками своими в его мученскую муку и забыл про Замполита. Поставил новый патрон, воздел курок, подал напослед слово: «Бывай, Тхор, бывай, собачка геройский, доблестный, храбрый тебя нет», — и стрельнул, убравши глаза. А заводилу первого Рябло пронял-таки. Не сам, правда, — с Потапом; Потап серого оседлал и попридержал маненько, а Рябло ему тем-от часом тах-та шею откутал, хоть возом едь.

Все у него самолучшие собаки, Никифор говорит, все тах-та в выбраковке погибли. Как народ. А чего ради? А того ради, что жизнь-от наша, она и есть выбраковка. И нету в ней ни тебе пощады, ни милости, ни вознагражденья. Конца-краю тоже нет, одна серёдка. Нешто у людей иначе? Всё в точности. Кто веку не доживает? Кто за смелый талант в тюрьме, ровно за разбой, мается? Кто в дальние края утечь норовит от выбраковки собаческой? Те, что умные. Те, что совестливые. Те, что бьются, бьются дураков-от замордованных ради, — глядь-поглядь! — нету ихнего дела, не выходит, не дают. А кто не даёт? Кто чужой век заедает? Оне, властя. Никифор их распознал; не столь умные оне, как хитрые. А хитрость уму не пара. Замполита взять, — куда уж хитрей, а какой толк от него в жизни останется? Кабы-от сробить леформу, да заставить властя захребетные в поте хлеб добывать насущий, да смертельную казнь на жизненное злоключение переменить, — а что? — собачки-от правильной нашего понимают жизни цену, — так оно бы и зверя в лесу было поболее, и хлеба навалом, и Никифору б легче жилось добро людям робить, а он, Никифор, человек нужный, дающий.

Как же ему-от без Бога? Никак невозможно. Един он вознаградит да Никифор по малости по своей. Асаче награда первая, что упряжку сберегла. Одарить-то он всех поимённо одарил, но Асачу особо: собственной рукой огладил, сказал: «Не по уму-от своему ты, Асача, в серёдке ходишь. В передки пойдёшь вместо мила дружка на память». А не было дотоль, в жизнь того не было, чтоб у него в упряжке да сука, да первой парой, да вожака поучать-править, — нет, сроду не было. Сказал он Асаче про это и как раз почуял: идёт от собаки электричество прямо в него, да тах-та густо идёт, — пальцы резанные растут-шевелят-ся. «Вот те на́, — думает. — Властя всю войну ждали не дождались, а оне, пальцы, во-когда рость заявляют». Испугался он такого чуда и руку беспалую прибрал. А Замполиту объявил на праздник победный: «Амнистия тебе, фашистская морда, остатний раз». И пинка наподдал.

Волков побитых он не тронул для остратки, а своих всех побрал, чтоб картина, значит, была, вроде Никифору хоть бы и на новую травлю выйти, — всё одно, что по малой нужде ослабиться. Есть у него место край леса, близко зимовки, туда он их, покойных, свёз и честью похоронил. И по патрону над могилкой стратил. Там-от оне лежат.

VIII. Плоды просвещения

Под конец зимы, как станет-от рука увечная поламывать, тах-та затажно и нудно занает, Никифор враз догадывается: погодка шепчет, ныне-завтра туточка будет, собак бить пора. Отмачивает он в масле с вечера плётку ногайскую, чтоб шкуру не рвала, костей не тревожила, кормит собак добре, а наутро выезжает с лёгкими саньми без поклажи и едет, молчит, не разговаривает, — нельзя ему слов ронять лишних в день-от такой.

И не понимают, как нужно ему битьё это. Одни судят: «А то мало он их оптом драл. Разом больше-меньше, какой счёт поштучный?» Другие тах-та: «Собачка друг человека. Ни стыда у него, ни совести, у Никифора этого, и креста на нём нет». Первые — это злые дураки, вторые — дураки жалостливые, а насчёт креста врешь, — есть крест. Что раньше было, это не битьё даже, а так, школка, шерсть выбить летошнюю, линючую. Битьё, оно только теперь-от будет один раз, специально по науке, экзамент без жалости. А противное дело, — верно; что без аппетита, что вспроть природы и всякого размышленья. Никифор опосля боле суток маковой росины в рот не берёт, нейдёт ему, и плётку тоё хоронит на годы с глаз долой.

Есть у него в лесу одно место: кедрач кущёми густыми, собакам не видать, и прогалина с берёзкой. Вытоптал он снег под деревом, собачку вынул, привёл, сворку зашморгнул на стволе, ногайку в руку беспалую и — давай. Бьёт и бьёт, бьёт и бьёт. И дотоль бьёт, доколь пёс под себя жидко не набезобразит и свет у него в глазах потухнет до полного бессознания. Никогда-от он их бить тах-та не бил и никогда боле не будет, однава лишь.

Поведенье своё у каждого. Рябко — мужественный пёс, серьёзный, авторитетный, с него начинать, а как вытянул он его вдоль спины, заголосил криком обидным и в крике у него запрос прямой: «Хозяин, за что?», — потому как не то что людям неведомо, но даже и собакам, — одному Никифору ведомо, за что. Тах-та покричал вожак от боли, а больше от обиды, конечно, и из голоса вышел да, закрывши глаза, похрипел маненько и осрамился без памяти. А как пёс уделался — предел битью; дале того нельзя. Бессознательная собака от битья умом трогается и несчастная на всю жизнь, — ужотко Никифор за этим следит в оба.

У Сявого от битья лай собачий произошёл, — дошкулил-таки его Никифор, — срывной такой лай, вроде петушку молоденькому кукарекать. Бил он его раньше Калуги, потому как любовный зверь, сильный, много понимает, догадывается, а после дранья он слабый, пушай догадывается. Калуга, та за каждым похлестом «ой-ё-ёшеньки» причитала совсем по-бабски. Потап ломовой Никифоровские чуни-торбаса лизать кинул, жалости-пощады просил, — не выпросил. Ветерок мо-

тался на привязке круг дерева, как угорелый, пока Никифор сворку ногой к снегу не прищипил. И все под себя робыли. И вообще, чисто люди на расстреле за жизнь цеплялись. Никифор их за то не корит и в позор им их поведение не ставит, — «Такой, мол, сякой, как ты смел слабость поиметь, когда тебя убивали», — потому — жизнь, она не одним людям мила, а и собакам тоже, — раз живём.

Замполит гадский мигом сообразил, чего как: раньше нервной Ласки опаскудился и дохляком лёг, ракло, кого-сь обдурить мечтал. Никифор ему не поверил и выдрал бездвижного лютым боем, даже в раж входит стал, в отчаянность, а это нелзя; двух собак на своем веку запорол он тах-та до смерти через зверство своё, и рассудок ему терять при таком деле без выгоды.

Бить-от он их бьёт, но это не всё. За каждым разом внушает он собаке одно слово краткое. Никто на свете этого слова знать не должен, окромя Никифора и собак; ни с кем в разговоре он не обмолвится, — ни с Кулиной, ни с детьми, и во сне бормотать язык прикусит. Разве что продать упряжку надумает, хотя навряд, — тогда только шепнёт купцу на ухо слово это, какого и в разговоре людском нет, Никифор его сам выдумал. Обозначает оно жуткую жуткость и дремучий страх, а западает в собак вместе с болью: и под шкуру, и в уши, и до печёнок до самых. Оне-то, ясно дело, обижаются на Никифора, и сердчают, и чего-ничего, а как-от памороки он им забил и свет в глазах погасил, остаётся оно у них в памяти, как осколок в теле, и помнят оне его крепче всякой причины. Жили б оне долго, учил бы он их, как людей учат словам страшным, испорть каких тюрма худо подумать: то газетками, то радиом, то собранием, то чем-ничем, а собакам жить-от всего ещё лет шесть, много семь, вот и учит он их за один присяд переполох выливать, потому как в слове том, окромя жуткости и страха ничего боле нет.

Асачу он в последний черёд вынул. А не хотел он её под дерево вести, на снег вонючий, топтаный, ну, не хотел — и всё. Да как же обминуть, когда все битые? Никак. Приторочил он её, сердцем заскрипел, в кулак поплевал на крепость и тах-та хлобьстнул, чтоб не думать долго. И слово сказать не забыл. Асача голову на запрос вскинула, а голосом ничего, попятилась только. Он ещё раз. Она опять назад маненько и молчит. А в третий не довелось ударить: спружинила Асача пулей и на конце сворки тронула Никифору руку его беспалую, самое тоё место бóльное. Бросил он ногойку и не своим взвыл голосом, а по-собачьи, без слов, как Рябко, потому — боль, она, что у собаки, что у человека, одинаково больно болит, оказывается. А не веришь, — возьми-от собаку и пришиби, и послушай, а опосля дитё возьми побей, тоже послушай, — на один голос плачут оне, вот что.

Тах-та и Никифор заорал не хуже. Кровь у него ручьём хлынула, так он её снегом долго промачивал, в кашну завёртывал, потом в рукавицу туго засунул. А собака вольно стояла и не на руки его ужасные глядела, как другие, а на него прямо и без никакого испуга. От смелости такой-от невиданной Никифор глазами протрезвел и пропала у него обида всякая, как сказал ей: «Ладно, Асача, будь по-твоему, ходи небитая», — хотя в тот день ему, помимо слова страшного, других слов говорить не полагалось. Упряжные собаки аж головы повернули: всех битых он с прогалины на себе принёс, одна Асача шла к саням сама и Никифор битый за ней следом.

Домой ехали — тенились, ногами невтопад переступали, чутко живые волоклись, у одной Асачи постромка стру́нко натянута. Никифор тоже не в санях сидел, своим ходом пёр, пёшью, болезновал потому как. Приехали — первым делом, накормил их. Один раз кормит он их от пуза, сколько съедят, и лежат оне, поправляются неделю цельную, а мяса на поправку много уходит. Сперва без охоты едят, а потом — ничего, жизнь своё берёт. Только Асача ни сегодня, ни на другой день крошки есть не стала и выделялась ото всех, как совсем уже чужая и до того вольная, — запрягать-от как? — рука не налегает. Туточка Никифор неладное почуял, замутило ему душу.

Взял он её к себе в хату, — сроду не было, чтоб он пса в хату брал, — на пол посадил, сам вспроть неё на лавку сел и говорит: «Давай мириться, Асача, не сердчай, нам робить вместе. Я ж тебя толичко два разочка стегнул, да и не тах-та шибко. Ты мне вона чего наробила, руку спортила, болит, а я на тебя сердца не держу, забыл вовсе. И ты меня, стало, извиняй, дружья будем». Тах-та он с ней разговаривал, а она слушала — не слушала, всё равно куда глядела. Подкинул он в печку дров, сохатины кусок лучший вырезал, пожарил, — оне болеют когда, жареное им легче идёт, — да она кусок тоё ни ухом повела, ни даже понюхала. «Ну, а чего хошь? — допытывался Никифор. — Хошь сырого-тёплого, оленя загублю пойду, не жалко. Ты лишь захоти, я враз догадаюсь». Он ей что говорил, а всё без толку, потому как не простила. Сидела она в хате, ровно в чужом месте, ни жива, ни мертва и презирала видом своим и Никифора, и весь его разговор хороший.

С того досада его взяла. Достал он водки укрепиться маенько, выпил, голову обронил и задумался, вроде задремал. Сколь он тах-та думал, никто не считал, только чует в дрёме — опять на него кто-сь жутко дозирует. Прокинулся, туда-сюда повёл, — лампа во всю горит, а глаза у Асачи прямо на него горят поставлены. «Нечистая сила! — закричал. — Ведьма! Колдóвка!» Остервел он без памяти, кинул вожжи, сорвался, подскочил и ударил Асачу супятком, иде у неё зорька утрешняя прописана, изо всей мочи ударил, чтоб ему пропасть, изо всей мочи, крепко зашиб, задышалась она и с Никифора глаз не сво-

дит, а на полу под ней чёрная калюжа расплывается, — Господи!

Лопнуло у Никифора чего-сь в середке, схватил, что под руку пало, смушек — не смушек, соболь — ондатра, сломался напополам, подтирать кинулся, приговаривать: «А ничего не было! А ничего не было!» Пересадила Асачу на сѹхо, прослышал руками, — мёртвая у неё шерсть и электричества нету в ней уже никакого, — и понял доразу: не жилец эта собака. Как дошло до него такое-от понятие точное, упал он с ней рядком, схватил её в обойма и заревел дурным на всю хату голосом: «Асача, ясонька моя!» И слёзы откуда взялись, потекли, хоть умойся, хоть выкупайся.

Ни разу такого не было, не плакал Никифор в жизни слезь-ми. Мальчонка у него старшенький помер когда, так он с лица почернел, страшный, глаза провалились, морда совсем стала деревянная. Кулина говорит: «Ты бы поплакал, Никифор, — всё легче», — а он ей: «Ужотко, — говорит, — да оне у меня не туда идут и страсть какие солёные, все кишки проели». А тут-от первый раз пошли: наружу и по щекам, и по шее, и дальше.

А уж слов-от он ей всяких насказал, разве что одной Кулине говорил тах-та смолоду. И просил, и молил, и на коленях стоял, и в шею её блескучую, чёрную дышал, и спрашивал, что ж он без неё робить будет, и сам себе думал: «Чего ж мне-от робить без неё?» И заснул на полу, нагреть её хотел. Пробудился — лампа чадит, фотожён в ней выгорел, Асача у двери выйти дожидается. Выпустил он её, пошла к своим в клеть.

Она в четвёртую ночь околела. У Сигнала у первого голос проявился, как заплакал Никифора звать. Следом Сявый поволчиному и никто его за то не побил. И Потап вывел на гудок басом долгим, унылым. Никифор забрал её, в сенцы перенёс, чтоб заспокоились, а сам до утра не спал, сидел над ней, думал: «Что ж оно тах-та нескладно? Иде ж она есть, правда на свете, туды её поделом, что доброму гибель скорая, а лихому живи — не хочу?» — такие-от все мысли у него были сумные.

Схоронил Асачу днём при собаках, попрощался. «Асача, — сказал, — жалечка родная, бывай», — а поболе того не сказал, только стрелял долго опосля, собаки переполошились. А домой когда возвернулся, — знал, робить чего: взял Замполита и за зимовку повёл. Тоже сразумел умный кобель, красивый, что ему теперь будет и для чего у Никифора ружьё в руке, — глянул, как спросил: «Убить хочешь?» Жутко стало Никифору от такого запроса понятного, но он тоё взгляд каменно вытерпел, ответил без зла: «Негоже тебе, Замполит, таких-от собак переживать, правда-совесть не дозволяет, бывай».

Потом обрезал на потяге лишние постромки, и стали у него собачки битые по местам. Вот оне, солдатики, ровная ёлочка, нёчет-одиннадцать: попереди Рябко, а за ним парами Сигнал

с Ветерком, Сявый с Калугой, Мадам с Лаской, Спектор с Фортотом, Шлёндра с Потапом . . .

И будет у Никифора день. И час в том дне будет. Взыграет упряжка древней ретивой кровью, что от первой еще собаки по жилам растеклась, возмутится в них дух вольный, разгонятся оне, дикие, за зверем ли, под обрыв ли, и слушать никого не захотят. «Стой!» — крикнет им Никифор. Не останоятся. Схватит он остёл-острогу и в снег воткнёт промежду полозьями, чтоб тормоз, значит. Вырвут собаки острогу, ровно из земли тавлинку, и дальше поскачут, а Никифору одно-пропасть останется. Тогда-от скажет он напослед слово железное, какому смертным боем их научал без жалости, и будет цел. Ударит псюрню по ногам паралик, свяжет им жилья, скрутит в три погибели, заскулят оне больно, в кучу собьются свальную прямо под санки — в том Никифору спасенье. И долго будут отходить, долго. А Никифор станет им ноги разминать, спину оглаживать и поимённо в жизнь ворочать милую, трудную. С того оне и веку, как люди, гораздо не доживают, что битые.

IX. Грехи наши

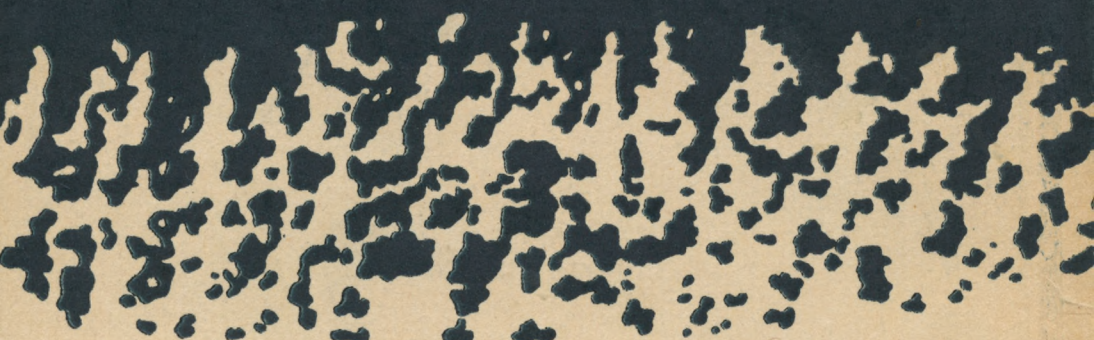
Господи правильный, Исус Христос, прими мою собачку пригодится, хорошая, четыре года, звать Асача. У тебя тамotka места всем хватит, да ты её близко престола держи, мало ли, неровён час, а в небе, поди, как на земле, — чего не бывает. Ты особо с неё, Господи, не взыщи, потому — моя вина, я её загубил по окаянству своему, с меня и спрос, как призовёшь, а её не трогай, бо чистая душа, как есть новоявленная. Кабы ж я-от знал, что Христофор песьголовый, а то думал, — собака, как все, да теперь-от мучаюсь, сам видишь, ночью не сплю. И ты, Господи Боже, муку мою маненько послабь, потому как ты сам того . . . недоглядел и знаменья мне от тебя никакого не поступало. И не искушай боле раба своего Никифора чудными явленьями, а я в тебя и тах-та верю без никакого чуда. А ежели чего непутём роблю, то ты своей премудростью рассуди: какова наша жизнь? — как у собак, и грехи наши, Господи, от жизни тоё, конца не видно. И пошто ты народ свой боязненный тах-та невзлюбил, свет разума застил, за какую-такую провинность отвернулся — не знаю. Другие-то, небось, кохаются под рукой у тебя, а тут-от в жилу тянешься, себя не жаль, собак побиваешь да жизни ради сам глядишь зверем. А властя, Господи, ты нам дал в наказанье куда хуже, ворё бесстыжее, замполиты-жулики, туды их всех поделом, тому вынь, этому сунь, третий силóm возьмёт, счёту нет, а греховодные — всего боятся, окромя одного тебя и когда их приберёшь — невьсть. Оно, может, и заслужили мы, не угодили чем, да больно долгая кара, жизни

не хватает, — разве ж это дело, покаянье без выкупа, иде видано? Ты-от погляди милостью, кто тебя тах-та жалеть будет, как не мы, люди твои, чтоб тах-та с тобой за рѳдную душу, а? Взял бы-от и полегчил, — чего тебе станет, Господи помилуй, право слово, полегчил бы, ей-ей. Было б житьё полегче, робил бы я с напарником и собак не побивал, а ты чего сотворил? — послал помочью напарника умней меня, да потом отнял — нехорошо. А там — как твоя воля, тебе видней, я ж не знаю. Собачку только побереги, Асачу мою, и на том слава те, Господи, аминь.

Содержание

Хива. Мавзолей Алладина	3
Бухара. Минарет Калян	12
Гибель конструктора	19
Мясная лавка	29
Катя	35
Обида	57
Симпозиум	60
Родные и близкие	74
На старости лет	86
Морской пейзаж с одинокой фигурой	99
Цветы в ломбарде	111
Трещина	131
Тамарочка	143
Журналист	152
Ночная смена после полочки	170
Битые собаки. Повесть	178

Борис Крячко. **БИТЫЕ СОБАКИ**: Повесть и рассказы. Художник-оформитель В. Куллранд. Редактор В. Белобровцев. Художественный редактор М. Руйзо. Технический редактор А. Мериранд. Корректоры М. Одолеева, Ю. Урицкая.
ИБ № 7069. Сдано в набор 29. 07. 88. Подписано в печать 06. 01. 89. МВ-00708. Формат бум. 60×90/16. Книжно-журнальная бумага. Гарнитура журнальная. Печ. л. 14,0. Усл. печ. л. 14,0. Усл. кр.-отт. 14,13. Уч.-изд. л. 14,67. Тираж 10 000. Заказ № 1995. Цена 95 коп. Издательство «Ээсти раамат», 200090, Таллинн, Пярнуское шоссе, 10. Типография «Юхисэду», 200001, Таллинн, Пикк, 40/42.



95 коп.

Богородице Крестнице

Великомъ Бѣлградѣ